

**ДЖЕК
ЛОНДОН**



Собрание сочинений

JACK LONDON

WHITE FANG
LOVE OF LIFE
THE CRUISE
OF THE DAZZLER

*

Selected
Works



ДЖЕК ЛОНДОН

**БЕЛЫЙ КЛЫК
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
ПУТЕШЕСТВИЕ
НА «ОСЛЕПИТЕЛЬНОМ»**

*

Собрание
сочинений



ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА

Харьков
2011

ББК 84.7США
Л76

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Научное редактирование и комментарии
кандидата филологических наук доцента *А. М. Гурова*

Печатается по изданиям:

Лондон Дж. Белый Клык : пер. с англ. Н. С. Кауфмана. —
М., Л. : Мысль, 1926.

Лондон Дж. Путешествие на «Ослепительном» : пер. с англ.
М. М. Клечковского. — М., Л., 1929.

Дизайнер обложки *Наталья Переверзева*
Художник *Андрей Печенежский*

ISBN 978-966-14-1769-3 (PDF)

© Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга», ху-
дожественное оформ-
ление, 2008

БЕЛЫЙ КЛЫК

Повесть



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

В ПОГОНЕ ЗА МЯСОМ

Темный хвойный лес высился по обеим сторонам скованного льдом водного пути. Пронесшийся незадолго перед тем ветер сорвал с деревьев белый снежный покров, и в наступающих сумерках они стояли черные и зловещие, как бы приникнув друг к другу. Бесконечное молчание окутало землю. Это была пустыня — безжизненная, недвижимая, и до того здесь было холодно и одиноко, что даже не чувствовалось грусти. В этом пейзаже можно было подметить скорее подобие смеха, но смеха, который страшнее скорби, смеха безрадостного, как улыбка сфинкса, холодного, как лед. То вечность, премудрая и непреложная, смеялась над суетностью жизни и тщетой ее усилий. Это была пустыня — дикая, безжалостная северная пустыня.

И все же в ней была жизнь, настороженная и вызывающая. Вдоль замерзшего водного пути медленно двигалась стая волкоподобных собак. Их взъерошенная шерсть была покрыта инеем. Дыхание, выходявшее из их пастей, тотчас же замерзало в воздухе и, осаждаясь в виде пара, образовывало на их шерсти ледяные кристаллы. На них была кожаная упряжь; такими же постромками они были впряжены в сани, тянувшиеся позади. Нарты не имели полозьев; они были сделаны из толстой березовой коры и всей своей поверхностью лежали на снегу. Передний конец их был несколько загнут кверху, что давало им возможность подминать под

себя верхний, более мягкий, слой снега, пенившийся впереди, точно гребень волны. На нартах лежал крепко привязанный узкий длинный ящик и лежали еще кое-какие вещи: одеяло, топор, кофейник и сковорода, но прежде всего бросался в глаза продолговатый ящик, занимавший большую часть места.

Впереди на широких канадских лыжах шагал, пробивая собакам дорогу, человек. За нартами шел другой, а на нартах в ящике лежал третий человек, путь которого был закончен, человек, которого пустыня победила и сразила, навсегда лишив его возможности двигаться и бороться. Пустыня не терпит движения. Жизнь оскорбляет ее, потому что жизнь — это движение, а вечное стремление пустыни — уничтожить движение. Она замораживает воду, чтобы остановить ее течение к морю; она выгоняет сок из деревьев, пока они не промерзнут до самого своего мощного сердца, но всего свирепее и безжалостнее давит и преследует пустыня человека, самое мятежное проявление жизни, вечный протест против закона, гласящего, что всякое движение неизменно приводит к покою.

Впереди и позади нарт, бесстрашные и неукротимые, шли те два человека, которые еще не умерли. Они были закутаны в меха и мягкие дубленые кожи. Брови, щеки и губы у них были так густо покрыты инеем, осевшим на лица от их морозного дыхания, что черты их почти невозможно было различить. Это придавало им вид каких-то замаскированных привидений, провожающих в загробный мир еще одно привидение. Но под этими масками были люди, желавшие проникнуть в царство отчаяния, насмешки и безмолвия, маленькие существа, стремившиеся к грандиозным приключениям, боровшиеся с могуществом страны, далекой, чуждой и безжизненной, как бездны пространства.

Они шли молча, сберегая дыхание для тяжелой работы тела. Надвинувшаяся со всех сторон тишина давила на них своим почти ощутимым присутствием. Она давила на их мозг подобно тому, как воздух силой многих атмосфер давит на тело

спустившегося в глубину водолаза, давила всей тяжестью бесконечного пространства, всем ужасом неотвратимого приговора. Тишина проникала в самые глубокие извилины мозга, выжимая из него, как сок из винограда, все ложные страсти и восторги, всякую склонность к самовозвеличению; она давила так, пока люди сами не начинали считать себя ограниченными и маленькими, ничтожными крупинками и мошками, затерявшимися со своей жалкой мудростью и близоруким знанием в вечной игре слепых стихийных сил.

Прошел один час, другой... Бледный свет короткого бессолнечного дня почти померк, когда в тихом воздухе раздался вдруг слабый отдаленный крик. Он быстро усиливался, пока не достиг высшего напряжения, протяжно прозвучал, дрожащий и пронзительный, и снова медленно замер вдали. Его можно было бы принять за вопль погибшей души, если бы не резко выраженный оттенок тоскливой злобы и мучительного голода. Человек, шедший впереди, оглянулся, и глаза его встретились с глазами шедшего сзади. И, переглянувшись поверх узкого продолговатого ящика, они кивнули друг другу.

Второй крик с остротой иглы прорезал тишину. Оба человека определили направление звука: он шел откуда-то сзади, со снежной равнины, которую они только что оставили позади. Третий ответный крик послышался несколько левее второго.

— Билл, они идут следом за нами, — сказал человек, шедший впереди.

Голос его звучал хрипло и неестественно, и говорил он с видимым усилием.

— Мясо стало редкостью, — ответил его товарищ. — Вот уже несколько дней, как нам не попадался след зайца.

После этого они замолчали, продолжая чутко прислушиваться к крикам, раздававшимся сзади, то тут, то там.

С наступлением темноты они направили собак к группе елей, высившихся на краю дороги, и остановились на ночлег. Гроб, поставленный около костра, служил им одновременно

скамьей и столом. Собаки, сбившись в кучу у дальнего края костра, рычали и грызлись между собой, не обнаруживая ни малейшего стремления порыскать в темноте.

— Мне кажется, Генри, что они что-то чересчур усердно жмутся к костру, — сказал Билл.

Генри, сидевший на корточках около костра и опускавший в этот момент кусочек льда в кофе, чтобы осадить гушу, кивнул в ответ. Он не произнес ни слова до тех пор, пока не уселся на гроб и не принялся за еду.

— Они знают, где безопаснее, — ответил он, — и предпочитают есть сами, а не стать пищей для других. Собаки умные животные.

Билл покачал головой:

— Ну, не знаю...

Товарищ с удивлением посмотрел на него.

— В первый раз слышу, что ты не признаешь за ними ума, Билл!

— Генри, — ответил тот, задумчиво разжевывая бобы, — заметил ты, как они вырывали сегодня друг у друга куски, когда я кормил их?

— Да, больше чем обыкновенно, — согласился Генри.

— Сколько у нас собак, Генри?

— Шесть.

— Хорошо, Генри... — Билл на минуту остановился как бы для того, чтобы придать своим словам еще больше веса. — Так, у нас шесть собак, и я взял из мешка шесть рыбин. Я дал каждой по рыбе и... Генри, одной рыбы мне не хватило!

— Ты ошибся в счете!

— У нас шесть собак, — хладнокровно повторил Билл. — И я взял шесть рыбин, но Одноухий остался без рыбы. Я вернулся и взял из мешка еще одну рыбу.

— У нас только шесть собак, — проворчал Генри.

— Генри, — продолжал Билл, — я не говорю, что это все были собаки, но получили по рыбе семеро.

Генри перестал есть и через огонь пересчитал глазами собак.

— Их только шесть, — сказал он.

— Я видел, как одна убежала по снегу, — настойчиво заявил Билл. — Их было семь.

Генри соболезнующе посмотрел на него.

— Знаешь, Билл, я буду очень рад, когда это путешествие закончится.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Мне кажется, эта обстановка начинает действовать тебе на нервы и тебе мерещатся несуществующие вещи.

— Я сам подумал об этом, — серьезно заметил Билл, — и поэтому, когда она убежала, я тщательно осмотрел снег и нашел ее следы. Затем я внимательно пересчитал собак: их было только шесть. Следы еще сохранились на снегу. Хочешь, я покажу тебе их?

Генри ничего не ответил и продолжал молча жевать. Окончив есть, он выпил кофе и, обтерев рот тыльной стороной руки, сказал:

— Значит, ты думаешь...

Протяжный, зловещий крик, раздавшийся откуда-то из темноты, прервал его.

Он замолчал, прислушался и, указывая рукой в сторону, откуда донесся вой, закончил:

— Что, это был один из них?

Билл кивнул головой.

— Черт возьми! Я не могу представить себе ничего другого. Ты и сам видел, как взволновались собаки.

Вой и ответный вой прорезали тишину, превращая безмолвие в сумасшедший дом. Звуки слышались со всех сторон, и собаки, в страхе прижимаясь друг к дружке, так близко подошли к огню, что на них начала тлеть шерсть. Билл подбросил дров в костер и закурил трубку.

— А мне все-таки кажется, что ты немного того... сбрендил, — произнес Генри.

— Генри... — Он медленно затянулся, прежде чем продолжать. — Я думаю о том, насколько он счастливее нас с тобой.

Он ткнул большим пальцем в ящик, на котором они сидели.

— Когда мы умрем, — продолжал он, — это будет счастьем, если найдется достаточно камней, чтобы наши трупы не достались собакам.

— Но ведь у нас нет ни друзей, ни денег, ни многого другого, что было у него, — возразил Генри. — Вряд ли кто-нибудь из нас может рассчитывать на пышные похороны.

— Не понимаю я, Генри, что могло заставить вот этого человека, который у себя на родине был лордом или чем-то вроде этого и никогда не нуждался ни в пище, ни в крове, — что могло заставить его сунуться в этот Богом забытый край!

— Он мог бы дожить до глубокой старости, если бы остался дома, — согласился Генри.

Билл открыл рот, чтобы заговорить, но передумал и устремил глаза в темноту, теснившую их со всех сторон. В ней нельзя было различить никаких очертаний, и только видна была пара глаз, блестящих, как горящие уголья. Генри кивком головы указал на вторую пару глаз, затем и на третью. Эти сверкавшие глаза кольцами опоясывали стоянку. Временами какая-нибудь пара двигалась и исчезала, но тотчас же появлялась вновь.

Беспокойство у собак все возрастало, и, охваченные страхом, они скучились вдруг около костра, стараясь заползти под ноги людям. В свалке одна из собак упала у самого края огня и жалобно завывала от страха; в воздухе распространился запах опаленной шерсти. Шум и смятение заставили круг сверкающих глаз беспокойно задвигаться и даже отступить, но как только все успокоилось, кольцо снова сомкнулось.

— Скверное дело, брат, коли нет зарядов.

Билл вытряхнул трубку и стал помогать товарищу устраивать постель из одеял и меховых шкур на еловых ветках, которые он разложил на снегу еще до ужина. Генри проворчал что-то и принялся расшнуровывать мокасины.

— Сколько у тебя осталось патронов? — спросил он.

— Три, — последовал ответ. — Хотел бы я, чтобы их было триста; уж я бы показал им, черт возьми!

Билл сердито погрозил кулаком в сторону сверкающих глаз и начал укреплять свои мокасины перед огнем для просушки.

— Хоть бы мороз этот сдал, что ли, — продолжал Билл, — вот уже две недели, как стоит пятьдесят градусов ниже нуля. Эх, лучше бы не затевать этого путешествия, Генри. Не нравятся мне что-то наши дела. Скорее бы уже все кончилось, чтобы сидеть нам у огня в форте Мак-Гэрри и играть в карты — вот чего я хотел бы!

Генри проворчал что-то и полез под одеяло. Он стал было уже засыпать, когда его разбудил голос товарища.

— Скажи, Генри, тот, другой, который пришел и получил рыбу, почему собаки не бросились на него?.. Вот что меня удивляет!

— С чего это ты так забеспокоился, Билл? — последовал сонный ответ. — Прежде с тобой этого не бывало. Заткнись и дай мне уснуть. Должно быть, у тебя в желудке накопилось много кислот — вот ты и нервничаешь.

Люди спали, тяжело дыша, свернувшись рядом под одним одеялом. Огонь костра угасал, и кольцо сверкающих глаз смыкалось все теснее и теснее. Собаки в страхе ближе прижимались друг к другу, гневно рыча, когда какая-нибудь пара глаз слишком приближалась. Раз Билл проснулся от громкого лая. Он осторожно выполз из-под одеяла, чтобы не потревожить сон товарища, и подбросил дров в костер. Когда огонь разгорелся, кольцо сверкающих глаз несколько расширилось. Взгляд его случайно упал на скучившихся собак. Он протер глаза и посмотрел внимательнее. Затем снова заполз под одеяло.

— Генри, — позвал он, — а Генри!

Генри заворчал спросонок:

— Ну, что там еще?

— Ничего особенного, только их опять семь. Я только что сосчитал.

Генри ответил на это сообщение густым храпом.

Наутро он проснулся первым и разбудил Билла. Было уже шесть часов, но рассвет ожидался не раньше девяти,

и Генри в темноте принялся за приготовление завтрака. Билл в это время свертывал одеяла и готовил нарты.

— Скажи, Генри, — вдруг спросил он, — сколько, ты говоришь, у нас было собак?

— Шесть, — ответил Генри.

— Неправда! — торжествующе заявил Билл.

— А что, опять семь?

— Нет, пять. Одной нет.

— Проклятие! — в бешенстве воскликнул Генри и, оставивстряпню, пошел считать собак.

— Ты прав, Билл, Пузырь исчез.

— И, наверное, он умчался стрелой, раз уж решился бежать.

— Не думаю. Они просто слопали его. Держу пари, что он здорово визжал, когда они запускали в него зубы... проклятые!

— Он всегда был глупой собакой, — заметил Билл.

— Но не настолько, чтобы покончить таким образом жизнь самоубийством, — возразил Генри. Он окинул пытливым взглядом оставшихся собак, оценивая каждую из них.

— Уверен, что никто из этих не сделал бы такой глупости.

— Этих-то палкой не отогнать от костра, — заметил Билл. —

Но я всегда думал, что Пузырь плохо кончит.

И это было всей эпитафией над собакой, погибшей в северной пустыне; но другие собаки и даже люди довольствовались эпитафией более краткой.

ГЛАВА II

ВОЛЧИЦА

Позавтракав и сложив в нарты несложное лагерное снаряжение, путники повернулись спиной к радужному костру и зашагали вперед, навстречу темноте. Воздух сразу огласился жалобным воем, со всех сторон раздавались голоса, перекликавшиеся между собой в ночном

мраке. Разговор умолк. Около девяти часов начало светать. В полдень южный край неба окрасился в розовый цвет, и на нем четко выступила линия горизонта, отделяя выпуклой чертой северный край от стран полуденного солнца. Но розовая окраска скоро исчезла. Серый дневной свет держался до трех часов, затем и он угас, уступив место темной полярной ночи, окутавшей своим покровом безмолвную пустынную землю.

Мрак сгустался; крики справа, слева и сзади доносились все явственнее, а иногда слышались так близко, что приводили в смятение выбившихся из сил собак, повергая их на несколько секунд в панику.

После одного такого переполоха, когда Билл и Генри вправили животных в постромки, Билл сказал:

— Хорошо, если бы они нашли где-нибудь дичь и оставили нас в покое.

— Да, они ужасно действуют на нервы, — отозвался Генри.

До следующей остановки они не произнесли больше ни слова.

Генри стоял, наклонившись над котлом, в котором кипели бобы, и подбрасывал в него кусочки льда, как вдруг до ушей его долетел звук удара, восклицание Билла и острый злобный крик боли, раздавшийся из группы собак. Он вздрогнул от неожиданности и выпрямился как раз вовремя, чтобы увидеть смутные очертания зверя, убежавшего по снегу под покров темноты. Затем он взглянул на Билла, стоявшего посреди собак с выражением не то торжества, не то недоумения. В одной руке он держал толстую дубину, а в другой — кусок сушеной лососины.

— Он выхватил у меня полрыбы, — объявил он, — но я успел все-таки здорово отделать его. Ты слышал, как он завизжал?

— Кто же это был? — спросил Генри.

— Я не успел разглядеть. Но у него были черные ноги и пасть, и шерсть, — и, пожалуй, он был похож на собаку.

— Должно быть, прирученный волк!

— Чертовски ручной, если он приходит каждый раз во время кормления, чтобы получить свою порцию рыбы.

Ночью, когда после ужина они сидели на продолговатом ящике, попыхивая своими трубками, кольцо светящихся точек сомкнулось еще теснее.

— Хотел бы я, чтобы они напали на стадо лосей и забыли про нас, — заметил Билл.

Генри как-то недружелюбно заворчал, и в течение четверти часа длилось молчание. Он устремил взгляд на огонь, а Билл смотрел на сверкавшие глаза, которые блестели в темноте, как раз за пределами света, падавшего от костра.

— Хотелось бы мне быть уже в Мак-Гэрри, — снова начал он.

— Замолчи ты, пожалуйста, со своими желаниями и перестань каркать, — сердито буркнул Генри. — Это все твоя изжога. Прими-ка ложку соды, сразу настроение исправится, и ты станешь более приятным собеседником.

Утром Генри был разбужен жестокими ругательствами, исходившими из уст Билла. Генри приподнялся на локте, товарищ его стоял у только что разведенного костра с поднятыми кверху руками и перекошенным от злобы лицом.

— Эй! — воскликнул Генри, — что случилось?

— Лягуха исчезла, — был ответ.

— Не может быть!

— Говорю тебе, что она исчезла.

Генри вылез из-под одеяла и направился к собакам. Он тщательно пересчитал их и послал очередное проклятие темным силам пустыни, лишившим их еще одной собаки.

— Лягуха была самой сильной из всего цуга, — промолвил наконец Билл.

— И к тому же она была далеко не глупа, — добавил Генри. Такова была вторая эпитафия за эти два дня.

Завтрак прошел в мрачном молчании, а затем четырех оставшихся собак снова впрягли в нарты. Наступивший день ничем не отличался от предыдущего. Люди шли молча среди окованного морозом моря. Тишина нарушалась

только криками их врагов, незримо следовавших за ними. С наступлением темноты к концу дня враги, согласно своему обыкновению, стали приближаться, и крики их сделались слышнее; собаки волновались, вздрагивали и несколько раз в припадке панического ужаса путали постромки, заражая своим страхом и людей.

— Вот что вас удержит, глупые твари, — сказал в тот же вечер Билл, самодовольно оглядывая свою работу.

Генри прервал стряпню, чтобы посмотреть, в чем дело. Его товарищ не только связал всех собак, но связал их по индейскому способу палками. Вокруг шеи каждой собаки он прикрепил кожаный ремень, к которому привязал толстую палку в четыре — пять футов длины. Другой конец палки был укреплен при помощи такого же кожаного ремня к вбитому в землю шесту. Собака не могла прогрызть ремень, прикрепленный к ближайшему к ней концу палки. Палка же не позволяла ей добраться до ремня на другом конце.

Генри одобрительно кивнул головой.

— Это единственный способ удержать Одноуха, — сказал он. — Он может прокусить всякую кожу, как бритвой перережет. А теперь мы найдем их утром целыми и на месте.

— Держу пари, что так оно и будет! — подтвердил Билл. — Если хоть одна пропадет, я откажусь от кофе.

— Они прекрасно понимают, что у нас нет зарядов, — заметил Генри перед тем, как ложиться спать, и указал товарищу на окружившее их сверкающее кольцо. — Если бы мы могли послать им несколько выстрелов, они были бы почтительнее. С каждой ночью они подходят все ближе и ближе. Отведи глаза от костра и посмотри в темноту. Вот... Видел ли ты этого?

Некоторое время люди следили за движениями неясных фигур за пределами костра. Всматриваясь пристально туда, где в темноте светилась пара глаз, можно было иногда различить очертания зверя. Иногда удавалось даже заметить, что они передвигаются.

Какой-то шум среди собак привлек внимание путников. Одноух издавал отрывистые жалобные звуки и тянулся, насколько позволяла ему палка, по направлению к темноте, время от времени делая бешеные усилия, чтобы схватить палку зубами.

— Посмотри-ка, Билл, — прошептал Генри.

Прямо к костру мягкой, крадущейся походкой приближался какой-то зверь, похожий на собаку. В его движениях сквозили осторожность и дерзость; он внимательно наблюдал за людьми, не упуская в то же время из виду собак. Одноух потянулся, насколько позволяла ему палка, к непрошеному гостю и тоскливо завыл.

— Этот болван Одноух как будто не особенно боится, — тихо произнес Билл.

— Это волчица, — так же тихо проговорил Генри. — Теперь понятно, почему исчезли Пузырь и Лягуха. Она служит приманкой для своей стаи. Она заманивает собаку, а затем вся остальная стая бросается на жертву и съедает ее.

Огонь затрещал. Головушка с громким шипением откатилась в сторону. При этом звуке странное животное отскочило назад в темноту.

— Генри, я думаю... — начал Билл.

— Что ты думаешь?

— Я думаю, что это тот самый зверь, которого я хватил палкой.

— В этом нет ни малейшего сомнения, — ответил Генри.

— Кстати, не находишь ли ты, — продолжал Билл, — что близкое знакомство этого зверя с кострами и подозрительно, и даже как-то безнравственно?

— Он несомненно знает больше, чем полагается знать уважающему себя волку, — согласился Генри. — Волк, который приходит по вечерам кормиться с собаками, должен обладать большим жизненным опытом.

— У старого Виллена была однажды собака, которая убежала к волкам, — вслух рассуждал Билл. — Я это хорошо

знаю, потому что я сам застрелил ее среди стаи на оленьем пастбище около Литтль-Стака. Старик плакал, как ребенок, и говорил, что не видел ее три года; все это время она провела с волками.

— По-моему, ты попал в точку, Билл. Этот волк не что иное, как собака, и наверное не раз получал рыбу из человеческих рук.

— Только бы не промахнуться, и этот волк, а в действительности собака, скоро превратится у меня просто в мясо, — заявил Билл. — Мы не можем больше терять животных.

— Но у тебя осталось всего-навсего три заряда, — заметил Генри.

— Я выжду и возьму верный прицел! — был ответ.

Утром Генри развел огонь и приготовил завтрак под храп своего товарища.

— Ты так сладко спал, — сказал ему Генри, — что у меня не хватило духу будить тебя.

Билл сонно принялся за еду. Заметив, что чашка его пуста, он потянулся за кофе. Но кофейник стоял далеко, около Генри.

— Скажи-ка, Генри, — проговорил он добродушно, — ты ничего не забыл?

Генри внимательно посмотрел по сторонам и отрицательно покачал головой. Билл поднял пустую чашку.

— Ты не получишь кофе, — объявил Генри.

— Неужто весь вышел? — испуганно спросил Билл.

— Нет!

— Ты, может быть, заботаешься о моем пищеварении?

— Нет!

Краска негодования залила лицо Билла.

— В таком случае я требую объяснения, — сказал он.

— Машистый исчез, — ответил Генри.

Не спеша, с видом полной покорности судьбе Билл повернул голову и, не вставая с места, стал считать собак.

— Как это случилось? — спросил он упавшим голосом.

Генри пожал плечами:

— Не знаю. Разве что Одноух перегрыз ему ремень. Сам он этого сделать не мог.

— Окаянный пес! — Билл говорил тихо и серьезно, не выказывая накипевшей в нем злобы. — Не удалось перегрызть свой, так перегрыз Машистому.

— Ну, все мучения Машистого теперь, во всяком случае, окончились; он, несомненно, уже переварился и скачет по пустыне в брюхе двадцати волков, — сказал Генри, и это послужило эпитафией третьей пропавшей собаке... — Хочешь кофе, Билл?

Билл отрицательно покачал головой.

— Пей! — сказал Генри, поднимая кофейник.

Билл отодвинул чашку:

— Будь я трижды проклят, если выпью. Я сказал, что не буду пить кофе, если пропадет собака, и не стану пить!

— А кофе отличный, — соблазнял товарища Генри.

Но Билл был упрям и позавтракал всухомятку, приправляя еду ругательствами по адресу Одноуха, сыгравшего такую штуку.

— Сегодня вечером я привяжу их на почтительном расстоянии друг от друга, — сказал Билл, когда они снова тронулись в путь.

Они прошли не более ста шагов, когда Генри, шедший впереди, наклонился и поднял какой-то предмет, попавший ему под лыжу. Было темно, так что он не мог разглядеть его, но он узнал его на ощупь. Он бросил его назад так, что тот ударился о нарты и, отскочив, попал под ноги Биллу.

— Может быть, это тебе пригодится, — заметил Генри.

Билл вскрикнул от удивления. Это была палка, которой он привязал накануне Машистого, — все, что от него осталось.

— Они съели его вместе со шкурой, — заявил Билл, — даже ремень отгрызли от палки с обеих сторон. Они чертовски голодны, Генри, и примутся за нас прежде, чем мы кончим путь.

Генри вызывающе засмеялся:

— Волки, правда, никогда еще так не охотились за мной, но я видал в своей жизни немало, и тем не менее сохранил свою голову на плечах. Пожалуй, понадобится кое-что пострашнее стаи этих надоедливых тварей, чтобы покончить с твоим покорным слугой. Так-то, дружище!

— Не знаю, не знаю, — мрачно пробормотал Билл.

— Ну, так узнаешь, когда мы доберемся до Мак-Гэрри.

— Я что-то не слишком уверен в этом, — упорствовал Билл.

— Тебя лихорадит, вот в чем дело, — решительно заметил Генри. — Хорошая доза хинина, и все как рукой снимет. Я займусь твоим здоровьем, как только мы прибудем в Мак-Гэрри.

Билл заворчал, выражая свое несогласие с этим диагнозом, и умолк.

День был такой же, как и все другие. Свет показался около девяти часов. В полдень горизонт озарился невидимым солнцем, а вслед за тем на землю надвинулись холодные серые сумерки, которые должны были через три часа смениться ночью.

Лишь только солнце, сделав неудачную попытку подняться над горизонтом, окончательно скрылось за гранью земли, Билл вытащил из нарт ружье и сказал:

— Ты, Генри, иди прямо, а я посмотрю, что делается кругом.

— Ты бы лучше не отходил от нарт, — запротестовал его спутник, — у тебя только три заряда, а неизвестно, что еще может случиться.

— Кто же это теперь каркает? — ехидно заметил Билл.

Генри ничего не ответил и пошел вперед один, бросая тревожные взгляды в серую даль, где скрылся его товарищ. Через час, воспользовавшись тем, что нартам пришлось сделать большой крюк, Билл догнал их на повороте.

— Они рассыпались широким кольцом и не теряют нашего следа, охотясь в то же время за дичью. Эти твари, видишь ли, уверены, что доберутся до нас, но понимают,

что им придется еще подождать, и пока стараются не упустить ничего съедобного.

— Ты хочешь сказать, что они воображают, будто доберутся до нас, — поправил Генри.

Но Билл не удостоил вниманием его возражения.

— Я видел некоторых из них, — продолжал он, — они порядком отошдали. Должно быть, несколько недель ничего не ели, кроме Пузыря, Лягухи и Машистого, а этим такой оравы не насытишь. Они до того худы, что ребра так и вылезают наружу, а животы подтянуты под самые спины. Они на все способны, говорю тебе, того и гляди взбесятся, а тогда увидишь, что будет.

Несколько минут спустя Генри, шедший теперь позади нарт, испустил слабый предостерегающий свист. Билл обернулся и спокойно остановил собак. Вслед за ними, вынырнув из-за последнего поворота проложенной нартами тропы, нисколько не скрываясь, бежал какой-то неясный пушистый зверь. Морда его была опущена к земле, и он двигался вперед странной, необычайно легкой, скользкой походкой. Когда они останавливались, останавливался и он, поднимая при этом голову и пристально глядя на них; и всякий раз, как он улавливал человеческий запах, ноздри его вздрагивали.

— Это волчица, — сказал Билл.

Собаки улеглись на снегу, и Билл, пройдя мимо них, подошел к товарищу, чтобы лучше рассмотреть странного зверя, преследовавшего путешественников в течение нескольких дней и лишившего их уже половины упряжки.

Обнюхав воздух, зверь сделал несколько шагов вперед. Он повторил этот маневр много раз, пока не оказался в ста шагах от нарт. Тут он остановился около группы сосен и, подняв голову, принялся зрением и обонянием изучать стоявших перед ним людей. Он смотрел на них странным разумным взглядом, как собака, но в этом взгляде не было собачьей преданности. Эта разумность была порождением

голода, такая же жестокая, как его клыки, такая же безжалостная, как самый лютей мороз.

Для волка он был очень велик; его обтянутый скелет указывал на то, что он принадлежит к числу крупнейших представителей своей породы.

— Росту в нем не менее двух с половиной футов, если считать от плеч, — рассуждал Генри, — а в длину, пожалуй, без малого пять футов.

— Странная масть для волка, — добавил Билл. — Никогда не видел таких рыжих волков. Право, что твоя корица.

Зверь, однако, не был цвета корицы. И шкура у него была настоящая волчья. Основной тон ее был серый, но с каким-то обманчивым рыжим отливом, то появлявшимся, то снова исчезающим. Казалось, тут замешано что-то вроде оптического обмана: то был серый, чисто серый цвет, то вдруг в нем появлялись штрихи и блики какого-то не передаваемого словами красновато-рыжего тона.

— Он похож на большую лохматую упряжную собаку, — сказал Билл. — И я ничуть не удивлюсь, если он завилает сейчас хвостом.

— Эй, ты, лохматый, — воскликнул он. — Пойди сюда! Как тебя зовут?

— Он совсем не боится тебя, — рассмеялся Генри.

Билл угрожающе замахнулся и громко закричал, но зверь не проявил никакого страха. Они заметили только, что он как будто оживился. Он по-прежнему не спускал с людей своего жестокого разумного взгляда. Это было мясо, он был голоден, и если бы не страх перед человеком, он с удовольствием съел бы их.

— Послушай, Генри, — сказал Билл, бессознательно понижая голос до шепота. — У нас три заряда. Но тут дело верное. Промануться немислимо. Он уже сманил у нас трех собак. Пора прекратить это. Что ты скажешь?

Генри утвердительно кивнул головой. Билл осторожно вытащил ружье из-под покрывки нарт. Но не успел он

приложить его к плечу, как волчица в ту же секунду бросилась в сторону от тропы и исчезла в чаще деревьев.

Мужчины переглянулись. Генри протяжно и многозначительно свистнул.

— И как это я не догадался! — воскликнул Билл, кладя ружье обратно на место. — Ведь ясно, что волк, знающий, как надо являться за своей порцией во время кормления собак, должен быть также знаком и с огнестрельным оружием. Говорю тебе, Генри, что эта тварь — виновница всех наших несчастий. Если бы не она, у нас было бы сейчас шесть собак вместо трех. Хочешь не хочешь, Генри, а я отправлюсь за ней. Она слишком хитра, чтобы ее можно было убить на открытом месте. Но я выслежу ее и убью из-за куста; это так же верно, как то, что меня зовут Биллом.

— Для этого тебе нет надобности уходить очень далеко, — сказал его товарищ. — Если вся эта стая нападет на тебя, то твои три заряда будут все равно, что три ведра воды в аду. Эти звери страшно голодны, и если только они бросятся на тебя, Билл, спета твоя песенка!

Они рано остановились в этот день для ночлега. Три собаки не могли тащить нарты так же и с той же скоростью, как шестеро животных, и они проявляли явные признаки переутомления. Путники улеглись рано, и Билл предварительно привязал собак таким образом, чтобы они не могли перегрызть ремней друг у дружки.

Но волки становились все смелее и не раз будили в эту ночь обоих мужчин. Они подходили так близко, что собаки бесились от страха, и людям приходилось то и дело подбрасывать в огонь дров, чтобы удерживать этих предприимчивых мародеров на почтительном расстоянии.

— Я слышал рассказы моряков о том, как акулы преследуют корабли, — заметил Билл, забираясь под одеяло после того, как костер снова ярко запылал. — Эти волки — сухопутные акулы. Они знают свое дело лучше, чем мы, и поверь мне, не для мочиона шествуют за нами по пятам. Они доберутся до нас, Генри. Ей-ей, доберутся.

— Тебя, дурака, они уже наполовину съели, — резко возразил Генри. — Когда человек начинает говорить о своей гибели, значит, он уже наполовину погиб. Вот и выходит, что ты почти съеден, раз ты так уверен, что это случится.

— Что же, они справлялись и с более сильными людьми, чем мы с тобой, — ответил Билл.

— Да перестань ты каркать! Сил моих нет!

Генри сердито повернулся на другой бок и с удивлением отметил про себя, что Билл не обнаружил никаких признаков раздражения. Билл был человек вспыльчивый, и подобная кротость показалась Генри очень подозрительной. Он долго думал об этом перед тем как заснуть, и последней мыслью его было: «А бедняга Билл порядком струхнул! Надо будет как следует взяться за него завтра!»

ГЛАВА III

ВОПЛЬ ГОЛОДА

День начался благополучно. За ночь не пропало ни одной собаки, и оба товарища двинулись в путь навстречу тишине, мраку и холоду в довольно бодром настроении. Билл как будто забыл мрачные предчувствия прошлой ночи и весело прикрикнул на собак, когда те в полдень на неровном месте опрокинули нарты в снег.

Все смешалось. Нарты перевернулись вверх дном и застряли между стволом дерева и большим камнем; пришлось отпрячь собак, чтобы привести все в порядок. Путники наклонились над нартами, стараясь выправить их, как вдруг Генри заметил, что Одноух отходит в сторону.

— Сюда, Одноух! — крикнул он, выпрямляясь и обращаясь в сторону собаки.

Но Одноух побежал по снегу, волоча за собою постромки. А там, вдали, на дороге, по которой они только что

прошли, ожидала его волчица. Приблизившись к ней, Одноух вдруг насторожился, потом замедлил шаг и наконец остановился. Он внимательно осматривал ее, но глаза его горели похотью. Волчица, казалось, улыбнулась ему, оскалив зубы скорее приветливо, чем угрожающе. Затем, заигрывая, она сделала несколько шагов по направлению к Одноуху и остановилась. Одноух тоже приблизился к ней, все той же напряженной осторожной походкой, наставив уши, подняв хвост и высоко закинув голову.

Он хотел обнюхать ее морду, но она игриво и жеманно отскочила в сторону. Стоило ему сделать движение вперед, как она тотчас же отступала назад. Шаг за шагом она заманивала его все дальше и дальше от людей. Раз что-то вроде смутного предчувствия промелькнуло в мозгу Одноуха; он обернулся и бросил взгляд на опрокинутые нарты, на товарищей-собак и на двух людей, звавших его.

Но все колебания его быстро рассеялись, когда волчица, подскочив ближе, обнюхалась с ним и так же жеманно отступила назад, лишь только он сделал движение к ней.

Тем временем Билл вспомнил о ружье. Но оно застряло под опрокинутыми нартами, и когда ему удалось, наконец, с помощью Генри, поднять их, Одноух и волчица были уже слишком близко друг к другу и слишком далеко от них, чтобы стоило рисковать зарядом.

Чересчур поздно понял Одноух свою ошибку. И, прежде чем люди успели что-либо заметить, он обернулся и бросился бежать обратно к ним. Но тут, под прямым углом к тропе, наперерез собаке, помчалась дюжина волков, тощих и серых. Вся игривость и жеманность волчицы мгновенно исчезли. С рычанием бросилась она на Одноуха. Он оттолкнул ее плечом и, видя, что путь к нартам прегражден, бросился в другом направлении, чтобы добраться до них окружным путем. С каждым мгновением к погоне присоединялись все новые и новые волки. Волчица бежала следом за Одноухом.

— Куда ты? — сказал вдруг Генри, кладя руку на плечо товарища.

Билл стяхнул с себя руку Генри:

— Не могу я видеть этого. Больше они не отнимут у нас ни одной собаки, я этого не допущу.

С ружьем в руках он нырнул в кусты, росшие по сторонам дороги. Его намерения были довольно ясны. Избрав нарты центром круга, по которому бежал Одноух, Билл хотел перерезать на этой кривой путь волкам. С ружьем в руках среди белого дня он мог запугать волков и спасти собаку.

— Смотри, Билл! — закричал ему вслед Генри. — Будь осторожен! Не рискуй своей шкурой!

Генри уселся на нарты и стал ждать. Ему больше ничего не оставалось. Билл уже скрылся из виду, но Одноух, то исчезая, то появляясь, мелькал среди кустов и растущих в одиночку сосен. Генри находил его положение безнадежным. Собака прекрасно сознавала грозившую ей опасность, но она бежала по внешнему кругу, в то время как волки — по внутреннему, меньшему. Трудно было рассчитывать, что Одноуху удастся настолько опередить своих преследователей, чтобы вовремя пересечь их круг и добраться до нарт.

Пути их должны были скреститься. Где-то там, в снегу, скрытые от его глаз деревьями и кустами, — Генри знал это, — Одноух, Билл и волки должны были сойтись. Все это произошло гораздо раньше, чем он ожидал. Он услышал выстрел, затем еще два, один за другим, и сказал себе, что у Билла нет больше зарядов. Затем до его слуха донесся громкий крик и рев. Он узнал жалобный и испуганный визг Одноуха, крик раненого волка, и это было все. Вой прекратился. Рев замер. Тишина снова спустилась на мертвую пустыню.

Генри долго сидел на нартах. Ему незачем было идти, чтобы посмотреть, что случилось. Он знал это так же хорошо, как если бы видел все собственными глазами. Раз только он резко встал и вытащил топор из нарт, но затем снова сел и задумался; оставшиеся собаки, дрожа всем телом, свернулись у его ног.

Наконец он тяжело поднялся на ноги, как будто лишившись сразу всей своей энергии, и принялся запрягать собак

в нарты. Перекинув через плечо веревочную петлю, он стал тянуть их вместе с собаками. Но Генри не ушел далеко. При первых признаках приближения темноты он поспешил сделать привал и позаботился о том, чтобы собрать как можно больше дров. Он накормил собак, сварил и съел свой ужин и приготовил себе постель у самого огня.

Но ему не суждено было уснуть в эту ночь. Прежде чем он успел закрыть глаза, волки подошли совсем близко. Теперь их можно было разглядеть, не напрягая зрения. Они окружили его и костер тесным кольцом; при свете огня он видел, что одни из них стояли, другие лежали, третьи, наконец, ползали на брюхе или прогуливались взад и вперед. Некоторые даже спали. Генри видел, как они, свернувшись на снегу, точно собаки, наслаждались сном, о котором ему теперь нечего было и мечтать.

Он усердно поддерживал яркий огонь, зная, что это единственная преграда, отделяющая его тело от их голодных пастей. Обе собаки тесно жались к нему с двух сторон, как бы ища защиты; они жалобно повизгивали и злобно рычали, когда какой-нибудь из волков подходил слишком близко. Это рычание обычно вызывало в волчьей стае сильное волнение; звери поднимались на ноги и делали попытки подойти ближе, оглашая воздух воем и ревом. Затем все опять успокаивалось, и они снова погружались в прерванный сон.

Однако кольцо сужалось все больше и больше. Постепенно, дюйм за дюймом, приближаясь поодиночке, звери стягивали свой круг, пока не оказывались, наконец, на расстоянии прыжка. Тогда Генри выхватывал из костра горящие головешки и бросал их в стаю. Последствием этого бывало мгновенное отступление, сопровождавшееся воем и рычанием, когда метко брошенная головня попадала в чересчур осмелевшего зверя.

Утро застало Генри утомленным и осунувшимся от бессонной ночи. Он приготовил себе завтрак в темноте и в девять часов — когда, с наступлением света, волки немного отступили, — принялся за выполнение плана, обдуманно-

го им ночью. Срубив молодые ели, он сделал из них перекладыны и высоко прикрепил их наподобие лесов к стволам двух больших деревьев. Потом, связав из санной упряжи подъемный канат, он при помощи собак поднял гроб наверх, на леса.

— Они добрались до Билла и, может быть, доберутся до меня, но никогда не тронут вас, молодой человек, — сказал Генри, обращаясь к мертвецу в его древесной гробнице.

Затем он отправился дальше; собаки охотнее потащили облегченные нарты; они тоже понимали, что спасение там, впереди, в Мак-Гэрри.

Волки совсем осмелели и спокойно бежали сзади и по бокам, высунув красные языки; на их тощих боках при каждом движении вырисовывались ребра. Они были страшно худы, настоящие мешки, наполненные костями, с веревками вместо мускулов; и можно было удивляться, как они еще держатся на ногах.

Путник решил остановиться до наступления темноты. В полдень солнце не только согрело южный край неба, но даже выглянуло бледным золотым ободком из-за горизонта. Генри понял, что дни становятся длиннее, что солнце возвращается. Но прежде чем солнце успело скрыться, он остановился на ночлег. Оставалось еще несколько часов серых сумерек, и Генри употребил их на то, чтобы заготовить большой запас дров.

Ночь вновь принесла с собой ужас. Волки становились все смелее, а на Генри сильно отражалась бессонница. Он начал невольно дремать, скорчившись у огня и закутавшись в одеяло, с топором между коленями; обе собаки, тесно прижавшись к нему, сидели по бокам. Раз он проснулся и увидел перед собой на расстоянии каких-нибудь двенадцати футов большого серого волка, самого крупного из стаи. Когда Генри взглянул на него, зверь развязно потянулся, точно ленивая собака, и зевнул перед самым его носом. При этом он смотрел на человека как на свою собственность, точно это было приготовленное для него блюдо, которое ему скоро

предстояло съесть. Такая же уверенность чувствовалась у всей стаи. Генри мог насчитать штук двадцать волков, жадно глядевших на него или спавших в снегу. Они напоминали ему детей, собравшихся вокруг накрытого стола и ожидающих разрешения приступить к еде. И этой пищей был он. Его интересовало, когда и как они начнут его есть.

Подбрасывая дрова в огонь, он вдруг почувствовал глубокую нежность к своему телу, чувство, совершенно не знакомое ему до тех пор. Он наблюдал за игрой своих мускулов и ловкими движениями своих пальцев. При свете костра он медленно сгибал пальцы то поодиночке, то все вместе, широко расправляя их или делая быстрые хватаящие движения. Он рассматривал форму ногтей, ударяя с различной силой по концам пальцев, чтобы испытать чувствительность своих нервов. Это занятие целиком поглотило его; ему стало вдруг бесконечно дорого это тело, которое умело так ловко, хорошо и тонко работать. Время от времени он бросал полный ужаса взгляд на волчье кольцо, окружавшее его в ожидании добычи, и грозная мысль, словно удар по голове, поражала его: ведь это удивительное тело не более как кусок мяса для жестоких хищников, и они разорвут его своими голодными клыками и утолят им свой голод так же, как утоляют его обычно оленем или кроликом.

Он очнулся от дремоты, очень близкой к кошмару, и увидел прямо перед собой рыжую волчицу. Она сидела на снегу, на расстоянии нескольких шагов, и смотрела на него разумным взглядом. Обе собаки визжали и прыгали у его ног, но она не обращала на них никакого внимания. Она смотрела на человека, и он тоже не спускал с нее глаз. В ее взгляде не было угрозы, а только глубокое раздумье. Но он знал, что это раздумье вызвано острым голодом. Он был для нее пищей, и вид его возбуждал в ней вкусовые ощущения. Пасть ее открылась, и оттуда показалась слюна. Она слизнула ее языком, как бы предвкушая близкое удовольствие.

Им овладел страх. Он быстро протянул руку, чтобы схватить головешку, но не успели его пальцы коснуться ее, как волчица отскочила в сторону; он понял, что она привыкла, чтобы в нее кидали чем попало. Отскочив, она зарычала и обнажила клыки до самых корней. Разумное выражение исчезло и уступило место кровожадному и злобному, заставившему Генри содрогнуться. Он взглянул на свою руку, державшую головешку, заметил тонкость и ловкость пальцев, охвативших ее со всех сторон, заметил, как они приравнивались к неровностям и как маленький палец инстинктивно поднялся, чтобы избежать прикосновения к горячему месту, и в ту же минуту ему представилось, как эти тонкие и нежные пальцы будут хрустеть под белыми зубами волчицы. Никогда еще не было так дорого ему это тело, как теперь, когда он мог каждую минуту лишиться его.

Всю ночь он отбивался от голодной стаи горящими головешками. Когда дремота, помимо воли, одолевала его, он просыпался от рычания и визга собак.

Настало утро, и в первый раз дневной свет не разогнал волков. Генри напрасно ждал этого. Они остались сидеть вокруг него и огня, и эта беспримерная наглость заставила дрогнуть воспрянувшее в нем с наступлением рассвета мужество.

Он сделал отчаянную попытку выбраться на тропу. Но не успел он выйти из-под защиты огня, как самый смелый из волков подскочил к нему вплотную. Генри отскочил назад, и зубы волка щелкнули в шести вершках от его лица. Вся стая поднялась и двинулась на него. Бросая во все стороны горящие головешки, он кое-как отбил от них и вернулся на прежнее место. Даже днем он не решился отойти от костра, чтобы нарубить свежих дров. В двадцати шагах от него высилась большая высохшая сосна. Ему понадобилось полдня, чтобы растянуть свой костер до этого дерева, причем он все время держал наготове с полдюжины горящих поленьев, чтобы запустить ими в своих врагов. Добравшись

до дерева, он внимательно осмотрел местность, чтобы срубить его в том направлении, где было больше топлива.

Наступившая ночь была повторением предыдущей, с той разницей, что сон все сильнее и сильнее одолевал его. Рычание собак не оказывало на него больше никакого действия. К тому же они рычали теперь почти не переставая, и его притупившиеся чувства отказывались различать оттенки и силу этих сигналов. Вдруг он проснулся. Прямо перед ним стояла волчица. Машинально, почти не соображая, он сунул ей в открытую пасть горящую головешку. Она отскочила с жалобным воем, и пока он наслаждался запахом опаленной шерсти и мяса, она мотала головой и злобно рычала в каких-нибудь двадцати шагах от него.

Но на этот раз, прежде чем заснуть, он привязал к руке пучок горящих еловых веток. Глаза его оставались закрытыми не более нескольких минут, когда боль от ожога разбудила его. Несколько часов подряд он придерживался этого способа. Каждый раз, просыпаясь, он бросал во все стороны горящие сучья, подкладывал дров в костер и привязывал новый пучок веток к руке. Все шло хорошо, но раз он слишком слабо прикрепил горящий пучок, и не успели глаза его сомкнуться, как ветки выпали.

Ему снилось, что он в форте Мак-Гэрри... Было тепло и уютно, и он играл в криббэдж с кладовщиком. Снилось ему еще, что форт осажден волками. Они выли у самых ворот, и Генри с кладовщиком изредка прерывали игру, чтобы пошутить над усилиями волков, тщетно старавшихся добраться до них. И вдруг — что за страшный сон, — раздался какой-то треск. Дверь распахнулась, и он увидел, как волки ворвались в просторную жилую комнату форта. Они бросились прямо на него и на кладовщика. Вой страшно усилился и начал не на шутку беспокоить его. Сон его превращался во что-то другое, во что именно, он не понимал, но сквозь это превращение его преследовал неумолкаемый вой.

Тут он проснулся и услышал вой наяву. С рычанием и ревом волки бросились на него и обступили со всех сторон.

Чьи-то зубы впились ему в руку. Инстинктивно он вскочил в середину огня, и в ту же минуту почувствовал боль от острых клыков, вонзившихся ему в ногу. Тогда началась огневая битва. Он бросал во все стороны горящие уголья, пользуясь тем, что толстые рукавицы защищали его руки; со стороны костер в этот момент, наверное, был похож на вулкан.

Но это не могло долго продолжаться. Лицо его покрылось пузырями, брови и ресницы обгорели, и ногам было нестерпимо жарко в огне. Держа в каждой руке по горящей головне, он отошел к краю костра. Волки отступили. Повсюду, куда попадали раскаленные уголья, шипел снег, и всякий раз, как кто-нибудь из волков наступал на такой уголь, визг, вой и рычание возобновлялись с новой силой.

Запустив головешки в ближайших врагов, Генри сунул свои тлеющие рукавицы в снег и стал топтаться на месте, чтобы охладить ноги. Обе собаки его пропали, и он знал, что они послужили продолжением того пира, который начался несколько дней тому назад с Пузыря и завершить который суждено было ему...

— Вы еще не поймали меня! — заорал он, злобно грозя кулаком в сторону голодных зверей.

При звуке его голоса вся стая пришла в волнение; вой усилился, а волчица подошла совсем близко, наблюдая за ним разумным голодным взглядом.

Ему пришла в голову новая мысль, и он тотчас же принялся за дело. Разложив костер в виде большого круга, Генри улегся посредине, подложив под себя одеяло, чтобы защититься от тающего снега. Когда он таким образом скрылся под защитой огня, вся стая с любопытством подошла к самому краю костра, чтобы посмотреть, что с ним случилось. До сих пор им ни разу не удавалось еще подойти так близко к огню, и теперь они улеглись тесным кольцом, как собаки, моргая, позевывая и потягиваясь от непривычной теплоты. Но вдруг волчица села, подняла морду к звездам и завывала. Волки один за другим присоединились к ней,

пока вся стая, усевшись на задние лапы и задрав морды кверху, не огласила воздух голодным воем.

Наступил рассвет, а за ним и день. Огонь догорал, топливо иссякло, и необходимо было сделать новый запас. Человек попробовал было выйти из огненного кольца, но волки поднялись ему навстречу. Горящие головешки заставили их отскочить в сторону, но они не отступили. Напрасно старался он отогнать их. Когда же, решив уступить, он вошел обратно в кольцо, один из волков бросился на него, но промахнулся и попал всеми четырьмя лапами в огонь. Он взвизгнул от боли и, зарывав, пополз назад, чтобы остудить лапы в снегу. Генри, сгорбившись, уселся на свое одеяло. Туловище его наклонилось вперед. Опущенные плечи и склоненная до колен голова красноречивее слов свидетельствовали о том, что он отказался от борьбы. Время от времени он поднимал голову, убеждаясь всякий раз, что костер затухает. Кольцо пламени уже прорвалось в нескольких местах, оставляя свободный проход. Проходы эти увеличивались, а стена огня уменьшалась.

— Теперь вы можете взять меня, когда захотите, — пробормотал он, — но я, по крайней мере, выплещусь.

Раз, проснувшись, он увидел прямо перед собой в проходе, образовавшемся в потухающем костре, волчицу, которая в упор смотрела на него.

Через некоторое время — ему казалось, что это было через несколько часов, — он снова проснулся. Произошла какая-то таинственная перемена, перемена, заставившая его широко раскрыть глаза от удивления. Что-то случилось. Сначала он не мог понять, что именно, но вдруг все стало ясно: волки исчезли. Оставались только следы на снегу, говорившие о том, как близко они подходили к нему. Сон начал опять овладевать им, голова его склонилась на колени, как вдруг он вздрогнул и проснулся окончательно.

Где-то вблизи слышались человеческие голоса, скрип нарт и постромок и нетерпеливый визг упряжных собак. Четверо нарт подъехали со стороны реки к месту привала

между деревьями. Несколько человек обступили Генри, дремавшего в центре догорающего костра. Они расталкивали его, стараясь привести в чувство, а он смотрел на них как пьяный и бормотал странным заспанным голосом:

— Рыжая волчица... пришла кормиться вместе с собаками... сначала ела собачий корм... потом съела собак... а затем съела Билла...

— Где лорд Альфред? — заорал ему прямо в ухо один из людей, грубо тряся его за плечо.

Он тихо покачал головой:

— Нет, его она не съела; он покоится на дереве у последнего привала.

— Мертвый? — закричал человек.

— И в ящике, — ответил Генри.

Он стремительно вырвал плечо из рук державшего его человека:

— Слушайте, оставьте меня в покое... Я хочу спать. Спокойной ночи всем...

Глаза его закрылись, подбородок упал на грудь. И пока его клали на одеяло, морозный воздух уже успел огласиться его храпом. Но слышны были еще и другие звуки. Издалека неясно доносился голодный вой волчьей стаи, ушедшей искать другой пищи взамен ускользнувшего от ее клыков человека.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

БИТВА КЛЫКОВ

Из всей стаи волчица первая уловила звук человеческих голосов и визг упряжных собак, и она же первая отскочила от укрывавшегося в гаснувшем огненном кольце человека. Стае не хотелось отказаться от своей добычи, и она еще несколько минут колебалась, прислушиваясь к голосам, а затем понеслась по следу, проложенному волчицей.

Впереди стаи бежал большой серый волк — один из ее вожakov. Это он повел всю стаю по следам волчицы, и он же угрожающе рычал на молодых волков и хватал их клыками, когда кто-нибудь из них дерзостно пытался обогнать его. Завидев впереди волчицу, серый волк наддал ходу.

Она побежала рядом со стариком, как будто это было ее законное место. Серый волк не ворчал на нее, не скалил своих клыков, когда она иногда быстрым прыжком опережала его. Наоборот, он казался явно расположенным к ней, пожалуй, даже чересчур явно с точки зрения волчицы, ибо лишь только серый волк подходил к ней чересчур близко (а он, по видимому, находил в этом большое удовольствие), она рычала на него и скалила зубы... При случае она не останавливалась перед тем, чтобы укусить его в плечо, но он не сердился на нее. Он только отскакивал в сторону и некоторое время неуклюжими прыжками бежал впереди, напоминая своим видом и поведением сконфуженного деревенского парня.

Она была его единственной заботой во время бега, но у волчицы было много забот. По другую сторону от нее бежал худой матерый волк, полуседой, со следами многих битв на теле. Он все время бежал с правой стороны от волчицы, быть может, потому что у него был только один глаз, и притом левый. Он также проявлял явное желание держаться ближе к ней, стараясь прикоснуться своей покрытой рубцами мордой к ее плечу, шее или телу. Она отбивалась от него зубами, точно так же, как от бежавшего по другую сторону самца. Когда же оба они принимались одновременно выказывать ей свое расположение, волчица быстрыми укусами отделялась от своих поклонников, продолжая в то же время указывать путь стае и ни на минуту не убавляя шага. При таких стычках оба самца оскаливали клыки и угрожающе рычали друг на друга. Они, конечно, сцепились бы, но мучительное и властное чувство голода заглушало в них на время даже чувство любви и ревности.

Всякий раз, отскакивая от острых клыков предмета своих желаний, старый волк налетал на молодого трехлетка, бежавшего по правую, слепую сторону от него. Молодой вояк был уже вполне развит и, несомненно, обладал исключительной силой и выносливостью, если принять во внимание истощенное и голодное состояние стаи. Тем не менее он бежал немного позади старого волка, так что голова его приходилась вровень с плечом Одноглазого. Всякий раз, как он пытался, — что случалось, впрочем, довольно редко, — обогнать его, удар клыками и грозное рычание возвращали его на прежнее место. Но иногда он тихонько и осторожно отставал, стараясь втереться между старым волком и волчицей. За это ему мстили с двух, а иногда и с трех сторон. Стоило волчице выразить рычанием свое недовольство, как старый вожак набрасывался на трехлетка, к нему иногда присоединялась и сама волчица, а вслед за ней молодой волк, бежавший впереди.

В такие минуты, видя перед собой шесть рядов грозных зубов, молодой волк быстро останавливался, поднимался

на дыбы и, напряженно вытянув передние лапы, скалил клыки и ерошил шерсть. Эта заминка в авангарде бегущей стаи нарушала порядок и в задних рядах. Бежавшие волки наскакивали на трехлетка и выражали свое негодование, кусая его за задние ноги и за бока. Он рисковал навлечь на себя большие неприятности, ибо голод и озлобление всегда идут рука об руку, но с безграничной уверенностью юности настойчиво повторял свои попытки, неизменно заканчивавшиеся полным поражением.

Будь у них пища, любовь и борьба за нее давно выступили бы на первый план, и стая распалась бы. Но стая находилась в отчаянном положении. Она была истощена длительным голодом и бежала медленнее обычного. В арьергарде тащились ослабевшие волки — самые старые и самые молодые. Впереди шли самые сильные, но все они больше походили на скелеты, чем на рослых волков. Тем не менее, за исключением нескольких инвалидов, все они двигались непринужденно и без видимых усилий. Их натянутые мускулы хранили в себе, казалось, неистощимый источник энергии. За каждым стальным узлом мускулов находился другой такой же стальной узел, за ним еще и еще, и так, по-видимому, без конца.

В этот день они прошли много миль. Они бежали всю ночь и весь следующий день по замерзшей мертвой равнине. Нигде не было заметно ни малейшего признака жизни. Они одни двигались по бесконечной пустыне. Они были единственными живыми существами, и они искали других живых существ, чтобы растерзать их и тем продлить свою жизнь.

Им пришлось пересечь немало долин и перебраться через множество речек прежде, чем поиски их увенчались успехом. Они напали на стадо оленей. Сначала им попался крупный самец. Это было мясо и жизнь, не защищенные таинственным кольцом огня и летающими языками пламени. Раздвоенные копыта и ветвистые рога были им хорошо знакомы, и они смело отбросили здесь свою обычную осторожность и терпение. Борьба была короткая и жестокая. На оленя набросились сразу со всех сторон. Он разбивал им черепа страшными уда-

рами своих тяжелых копыт, разрывал их шкуры, поднимал их на свои огромные рога и втапывал в снег. Но, наконец, обесилев, он свалился на землю, волчица свирепо впилась ему в шею, и в ту же минуту сотни зубов вонзились во все части его тела, пожирая его живьем, в то время как он делал еще последнее усилие, чтобы защитить драгоценную жизнь.

Пищи было вдоволь. Олень весил около восьмисот фунтов — полных двадцать фунтов мяса на каждого из сорока с лишним волков стаи. Но если они умели голодать, то зато умели и есть, и вскоре только несколько обглоданных костей напоминали о сильном красивом животном, которое столкнулось со стаей всего несколько часов назад.

После этого наступило время отдыха и сна. Наполнив брюхо, молодые самцы начали ссориться и драться, и это продолжалось в течение ближайших нескольких дней, пока вся стая не разбрелась в разные стороны. Голод кончился. Они находились теперь в стране, богатой дичью, и хотя все еще продолжали охотиться всей стаей, но сделались осторожнее, выбирая из пробежавших мимо оленьих стад отяжелевших самок или хромоногих самцов.

В этой благодатной стране наступил, наконец, день, когда стая разделилась на две части и разошлась в разные стороны. Волчица, а с ней вместе молодой самец и одноглазый волк, увели половину стаи вниз по реке Макензи и дальше на восток, в страну озер. С каждым днем эта часть стаи таяла. Исчезали парами — самец и самка. Иногда одинокий самец изгонялся острыми зубами своих соперников. В конце концов остались только четверо: волчица, молодой волк, одноглазый старик и тщеславный трехлеток.

Волчица находилась последнее время в свирепом настроении, и все три поклонника носили на себе следы ее зубов. Но они никогда не отвечали ей тем же и даже не пробовали защищаться. Они подставляли плечо под ее жестокие укусы, виляли хвостами, семенили ногами, стараясь смягчить ее злобу. Но если к ней они относились более чем мягко, то друга друга не щадили.

Трехлеток сделался необычайно самонадеянным и свирепым. Однажды он напал на одноглазого волка со слепой стороны и разорвал ему ухо в клочья. Хотя седой старик и был слеп на один глаз, но против молодости и силы своего противника он выставил мудрость своего многолетнего опыта. Утраченный глаз и покрытая рубцами морда красноречиво свидетельствовали о том, что этот опыт чего-нибудь да стоил. Слишком много сражений выдержал он на своем веку, чтобы почувствовать малейшее колебание перед дерзким юнцом.

Борьба началась честно, но кончилась нехорошо; трудно было бы предсказать ее результат, потому что третий волк присоединился к старику, старый и молодой вожак вместе напали на самонадеянного трехлетка и вывели его из строя. Его с двух сторон осадили не знавшие пощады клыки прежних товарищей. Забыты были дни, когда они охотились вместе, дичь, которую они убивали, тяжелые муки голода. Все это было делом прошлого. На очереди стояла любовь — дело более важное и более жестокое, чем добывание пищи.

Тем временем волчица — причина всего этого — спокойно сидела на задних лапах и наблюдала. Это даже нравилось ей. Это был ее день, — а такие дни бывали не часто, — день, когда шерсть ерошилась, клык ударялся о клык или погружался в мягкое мясо и рвал его — и все это из-за желания обладать ею.

И во имя любви трехлеток, в первый раз познавший, что такое увлечение, отдал свою жизнь. По обеим сторонам его тела стояли оба соперника. Они не спускали глаз с волчицы, которая улыбалась им, сидя на снегу. Но старый волк был умен, умен и опытен не только в борьбе, но и в любви. Молодой волк обернулся, чтобылизать рану на плече. Шея его была повернута в сторону противника. Своим единственным глазом старик увидел открывшуюся возможность. Он бросился на соперника, и клыки его сомкнулись, образовав на шее противника глубокую рваную рану. Зубы одноглазого встретили на пути большую шейную вену и перегрызли ее. Затем он отскочил в сторону.

Молодой волк дико зарычал, но рычание это сейчас же сменилось сухим кашлем. Истекая кровью и кашляя, пораженный насмерть, он бросился на старика, но жизнь уже угасала в нем, ноги подкашивались, туман застилал глаза, а удары и прыжки становились все слабее и слабее.

А волчица все так же продолжала сидеть на задних лапах и улыбаться. Ее радовало происходившее; таков был закон любви в пустыне, так разыгрывалась там первобытная трагедия пола; это была трагедия только для тех, кто погибал в этой борьбе; для победителя это было торжество и достижение цели.

Когда молодой волк растянулся без движения на снегу, Одноглаз подошел к волчице. В походке его сквозила гордость, смешанная, однако, с осторожностью. Он, по-видимому, ждал холодного приема и был поэтому сильно удивлен, когда та при его приближении не оскалила зубов. Впервые она встретила его ласково; она обнюхала его и даже снизошла до того, что стала резвиться с ним, как настоящий щенок. И он, несмотря на свой почтенный возраст и долголетний опыт, вел себя легкомысленно.

Забыты были побежденные соперники и история любви, красной кровью написанная на снегу. Только на минуту вспомнил Одноглаз обо всем этом, когда приселлизать свои раны. Тут губы его сжались, как бы для того, чтобы зарычать, шерсть на шее и плечах невольно ошетичилась, и лапы стали судорожно взрывать снег, точно собираясь сделать прыжок. Но в следующее мгновение все снова было забыто, и он погнался за волчицей, которая игриво манила его за собой в лес.

После этого они побежали рядом, как старые друзья, понявшие наконец друг друга. Дни проходили за днями, и они не расставались, вместе охотясь и деля убитую дичь. Спустя некоторое время волчицей овладело какое-то беспокойство. Казалось, она искала чего-то и не могла найти. Ее манили ямы, оставшиеся от упавших деревьев, и она целыми часами обнюхивала заполненные снегом трещины в скалах и пещерах под нависшими берегами. Старого Од-

ноглаза это нисколько не интересовало, но он добродушно следовал за ней, и, когда ее поиски в каком-нибудь месте затягивались слишком долго, он ложился и терпеливо ждал, пока она не побежит дальше.

Они нигде не задерживались подолгу и, обойдя всю местность, вернулись к реке Макензи; они медленно шли вдоль реки, иногда отходя от нее, чтобы поохотиться на ее притоках, но постоянно возвращались к главному руслу. Изредка им попадались другие волки, обыкновенно парами, но встречи эти не возбуждали ни у тех, ни у других никакой радости или желания снова образовать стаю. Несколько раз им попадались одинокие бродячие волки. Это были всегда самцы; они стремились присоединиться к Одноглазу и волчице, но Одноглаз не допускал этого, и когда волчица становилась бок о бок с ним, ероша шерсть и показывая клыки, одинокие волки отступали и, поджав хвосты, продолжали свой унылый путь.

Однажды, в лунную ночь, пробегая по безмолвному лесу, Одноглаз вдруг остановился. Морда его поднялась вверх, хвост выпрямился и раздувшиеся ноздри принялись обнюхивать воздух. Кроме того, он поднял одну ногу, как это делают собаки. Он был недоволен и продолжал втягивать воздух, стараясь определить взволновавший его запах. Но волчица только раз небрежно втянула воздух и пошла дальше, стараясь этим успокоить его. Одноглаз последовал за ней, но беспокойство его не унималось, и он время от времени останавливался, чтобы тщательнее исследовать настороживший его запах.

Волчица осторожно выползла на край прогадины. Несколько минут она простояла там в одиночестве. Затем Одноглаз, пробираясь ползком, весь насторожившись, с взъерошенной шерстью, каждый волос которой выражал сильнейшее беспокойство, приблизился к ней. Они остановились рядом, прислушиваясь и нюхая воздух.

До их слуха донесся лай и рычание дерущихся собак, гортанные крики мужчин, визгливые голоса бранящихся женщин и раз даже пронзительный крик ребенка. За исключе-

нием больших обтянутых шкурами хижин, пламени костра, на фоне которого мелькали какие-то неясные фигуры, и ровно подымавшегося кверху дыма, ничего нельзя было разобрать. Но обоняние их было раздражено тысячами запахов индейского лагеря, запахов, ничего не говоривших Одноглазу, но до мельчайших подробностей знакомых волчице. Она почувствовала странное волнение и стала с возрастающим наслаждением втягивать воздух. Но старый Одноглаз был полон сомнений. Он чувствовал страх и сделал попытку уйти. Она обернулась, коснулась мордой его шеи, как бы успокаивая, и снова стала смотреть по направлению лагеря. В глазах ее опять появилось разумное выражение, но на этот раз его вызвал не голод. Она вся трепетала от желания пойти вперед, подойти ближе к костру и повозиться с собаками, нырять и крутиться между человеческих ног.

Одноглаз нетерпеливо топтался около нее; беспокойство вновь охватило волчицу, и она снова ощутила потребность найти то, что искала. Она повернулась и побежала обратно в лес, к великой радости Одноглаза, который бежал впереди, пока они не скрылись под защитой деревьев.

Скользя, как тени, освещенные луной, они напали на след нарт. Оба носа опустились к следам на снегу. Следы были совсем свежие. Одноглаз осторожно бежал впереди, а волчица следовала за ним по пятам. Широкие лапы волков мягко, словно бархатные, ступали по снегу. Одноглаз уловил движение чего-то белого на белом фоне снега. До сих пор он бежал скользящей быстрой побегой, но это было ничто в сравнении со скоростью, которую он развил теперь. Впереди него мелькал белый комок, привлечший его внимание.

Они бежали по узкой тропе, окаймленной с двух сторон молодыми соснами. Сквозь деревья виден был конец тропинки, выходившей на освещенную луной поляну. Одноглаз быстро приближался к заинтересовавшему его белому предмету. Прыжок за прыжком и, наконец, он настиг его. Еще прыжок — и он схватил бы его зубами. Но этого прыжка ему не удалось сделать. Белый клубок, оказавшийся белым зайцем, вдруг

взвился высоко в воздух перед самым его носом и начал раскачиваться и скакать над ним, исполняя в вышине какой-то фантастический танец и ни на секунду не опускаясь к земле.

Одноглаз от неожиданности с ревом отскочил, затем улегся в снег и притаился, грозно рыча на таинственный и страшный предмет. Но волчица хладнокровно оттолкнула его. Она замерла на минуту и, прицелившись, бросилась на пляшущего в воздухе зайца. Она прыгнула высоко, но все же недостаточно, чтобы схватить прельщавшую ее добычу, и зубы ее с металлическим звуком щелкнули в воздухе. Она прыгнула в другой и в третий раз.

Волк медленно выпрямился и стал следить за своей подругой. Теперь он был, по-видимому, недоволен ее неудачными попытками и сам сделал могучий прыжок. Зубы его схватили зайца и потащили его вниз к земле. Но в ту же секунду старый волк услышал за собой подозрительный треск и с удивлением увидел над своей головой склонившуюся молодую сосну, которая грозила свалиться на него. Челюсти его разжались, выпустив добычу, и он отскочил в сторону, спасаясь от неожиданной опасности. Старик громко зарычал, и вся шерсть его от страха и ярости встала дыбом. В тот же миг молодая сосна выпрямилась, увлекая за собой вверх танцующего зайца.

Волчица пришла в ярость и вонзила свои клыки в плечо самца, а он, испугавшись и не соображая, что означает это новое нападение, ответил ей тем же, разодрав в кровь морду своей подруги. Этот отпор явился для волчицы полной неожиданностью, и она бросилась на Одноглаза, рыча от негодования. Он тотчас заметил свою ошибку и постарался умиловить волчицу; но она решила хорошенько проучить своего товарища, и тот, отказавшись от мысли смягчить ее гнев, завертелся кругом, пряча голову и подставляя плечи под ее острые зубы.

Тем временем заяц продолжал свою пляску в воздухе. Волчица уселась на снег, а старый Одноглаз, напуганный ею еще больше, чем таинственным деревом, снова прыгнул за зай-

цем. Опустившись вниз, с зайцем в зубах, он первым долгом поглядел на сосну. Она, как и раньше, опять нагнулась к земле. Он съежился и ошетинился, ожидая удара, но все же не выпустил зайца. Однако удара не последовало. Сосна продолжала оставаться все в том же наклонном положении. Когда он двигался, двигалась и она, и тогда он рычал на нее сквозь стиснутые челюсти; когда он сохранял неподвижность, сосна делала то же самое, и поэтому он решил, что лучше не двигаться. Все же теплая кровь зайца казалась ему очень вкусной.

Из этого затруднительного положения его вывела волчица. Она взяла от него зайца, и пока сосна угрожающе качалась и дрожала над ней, она спокойно откусила ему голову. После этого сосна сразу выпрямилась и больше не беспокоила их, приняв перпендикулярное положение, в котором природа судила ей расти. Затем Одноглаз и волчица поделили между собой дичь, таинственно пойманную для них природой.

Они открыли еще много таких же тропинок, где зайцы висели в воздухе, и волчья пара исследовала их все; волчица шла впереди, а Одноглаз следовал за ней, наблюдая и учась у нее, как обкрадывать капканы. Этот урок сослужил ему впоследствии хорошую службу.

ГЛАВА II

ЛОГОВИЩЕ

Целых два дня волчица и Одноглаз бродили вокруг индейского лагеря. Он испытывал смутную тревогу и беспокойство; волчицу же лагерь манил, и ей не хотелось уходить от него. Но когда однажды утром воздух огласился раскатистым выстрелом и заряд попал в ствол дерева на несколько дюймов выше головы Одноглаза, волки перестали колебаться и убежали легким упругим шагом,

быстро отложив между собой и грозившей им опасностью несколько миль. Они не ушли далеко — всего несколько дней пути. Стремление волчицы найти то, что она искала, превратилось в настоящую необходимость. Она отяжелела и не могла быстро бегать. Раз как-то, преследуя зайца, — занятие, не представлявшее для нее обычно никакого труда, — она почувствовала слабость и прилегла отдохнуть. Одноглаз подошел к ней; но когда он нежно коснулся ее шеи, она так злобно огрызнулась, что он отскочил назад, делая смешные усилия, чтобы избежать ее зубов. Она становилась с каждым днем вспыльчивее, он же, напротив, обнаруживал все больше терпения и заботливости.

Наконец, она нашла то, что искала. На несколько миль выше протекала небольшая река, впадавшаяся летом в Макензи. Зимой же она замерзала до самого каменистого дна и превращалась от истоков до устья в белую застывшую твердую массу. Волчица шла усталой походкой впереди, а за ней следовал Одноглаз; вдруг, заметив нависший выступ высокого берега, она свернула в сторону и направилась к нему. Весенние бури и тающие снега подмыли берег, образовав в одном месте небольшую пещеру с узким проходом.

Волчица остановилась у входа в пещеру и тщательно осмотрела стену. Затем побежала вдоль основания ее сначала в одну сторону, потом в другую, до того места, где каменная масса круто отрывалась от мягкой линии берега. Вернувшись к пещере, она вошла внутрь; там ей пришлось проползти около трех футов, после чего стены расширились, образуя небольшую круглую камеру, приблизительно в шесть футов в диаметре. Потолок приходился почти над самой головой, но зато там было сухо и уютно. Волчица тщательно осмотрела всю пещеру, в то время как возвратившийся Одноглаз терпеливо поджидал ее у входа. Она пригнула голову, опустив нос к земле и протянув его как можно ближе к своим тесно сжатым ногам; затем, сделав вокруг этой точки несколько кругов, она с тяжелым вздохом, пожалуй, более похожим на стон, свернулась клубком, вытянула лапы и легла мордой ко

входу в пещеру. Одноглаз, насторожив с любопытством уши, смеялся над ней, и при свете дневных лучей, проникавших в пещеру, волчица могла заметить очертания его хвоста, которым он добродушно помахивал.

Она прижала уши к голове, кокетливым движением направив их заостренные концы назад и вниз и мирно высушила язык, показывая таким образом, что чувствует себя вполне удовлетворенной и довольной.

Одноглаз был голоден. Он улегся у входа и заснул, но сон его не был спокоен. Он часто просыпался и прислушивался к тому, что творилось во внешнем мире, где апрельское солнце ярко блестело на снегу. Сквозь дремоту до его слуха доносилось журчание ручейков, и он поднимался, напряженно ловя эти звуки. Солнце возвратилось, и пробуждавшаяся северная природа манила его. Зарождалась новая жизнь. В воздухе пахло весной, под снегом чувствовалось брожение, живительные соки скоплялись в деревьях, распространяя острый аромат; набухшие почки сбрасывали с себя зимние оковы.

Напрасно бросал он беспокойные взгляды на волчицу, она не обнаруживала ни малейшего желания встать. Он оглянулся на внешний мир и увидел несколько белых птичек, пролетевших мимо пещеры. Старик поднялся было, чтобы выйти, но, посмотрев на свою подругу, снова улегся и задремал. Чей-то крошечный пронзительный голосок вдруг коснулся его слуха. Дважды во сне он провел лапой по носу. Затем проснулся. На кончике его носа жужжал комар. Это был старый солидный комар, по-видимому, из тех, которые проснулись после зимней спячки. Одноглаз не мог больше устоять против голоса природы. К тому же он был голоден.

Он подполз к волчице, стараясь убедить ее пойти вместе с ним. Но она зарычала на него, и он вышел один навстречу яркому солнцу. Снег сделался рыхлым и затруднял движения. Он направился к замерзшему руслу реки, где снег, защищенный тенью деревьев, сохранял еще некоторую твердость. Но, пробродив около восьми часов, он вернулся к вечеру в пе-

щеру еще более голодным, чем ушел оттуда. Он видел дичь, но не сумел поймать ее. Он провалился в подтаявший снег, и, пока барахтался в нем, заяц легко ускользнул от врага.

Дойдя до пещеры, волк вдруг остановился, охваченный неясными подозрениями. До него доносились какие-то странные слабые звуки. Это не был голос волчицы, а между тем он показался ему как будто знакомым. Он осторожно пополз в пещеру, но был встречен грозным рычанием подруги. Это не смутило его, хотя и заставило остановиться на почтительном расстоянии; он продолжал с интересом прислушиваться к непрекращавшемуся писку и заглушенным стонам.

Волчица злобно прогнала его, и он снова улегся и заснул у входа. Наутро, когда слабый свет озарил пещеру, он начал доискиваться источника этих смутно знакомых ему звуков. В рычании волчицы появились какие-то новые ноты. В них чувствовалась ревность, и старый волк продолжал держаться на почтительном расстоянии. Тем не менее он успел заметить между ногами волчицы вдоль ее тела пять странных живых клубков, слабых, беспомощных и слепых, издававших какие-то жалобные звуки. Он страшно удивился. Подобные происшествия случались и раньше в его продолжительной и счастливой жизни, даже неоднократно, и тем не менее они всякий раз вызывали в нем глубокое удивление.

Его подруга посмотрела на него с тревогой. Время от времени она испускала ворчание, а когда ей казалось, что он подходит слишком близко, ворчание это переходило в рев. В ее памяти не хранилось, правда, соответствующего прецедента, но ее инстинкт, который воплощал в себе весь опыт матерей-волчиц, говорил ей, что существуют отцы, поедающие собственных беспомощных новорожденных детенышей. Это порождало в ней такой страх, что она не позволяла Одноглазу подойти посмотреть на своих собственных детей.

Но опасения ее были напрасны. Старый Одноглаз, в свою очередь, чувствовал повелительный импульс, который был тоже не чем иным, как инстинктом, унаследованным им от многих поколений волков-отцов. Он не задумывался над

ним и не удивлялся его появлению. Этот импульс таился в каждой клеточке его существа, а потому вполне естественно, что он повиновался ему и тотчас же, повернувшись спиной к своему новорожденному семейству, отправился на поиски мяса, необходимого для жизни.

В пяти или шести милях от логовища река разветвлялась под прямым углом и исчезала в горах. Направившись вдоль левого русла, Одноглаз напал на свежий след. Он обнюхал его и, почувствовав, что след только что проложен, быстро сжался, глядя в ту сторону, где он исчезал. Затем он решительно повернул направо и пошел вдоль правого русла. Следы были гораздо больше его собственных, и он понял, что тут ему ничем поживиться не придется. Пробежав вдоль правого русла около полумили, он уловил звук грызущих зубов; он подкрался к дичи и увидел, что это был дикобраз, который, опершись лапами о дерево, точил свои зубы о кору. Одноглаз осторожно приблизился к нему, питая, однако, мало надежды на успех. Он был знаком с этой дичью, хотя ему никогда еще не приходилось встречать ее в этих широтах; за всю свою жизнь он ни разу не пробовал мяса дикобраза. Но он давно уже знал, что на свете существуют такие вещи, как Счастье и Случай, и продолжал подкрадываться. Никогда нельзя предвидеть, что может произойти, когда дело идет о живых существах.

Дикобраз свернулся в клубок и выпустил во все стороны длинные, острые иглы, защищавшие его от нападения. Однажды, в своей юности, Одноглаз как-то слишком близко обнюхал такой на вид неподвижный клубок игл и получил неожиданно сильный удар хвостом по носу. Одна игла застряла у него в морде и оставалась там несколько недель, вызывая жгучую боль, пока не вышла, наконец, сама. Он улегся, выбрав удобное положение, так что морда его находилась на расстоянии фута от хвоста дикобраза, и стал терпеливо и спокойно ждать. Кто знает, что может случиться? Дикобраз, пожалуй, развернется, и тогда Одноглаз одним ударом лапы сумеет распороть его нежное незащищенное брюхо.

Но по истечении получаса он встал, злобно зарычал на неподвижный клубок и двинулся дальше. Ему случалось и прежде понапрасну терять время, ожидая, чтобы клубок развернулся, и он решил не рисковать на этот раз. Волк двинулся дальше вдоль правого русла реки, но день проходил, а добычи не было.

Пробудившийся в нем инстинкт отца властно требовал от него во что бы то ни стало найти мясо. Среди ночи он случайно наткнулся на птармигана. Выйдя из чащи леса, он столкнулся нос к носу с этой глупой птицей. Она сидела на бревне на расстоянии менее фута от морды Одноглаза. Оба одновременно заметили друг друга. Птица сделала попытку взлететь, но он ударил ее лапой, сбросил на землю и, накинувшись, вонзил в нее зубы в тот момент, когда она быстро побежала по снегу, пытаясь подняться на воздух. Как только зубы его впились в мясо и хрупкие кости, он принялся за еду; но потом, как будто вспомнив что-то, повернул обратно домой, неся птармигана в зубах.

По привычке мягко ступая, скользя, как тень, и внимательно рассматривая все, что попадалось ему на пути, он снова напал приблизительно в миле от разветвления на широкие следы, которые заметил еще утром. Поскольку следы шли по его пути, он тронулся дальше, готовый встретить их обладателя на каждом повороте реки.

Он выглянул из-за выступа скалы, где река делала необыкновенно большую извилину, и его зоркий взгляд уловил нечто такое, что заставило его прилечь. Это был обладатель замеченных им следов — большая рысь, и притом самка. Она лежала, съезжившись, перед свернувшимся в клубок дикобразом точно так же, как лежал незадолго перед этим он. Если Одноглаз скользил раньше, как тень, то теперь он заскользил, как привидение, обходя зверей, пока не очутился далеко влево от безмолвной неподвижной пары.

Он улегся в снег, положив рядом с собой птармигана, и стал пристально наблюдать сквозь иглы низкорослой сосны за открывшейся перед ним сценой: рысь и дикобраз выжидали

друг друга. Любопытное это было зрелище — наблюдать, как одно живое существо выжидало, чтобы съесть другое, а то, в свою очередь, выжидало, чтобы спасти свою жизнь. Тем временем старый Одноглаз, скорчившись за своим прикрытием, вмешался в эту игру, выжидая каприза судьбы, который помог бы ему в охоте за мясом, тоже составлявшим для него вопрос жизни.

Прошло полчаса, прошел час — ничего не изменилось. Клубок, покрытый иглами, по своей неподвижности напоминал камень; рысь походила на мраморное изваяние; старый Одноглаз казался мертвым. А между тем все три зверя напряженно ждали, и вряд ли когда-либо жизнь пульсировала в них интенсивнее, чем в минуту этого кажущегося окаменения.

Вдруг Одноглаз чуть-чуть подвинулся и с любопытством выглянул из своей засады. Что-то случилось. Дикобраз наконец решил, что враг его удалился. Медленно и осторожно он стал разворачивать свою непроницаемую броню. Его не волновало грозное предчувствие. Медленно, медленно клубок развернулся и вытянулся. Одноглаз вдруг ощутил какую-то влажность во рту; у него невольно потекли слюнки при виде живого мяса, развернувшегося перед ним, как лакомое блюдо.

Дикобраз заметил своего врага прежде, чем успел окончательно развернуться. В этот момент рысь ударила его лапой. Удар был молниеносный. Лапа с острыми загнутыми когтями вцепилась в мягкое брюхо и быстрым движением распорол его. Если бы дикобраз совершенно развернулся или заметил бы своего врага на секунду позже, чем тот успел нанести удар, лапа рыси осталась бы невредимой; но теперь боковым ударом хвоста дикобраз всадил в лапу рыси несколько острых игл.

Все это произошло почти одновременно: удар рыси, ответный удар ее жертвы, отчаянный визг дикобраза и вой огромной кошки, не ожидавшей нападения.

Одноглаз вскочил от волнения, насторожив уши и вытянув хвост. Рысь пришла в дикую ярость и ринулась на зверя, причинившего ей боль. Но дикобраз, визжа, ворча и безуспешно стараясь с распоротым брюхом снова свернуться

в клубок, продолжал наносить рыси своим хвостом удары, заставлявшие ее каждый раз вскрикивать от удивления и боли. Наконец, она отступила, сильно чихая; морда ее была так утыкана иглами, что напоминала чудовищную подушку для булавок. Она терла ее лапами, стараясь избавиться от огненных стрел, тыкалась ею в снег, чесалась о ветки и стволы деревьев, делала во все стороны огромные прыжки, обезумев от боли и ужаса.

Она безостановочно чихала и быстрыми, сильными ударами своего обрубка-хвоста старалась отмахнуться от вонзившихся в нее игл. Наконец она перестала скакать и довольно долго оставалась неподвижной. Одноглаз напряженно следил. И даже он вздрогнул и невольно взерошил шерсть, когда рысь вдруг без всякого предупреждения сделала громадный прыжок, испустив при этом протяжный дикий рев. Затем она поскакала прямо по дороге, сопровождая каждый прыжок громкими воплями. Только когда голос ее замер в отдалении, Одноглаз решил выйти из своей засады. Он шел так осторожно, как будто снег был усеян иглами дикобраза, которые могли каждую минуту наколоть его нежные лапы. Дикобраз встретил его писком и злобным шелканьем своих длинных зубов. Ему снова удалось свернуться в клубок, но это уже не был прежний плотный клубок: мускулы его были слишком истерзаны, и сам он, почти разодранный пополам, истекал кровью.

Одноглаз набрал полный рот обгаренного кровью снега и начал жевать и глотать его. Это раздражало его слюнные железы, и голод его еще усилился, но он был слишком стар, чтобы забыть об опасности. Он терпеливо ждал, лежа на снегу, пока дикобраз щелкал зубами, ворчал, стонал и изредка болезненно взвизгивал. Вскоре Одноглаз заметил, что иглы начали опускаться, и дрожь пробежала по всему телу раненого зверя. Вдруг дрожь прекратилась, тело вытянулось и осталось неподвижным.

Нервным, боязливым движением лапы Одноглаз развернул дикобраза во всю его длину и повернул его на спину. Ничего не произошло. Он несомненно был мертв.

Минуту Одноглаз внимательно смотрел на него, затем осторожно схватил зубами и пошел вниз по реке, отчасти неся его, отчасти волоча по земле, отвернув голову, чтобы не касаться колючей шкуры зверя. Вдруг он вспомнил что-то, бросил свою добычу и вернулся к тому месту, где оставил птармигана. Он ни минуты не колебался. Он знал, что ему надо делать, и потому быстро съел птицу. Затем он вернулся и поднял дикобраза.

Когда он притащил свою добычу в берлогу, волчица осмотрела ее, повернула к нему морду и мягко лизнула его по шее. Но в следующую минуту она снова отогнала его рычанием от щенков, хотя на сей раз в этом рычании было больше извинения, чем злобы. Инстинктивный страх волчицы перед отцом ее потомства исчез. Он вел себя, как подобает отцу, и не выражал кощунственного желания уничтожить маленькие живые существа, которые она произвела на свет.

ГЛАВА III

СЕРЫЙ ВОЛЧОНОК

Он заметно отличался от своих братьев и сестер; в то время как на их шерсти был замечен рыжий оттенок, унаследованный от матери-волчицы, он один походил в этом отношении целиком на отца. Он был единственным серым щенком из всего выводка. Одним словом, он уродился чистокровным волком, как две капли воды похожим на старого Одноглаза, с той только разницей, что у него было два глаза, а у отца один.

Глаза серого волчонка только недавно открылись, но он уже прекрасно различал предметы, а в то время, когда они были еще закрыты, ему помогали осязание, обоняние и вкус. Он прекрасно знал своих двух братьев и сестер и уже начинал неуклюже резвиться с ними и даже пробовал драться, причем

из его маленького горлышка вырывались странные хриплые звуки — предвестники рычания. Еще задолго до того, как у него открылись глаза, он научился осязанием, вкусом и обонянием узнавать свою мать — этот источник тепла, жидкой пищи и нежности. У нее был мягкий ласкающий язык, который успокаивал его, когда она проводила им по его маленькому мягкому телу, и волчонок, почуяв его прикосновение, сильнее прижимался к матери и сладко засыпал.

Почти весь первый месяц своей жизни он провел во сне; но теперь он уже хорошо видел и, бодрствуя все дольше и дольше, прекрасно изучил окружавший его маленький мир. Его мир был мрачен, но он не сознавал этого, так как никогда не видел ничего другого. В его мире всегда царила полутьма, но глаза волчонка не знали еще, что такое яркий свет. Его мир был очень мал: границей ему служили стены берлоги; но, не имея понятия о просторе внешнего мира, он не испытывал стеснения от узких рамок своего существования.

Однако он довольно скоро обнаружил, что одна из стен его мира отличается от остальных. Это был вход в берлогу, откуда проникал свет. Свое открытие он сделал задолго до того, как начал сознательно мыслить. Стена эта стала притягивать волчонка еще раньше, чем глаза его открылись, чтобы взглянуть на нее. Свет от нее ударял по сомкнутым векам, бил по зрительным нервам маленькими искрометными стрелками, теплыми и удивительно приятными. Все его тело и каждая частица этого тела влеклись к свету и толкали звереныша к нему, точно так же, как сложный химический процесс заставляет растение безудержно стремиться к солнцу. В самом начале своей жизни, еще до пробуждения сознания, он подползал к отверстию логовища; в этом братья и сестры следовали его примеру. Ни разу за это время никто из них не пытался ползти по направлению к темным углам задних стен. Свет манил их, как будто они были растения; жизненный процесс, руководивший ими, требовал света как необходимого условия существования, и их маленькие детские тела слепо и неудержимо тянулись к нему, словно

ростки виноградной лозы. Позже, когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность и в связи с этим стали определяться самостоятельные наклонности и желания, это стремление к свету еще более усилилось. Они вечно ползли и тянулись к нему, и волчице стоило немалого труда отгонять их обратно.

В скором времени волчонок познакомился и с другими особенностями своей матери, кроме ласкового и нежного языка. В своем постоянном стремлении к свету он узнал, что у матери есть еще острая морда, которая сильным толчком могла дать хороший урок, и лапа, умевшая ударить и перевернуть быстрым и уверенным движением. Он узнал еще ощущение боли и в то же время научился избегать ее; для этого следовало прежде всего не подвергать себя риску, а уж если проштрафился, надо было уметь вовремя отступить и извернуться. Это были уже сознательные поступки, явившиеся результатом его первых обобщений. Раньше он инстинктивно избегал боли, так же инстинктивно, как тянулся к свету. Теперь он стал избегать боли, *сознавая*, что это есть боль.

Он был свирепым волчонком. Такими же были его братья и сестры. Ничего удивительного в этом не было. Он был плотоядным животным и происходил от тех, кто убивал мясо и поедал мясо. Отец и мать его питались исключительно мясом. Молоко, которое он сосал в первые дни своей жизни, было непосредственным продуктом мяса, и теперь, когда ему минул месяц и глаза его уже неделю как открылись, он и сам начал есть это мясо, полупереваренное волчицей, которая изрыгала его для своих пяти подрастающих щенят, предъявлявших к ее материнской груди чересчур большие требования.

Но он был злее всех остальных волчат. Он умел рычать громче других, и припадки злости у него бывали страшнее, чем у них. Он первый научился опрокидывать братьев и сестер ударом лапы; он первый схватил другого волчонка за ухо и потащил его, рыча сквозь крепко стиснутые челюсти; и он же, несомненно, причинял своей матери больше

всего хлопот, неудержимо стремясь подползти ко входу в берлогу.

Чарующая сила света с каждым днем все сильнее действовала на серого волчонка. Он то и дело ухитрялся подползать к самому выходу, и его то и дело отгоняли оттуда. Но он не знал, что это вход в берлогу. Он ничего не знал о выходах и входах, через которые переправляются, чтобы попасть из одного места в другое; не знал вообще никаких других мест, а тем паче как до них добраться. Поэтому вход в пещеру казался ему тоже стеной — стеной света. Эта стена являлась для него таким же источником благодати, как солнце для человека. Она притягивала его, как огонь притягивает бабочку. Он постоянно тянулся к ней. Жизнь, быстро распускаясь в нем, толкала его к стене света, ибо она знала, что это единственный выход в тот мир, где ему суждено жить. Но он сам ничего не знал об этом. Он и не подозревал о том, что существует другой мир.

С этой стеной света было связано одно странное обстоятельство. Отец его — которого он уже научился различать и считал единственным, кроме матери, обитателем мира, отец, спавший близко к свету и приносивший мясо, — обладал странной способностью проходить прямо сквозь светлую далекую стену и исчезать в ней. Серый волчонок не мог этого понять. Мать не позволяла ему подходить к светлой стене, но он обошел все другие стены, и везде его нежный нос встречал какое-то твердое сопротивление. Это вызывало болезненное ощущение, и после нескольких подобных опытов волчонок оставил темные стены в покое. Не вдаваясь в глубокие размышления, он решил, что способность отца исчезать, проходя сквозь стену, такая же присущая ему особенность, как молоко и полупереваренное мясо составляют особенность матери.

По правде сказать, серый волчонок не умел рассуждать, по крайней мере, в такой форме, как это делают люди. Мозг его работал смутно, но выводы, к которым он приходил, были так же определены и ясны, как выводы людей. Он имел

обыкновение мириться с обстоятельствами, не доискиваясь, откуда и почему они возникают. В сущности, он совершал при этом акт классификации. Его никогда не беспокоил вопрос, почему то или иное произошло; ему достаточно было знать, как это произошло. Так, ударившись несколько раз носом о стену, он примирился с тем, что не может пройти сквозь нее. Так же отнесся он и к тому, что отец его может исчезнуть в стене. Но ему не было любопытно узнать, почему существует эта разница между ним и отцом.

Как все дикие звери, он рано испытал голод. Наступило время, когда не только не стало мяса, но иссякло и молоко в груди его матери. Вначале волчата жалобно пищали и выли, но больше всего спали. Вскоре они дошли до крайней степени голода. Исчезли игры и ссоры, не стало слышно злобного рычания; прогулки к светлой стене совершенно прекратились. Волчата спали, а жизнь, теплившаяся в них, меркла и угасала.

Одноглазом овладело отчаяние. Он уходил далеко и надолго, редко ночуя в берлоге, где стало теперь тоскливо и неприветливо. Волчица тоже покидала свой выводок и уходила на поиски мяса. В первые дни после рождения волчат Одноглаз несколько раз наведывался в индейский лагерь и обкрадывал там заячьи капканы; но когда снег растаял и реки вскрылись, индейцы ушли, и этот источник питания для него иссяк.

Когда серый волчонок ожил и снова заинтересовался далекой белой стеной, он обнаружил, что население его маленького мира уменьшилось. У него осталась только одна сестра. Остальные исчезли. Когда он окреп, ему пришлось играть в одиночестве: сестра его не могла уже поднимать головы и двигаться. Его маленькое тело стало постепенно округляться от получаемого мяса, но для нее пища появилась слишком поздно. Она постоянно спала и походила на крошечный скелет, обтянутый кожей; жизнь в ней едва мерцала и, наконец, совсем угасла.

Затем настало время, когда серый волчонок заметил, что отец больше не приходит сквозь стену и не спит в берлоге.

Это произошло в конце второй, менее жестокой голодовки. Волчица знала, почему Одноглаз не вернулся, но она не могла рассказать серому волчонку о том, что видела. Охотясь сама за мясом вдоль левого русла реки, где жила рысь, волчица напала на следы Одноглаза, проложенные им накануне. Она пошла по ним и нашла Одноглаза или, вернее, то, что от него осталось. Тут было много следов борьбы, следов, которые вели в берлогу рыси после одержанной ею победы. Прежде чем вернуться, волчица отыскала эту берлогу, но по некоторым признакам она угадала присутствие в ней рыси и не решилась войти.

С тех пор волчица, отправляясь за дичью, старательно избегала левого русла реки. Она знала, что в берлоге у рыси есть детеныши, а рысь была известна как злобное, свирепое существо и грозный враг в борьбе. Хорошо полудюжине волков загнать ошестинившуюся рысь на дерево; но совсем другое дело встретиться с ней одинокой волчице, в особенности если у этой рыси есть выводок голодных котят.

Однако первобытные условия остаются первобытными условиями, а материнство — материнством везде и во все времена. Настало время, когда ради своего серого волчонка волчица отважилась отправиться к левому руслу, к берлоге в скале, навстречу злобной рыси.

ГЛАВА IV

СТЕНА МИРА

К тому времени, когда волчица стала покидать берлогу, отправляясь за дичью, волчонок уже как следует усвоил закон, запрещающий ему подходить ко входу в пещеру. Этот закон усиленно и неоднократно внушался ему мордой и лапой волчицы, а кроме того, в нем самом постепенно развилось чувство страха. Никогда в течение

краткой пещерной жизни не встречал он ничего страшного, но все же страх жил в нем. Это было наследие предков, перешедшее к нему через тысячи и тысячи жизней, наследие, полученное им непосредственно от Одноглаза и волчицы, к которым это чувство страха в свою очередь перешло от всех предыдущих поколений волков. Страх! Наследие первобытного мира, которого не избежать ни одному живому существу. Итак, серый волчонок знал, что такое страх, но не понимал, откуда он берется. Возможно, он мирился с ним как с одним из жизненных ограничений, потому что уже узнал, что такие ограничения существуют. С голодом он уже успел познакомиться, и, когда оказался не в состоянии удовлетворить его, он понял, что значит лишение. Твердое прикосновение пещерной стены, резкий толчок материнской морды, болезненный удар ее лапы, неутолимый голод дали ему понять, что не все в жизни дозволено и возможно, что существуют ограничения и преграды. Эти ограничения и преграды были законами: повинаясь им, можно было избежать боли и жить счастливо.

Он, разумеется, не обсуждал этого вопроса с человеческой точки зрения. Он только разделил все предметы на те, которые делают больно, и те, которые не делают больно. И, разделив их таким образом, он избегал того, что причиняет боль — ограничения и преграды, — и наслаждался тем, что есть хорошего и приятного в жизни.

Вот почему, повинаясь закону, положенному его матерью, и побуждению неясного и непонятного чувства страха, он старался держаться подальше от входа в берлогу. Вход по-прежнему оставался для него светлой белой стеной. Когда мать отсутствовала, он в большинстве случаев спал, а проснувшись, лежал тихо, стараясь подавить щекотавший горло визгливый плач.

Однажды, лежа таким образом, он услышал какой-то странный звук у светлой стены. Он не знал, что это была россомеха, стоявшая у входа, дрожавшая от собственной смелости и осторожно обнюхивавшая содержимое пещеры. Волчонок знал

только, что запах был незнакомый, какой-то непонятный, а потому неизвестный и страшный, так как неизвестность была одним из главнейших элементов, составлявших страх.

Шерсть встала дыбом на спине серого волчонка, но он не шевельнулся. Каким образом он догадался, что при появлении этого сопящего существа следует ошестиниться? Предшествовавший опыт не мог помочь ему в этом; то было попросту видимое выражение страха, жившего в нем, для которого в его собственной жизни не было никаких оснований. Но вместе со страхом проснулся в нем инстинкт самосохранения. Волчонок испытывал невероятный ужас, но продолжал лежать без движения, не издавая ни малейшего звука, застывший, окаменелый, полумертвый. Вернувшись домой, волчица зарычала, обнюхав след росомахи, затем бросилась в берлогу и стала ласкать волчонка и лизать его с необыкновенной нежностью.

Но в волчонке действовали и развивались еще и другие силы, из которых главной был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения. Рост требовал неповиновения. Его мать и страх побуждали его держаться подальше от светлой стены. Рост — это жизнь, а жизнь всегда стремится к свету. И не было силы, способной подавить могучий прилив жизни, который рос в нем с каждым куском проглоченного мяса и с каждым новым дыханием. Кончилось тем, что в один прекрасный день страх и повиновение сдались перед натиском жизни, и волчонок пополз к выходу.

В отличие от других стен, с которыми ему приходилось иметь дело, эта стена, казалось, отступала по мере того, как он приближался к ней. Его нежная мордочка не встретила никакого подобия твердой поверхности, когда он робко высунул ее вперед. Вещество стены оказалось проницаемым и прозрачным, как свет. И так как всякое свойство в его глазах тотчас же приобретало видимость формы, то он вошел в то, что считал стеной, и окунулся в вещество, из которого она состояла.

Это было поистине изумительно. Он полз сквозь твердое тело, и по мере того как он подвигался вперед, свет стано-

вился ярче. Страх побуждал его вернуться, но рост толкал его дальше. Внезапно он очутился перед входом в пещеру. Стена, внутри которой он, по его мнению, находился, вдруг как бы отступила перед ним на громадное расстояние. Свет сделался до боли ярким, ослепляя его. Голова волчонка закружилась при виде внезапно открывшегося перед ним пространства. Глаза стали машинально принаравливаться к нему, стараясь уловить увеличившиеся пропорции. Сначала стена отодвинулась за пределы его поля зрения. Через миг он снова увидел ее, но заметил, что она сильно отдалилась от него. Внешний вид ее тоже совершенно изменился: теперь она стала много разнообразнее, чем была прежде, на ней появились деревья, окаймлявшие реку, горы, возвышавшиеся над деревьями, и небо, в свою очередь, возвышавшееся над горами.

Сильный страх охватил волчонка. Перед ним был ужас неизвестного. Он улегся на пороге пещеры и воззрился на внешний мир. Он был сильно напуган. Все это было незнакомо, а значит, и враждебно ему. Шерсть стала дыбом на его спине; губы слабо сжались, пытаясь издать угрожающее и свирепое рычание. Сознавая свою беспомощность и ужасное положение, он бросал вызов всему миру.

Ничего не произошло. Он продолжал смотреть и от любопытства забыл свой страх и перестал рычать. Он начал различать ближайшие предметы — открытую часть реки, сверкавшую на солнце, высохшую сосну у подножия склона, и самый склон, поднимавшийся прямо к нему и оканчивавшийся двумя футами ниже порога пещеры, на котором он лежал.

До сих пор волчонок прожил всю свою жизнь на гладкой поверхности. Он ни разу не испытывал боли от падения и не знал, что это такое. Вот почему он смело сделал шаг вперед. Задние ноги его остались на пороге в то время, как передние сделали движение, и он упал головой вниз. Он больно ударился носом о землю и завизжал. Затем волчонок покатился вниз по склону и несколько раз перекувырнулся.

Его обуял панический ужас. Неизвестное свирепо охватило его своими когтями, готовясь нанести ему страшный удар. На этот раз страх победил силу роста, и волчонок запищал, как испуганный щенок.

Неизвестное несло его к какому-то неведомому ужасу, и он не переставал визжать и пищать. Это ощущение совсем не походило на тот страх перед неизвестным, который он испытал, лежа в берлоге. Теперь неизвестное подошло к нему вплотную, и страх превратился в ужас. На этот раз молчание уже не могло выручить его из беды.

Однако склон сделался понемногу более отлогим, а подножие его оказалось поросшим травой. Здесь волчонок покатился медленнее. Остановившись наконец, он издал последний жалобный вопль и вслед за тем протяжный плаксивый визг. И тут же, как будто он уже тысячу раз в своей жизни занимался туалетом, волчонок принялся слизывать сухую, приставшую к шерсти грязь. После этого он сел и начал озираться по сторонам, как сделал бы это первый человек, попавший на Марс. Волчонок пробил стену мира. Неизвестное выпустило его из своих когтей, не причинив ему вреда. Но первый человек на Марсе, наверное, испытал бы меньше удивления, чем он. Не обладая никакими предварительными знаниями, даже не подозревая о существовании чего-либо подобного, он оказался в положении исследователя совершенно нового для него мира.

С той минуты, как неизвестное выпустило его из своих лап, он позабыл о том, сколько ужаса оно таит в себе. Теперь он испытывал только сильное любопытство ко всему окружающему. Он с интересом исследовал траву под собой, листья росшей неподалеку брусники и высохший ствол сосны, стоявшей на краю поляны, среди других деревьев. Белка, выбежав из-за ствола, со всего размаху налетела на волчонка и до смерти перепугала его. Он прилег и зарычал. Но белка испугалась не меньше волчонка. Она взобралась на дерево и сердито зашипела на него, почувствовав себя там в безопасности.

Этот инцидент придал зверенышу мужества, и хотя повстречавшийся ему дальше дятел заставил его вздрогнуть, он все же уверенно продолжал свой путь. Эта уверенность так укрепилась в нем, что, когда какая-то птица неосторожно подскочила к малышу, он игриво ударил ее лапой. Ответом на это был острый удар клювом по носу, заставивший волчонок присесть и завизжать. Эти звуки напугали птицу и обратили ее в бегство.

А волчонок между тем набирался премудрости. Его неразвитый маленький умишко бессознательно анализировал. Существовали, по-видимому, одушевленные и неодушевленные предметы. За одушевленными необходимо было наблюдать. Неодушевленные предметы оставались всегда на одном месте; одушевленные же двигались, и предугадать их поступки было очень трудно. Вернее, от них следовало всегда ожидать неожиданного, и ему, таким образом, нужно было прежде всего держаться начеку. Он двигался очень неуклюже, то и дело ударяясь о различные попадавшие на пути предметы. Ветка, которая казалась ему еще далекой, в следующее мгновение ударяла его по носу или неожиданно хлестала по спине. На поверхности, по которой он шел, встречались неровности. Иногда он спотыкался и тыкался носом в землю, иногда вдруг садился на задние ноги. Были еще камни и голыши, переворачивавшиеся у него под лапами, когда он наступал на них, и из этого он заключил, что не все неодушевленные предметы находятся в одинаковом состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что небольшие предметы легче переворачиваются и падают, чем крупные. Но каждая неудача обогащала его опыт. Чем дальше он шел, тем лучше и ловчее двигался. Он приспособлялся: учился соразмерять движения своих мускулов, знакомился с пределами своих физических возможностей, пробовал определять расстояние между отдельными предметами и между предметами и самим собой.

Ему сопутствовало счастье новичка. Рожденный охотником за живым мясом (хотя он и не знал этого), волчонок

наткнулся на это мясо у самого входа в родную пещеру при первом своем выходе в свет. Совершенно случайно он набрел на искусно спрятанное гнездо птармиганов. Он попросту свалился в него. Он рискнул пройтись по стволу упавшей сосны. Подгнившая кора провалилась, волчонок с отчаянным визгом покатился со ствола в густую листву кустарника и в самой чаше его на земле очутился среди семи птенцов птармиганов.

Они подняли отчаянный шум и вначале сильно напугали его. Но, заметив, что они очень маленькие, волчонок осмелел. Они беспокойно двигались. Он положил лапу на одного из них, и это доставило ему удовольствие. Он понюхал птенца и взял его в зубы. Птенец затрепыхался и стал шекотать ему нос. В ту же минуту он почувствовал голод. Челюсти его сжались. Послышался хруст тонких косточек, и пасть волчонка наполнилась теплой кровью. Птармиган показался ему вкусным; это было мясо, то самое, которое давала ему мать, но только вкуснее, так как оно было живое. И он съел птармигана и не переставал есть до тех пор, пока не съел весь выводок. Затем он облизался точь-в-точь, как это делала его мать, и пополз вон из чаши.

Вдруг на него налетел крылатый вихрь. Шум и злобные удары крыльев ослепили и ошеломили его. Он спрятал морду между лапами и завизжал. Удары усилились. Мать птармиганов была вне себя от ярости. Наконец волчонок тоже разозлился. Он вскочил, зарычал и стал бить лапами куда попало: он вцепился крошечными зубами в крыло птицы и принялся изо всех сил трепать его. Птармиган боролся с ним, нанося ему удар за ударом свободным крылом. Это была первая схватка волчонка. В пылу битвы он забыл обо всем и утратил страх перед неизвестным. Он боролся с живым существом, которое причиняло ему боль. К тому же существо это было — мясо. Жажда убийства загорелась в нем. Только что перед этим он уничтожил несколько маленьких живых существ. Теперь ему хотелось чего-нибудь большего. Он был слишком увлечен и счастлив, чтобы вполне оценить прелесть

этой минуты. Он весь трепетал от неизведанного восторга, величайшего из всех, которые он когда-либо испытал.

Волчонок не выпускал крыла, рыча сквозь крепко стиснутые зубы. Птица выволокла его из куста. Когда она повернула, стараясь снова втощить его под защиту листвы, он воспротивился и увлек ее на открытое место. Она испускала отчаянные крики, не переставая бить его свободным крылом, так что перья летали вокруг, точно снежный вихрь. Возбуждение волчонка достигло высшего напряжения. В нем заговорил инстинкт борьбы, присущий его породе. Это была жизнь, хотя он и не признавал ее. Он осуществлял свое назначение на этом свете: убивать и драться, чтобы добывать мясо. Он оправдывал свое существование, а ведь в этом и заключается смысл жизни, ибо жизнь только тогда достигает высшего напряжения, когда в полной мере осуществляет свое назначение.

Через некоторое время птармиган перестал бороться. Волчонок еще держал его за крыло, и они лежали на земле, глядя друг на друга. Он попытался грозно зарычать на птицу, но она клюнула его в нос, который после многочисленных происшествий этого дня стал очень чувствителен. Волчонок завизжал, но не выпустил крыла. Она продолжала клевать. Визг его перешел в жалобный вой. Он попытался уйти от нее, позабыв, что, не выпуская ее крыла, он сам тянет ее за собой. Град ударов сыпался на его раненый нос. Воинственный пыл угас, и, выпустив добычу, волчонок стал искать спасения в позорном бегстве.

Добежав до другого края поляны, он прилег отдохнуть около кустов. Высунув язык и тяжело дыша, малыш продолжал визжать от мучительной боли в носу. Вдруг его охватило предчувствие чего-то страшного. Неизвестное со всеми его ужасами подстергало его где-то поблизости, и он инстинктивно попятился назад под защиту кустов. В то же мгновение его ударила сильная струя воздуха, и большое крылатое тело зловеще и бесшумно пронеслось мимо него. Огромный коршун, спустившийся с синевы неба, чуть-чуть не унес волчонка.

Пока он отлеживался в кустах, осторожно выглядывая из-за ветвей и понемногу приходя в себя от пережитого страха, мать птармиганов вылетела по другую сторону поляны из своего разоренного гнезда. Потрясенная своим несчастьем, она не обратила внимания на крылатую стрелу в небе. Но волчонок видел все и учился: коршун стремительно опустился, вцепился когтями в тело птицы, издавшей протяжный предсмертный крик, и взвился в голубую высь, унося с собой добычу. Прошло немало времени, прежде чем волчонок решился наконец покинуть свое убежище. Он многому научился. Одушевленные существа были мясом; они были хороши на вкус. Но если они бывали велики, то могли причинить боль. Поэтому лучше было есть маленьких животных, вроде птенцов птармигана, и не трогать больших, вроде самки птармигана. Тем не менее самолюбие его было немного уязвлено, и в нем возникло желание вступить еще раз в бой с этой птицей. К сожалению, ее уже унес коршун, но, быть может, на свете существуют и другие птармиганы. Он решил убедиться в этом.

Волчонок спустился к реке. До сих пор ему никогда еще не приходилось видеть воду. Дорога казалась заманчивой. На поверхности воды не было заметно никаких неровностей. Он смело вступил на нее, провалился и закричал от страха в объятиях неизвестного. В воде было холодно, и он начал задыхаться, порывисто и часто переводя дух. Вместо привычного воздуха в легкие ему попадала вода. Он захлебнулся и в ту же минуту почувствовал приступ смертельной тоски. Для него это была смерть. Он ничего не знал о смерти, но, как всякое животное, обладал инстинктом смерти и смутно чувствовал, что это и есть величайшее страдание. Это была сущность неизвестного, сумма всех его ужасов, единственная и непоправимая катастрофа, о которой он ничего не знал и которой поэтому боялся еще сильнее.

Волчонок всплыл на поверхность, и чистый воздух ворвался в его открытую пасть. Больше он не погрузился. Как бы следуя давно укоренившейся привычке, он заработал всеми своими четырьмя лапами и поплыл. Ближайший

берег был на расстоянии ярда от него, но он всплыл на поверхность спиной к нему, и первое, что бросилось ему в глаза, был противоположный берег, к которому он и направился. Речка была небольшая, но на середине течения она расширялась на несколько десятков футов.

На полпути к берегу течение подхватило и понесло его вниз. Здесь он попал в маленький водоворот, где плыть было очень трудно. Спокойная река вдруг рассвирепела. Волчонок то скрывался под водой, то снова выплывал на поверхность. Его беспрерывно трепало и швыряло во все стороны, а иногда даже ударяло о скалы. И при каждом таком столкновении он жалобно визжал. Его продвижение сопровождалось целым рядом взвизгиваний, по которым можно было бы сосчитать количество попадавших на его пути скал.

Ниже водоворота река опять расширялась, и здесь течение, подхватив звереныша, мягко вынесло его на песчаный берег. Он выкарабкался из воды и прилег отдохнуть. Теперь он узнал еще кое-что. Вода не была одушевленной, однако она двигалась. Она казалась плотной, как земля, но в действительности совсем не обладала плотностью. Из этого волчонок сделал заключение, что не все вещи таковы, какими кажутся на первый взгляд. Страх перед неизвестным волчонок унаследовал от предков, а теперь это врожденное недоверие к неведомому еще усилилось благодаря опыту. Отныне он не станет уже доверять внешности, как бы заманчива она ни казалась. Прежде чем положиться на какой-нибудь предмет, он постарается тщательно ознакомиться с его сущностью.

В этот день ему суждено было испытать еще одно приключение. Он вспомнил вдруг, что на свете существует его мать, и в ту же минуту почувствовал, что она ему нужнее всего остального в мире. Не только тело его, но и маленький мозг испытывали усталость от всего перенесенного. Никогда еще им не приходилось так тяжело работать, как в этот день. Кроме того, ему хотелось спать. Чувствуя себя глубоко беспомощным и одиноким, он снова двинулся в путь с целью отыскать берлогу и свою мать.

Он пробирался между кустов, как вдруг услышал резкий крик, заставивший его содрогнуться. Что-то желтое промелькнуло перед глазами волчонка. Он заметил ласку, быстро убегающую от него. Это было маленькое живое существо, и он не испугался его. Вдруг у самых своих ног он увидел крошечного зверька, длиной всего в несколько дюймов. То была маленькая ласка-детеныш, так же неосторожно, как и он, покинувшая свое гнездо. Она сделала попытку скрыться от него. Волчонок перевернул ее лапой. Она издала странный хриплый звук. В следующее мгновение что-то желтое снова сверкнуло перед его глазами. Волчонок услышал тот же резкий крик, тут же получил сильный удар в шею и почувствовал, как острые зубы ласки-матери впились в его тело. С визгом и воем волчонок отпрыгнул назад и увидел, как ласка-мать, подхватив своего детеныша, скрылась с ним в ближайшей чаще.

Шея его сильно ныла от боли, но еще сильнее оскорблены были его чувства, и он уселся, продолжая жалобно повизгивать. Эта ласка-мать была такая маленькая и такая свирепая. Однако ему еще предстояло узнать, что, несмотря на свой малый рост и вес, ласка была самым жестоким, мстительным и кровожадным из всех хищных животных. Вскоре он убедился в этом на собственном опыте.

Он все еще подвывал, когда ласка вернулась. Она не кинулась на него на этот раз, так как детеныш ее был в безопасности. Она осторожно приблизилась, и волчонок мог без труда разглядеть ее худое змеевидное тело и вытянутую злобную, тоже похожую на змеиную голову. Ее угрожающий резкий крик прорезал воздух; в ответ на него волчонок грозно зарычал. Ласка подступала все ближе и ближе. Вдруг она сделала быстрый прыжок, которого его неопытному глазу не удалось заметить, и ее худое желтое тело на секунду исчезло из его поля зрения. Но в следующую секунду она острыми зубами вцепилась ему в горло. Сначала он зарычал и попытался вступить в борьбу. Но он был еще очень молод и в первый раз странствовал по свету, поэтому рычание его

вскоре сменилось писком, а воинственный пыл — стремлением обратиться в бегство. Ласка ни на минуту не выпускала волчонка. Она висела на нем, стараясь зубами добраться до главной артерии, где клокотала кровь. Ласка питалась кровью и предпочитала пить ее теплой.

Серый волчонок, несомненно, умер бы, и о нем не существовало бы рассказа, если бы неожиданно из-за кустов не выскочила волчица. Ласка выпустила волчонка и бросилась к горлу волчицы, но промахнулась и вцепилась ей в челюсть. Волчица мотнула головой, как бичом, и вскинула ласку высоко на воздух. Тут же в воздухе она поймала зубами худое желтое тело, и ласка нашла смерть между острыми зубами волчицы.

Волчонок испытал на себе новый прилив нежности со стороны матери. Ее радость при встрече с ним, казалось, была еще сильнее его радости. Она ласкала его, тыкала носом и зализывала раны, нанесенные ему зубами ласки. Затем мать и сын поделили между собой кровопийцу и, вернувшись в берлогу, крепко заснули.

ГЛАВА V

ЗАКОН ЖИЗНИ

Волчонок быстро развивался. Два дня он посвятил отдыху, а на третий снова вышел из берлоги. На этот раз ему попалась молодая ласка, мать которой он съел вместе с волчицей, и сын Одноглаза позаботился о том, чтобы она отправилась по следам своей матери. Но в этот день он уже не заблудился и, почувствовав усталость, вернулся в свою берлогу и заснул. Теперь он стал ежедневно отправляться в странствие и с каждым разом заходил все дальше и дальше.

Вскоре он научился соразмерять свои силы и понял, где следует выказывать смелость и где надо соблюдать осторож-

ность. Он нашел, что выгоднее всего постоянно держаться настороже; и только в редких случаях, будучи вполне уверен в своих силах, он давал волю своей злобе и желаниям.

При виде одинокого птармигана он превращался всякий раз в маленького разъяренного демона. Он никогда не забывал ответить рычанием на трескотню белки, которую увидел в первый раз на высохшей сосне. А вид полярной птицы приводил его в дикую ярость; он не мог забыть, что кто-то из ее родичей клюнул его в нос в тот достопамятный день, когда он впервые вкусил самостоятельной жизни.

Но бывали моменты, когда даже полярная птица не могла взволновать его. Это случалось тогда, когда ему самому грозила опасность стать жертвой другого хищника. Он никогда не забывал коршуна, и его движущаяся тень неукоснительно заставляла волчонка прятаться в кусты. Он перестал спотыкаться и переваливаться и научился ходить, как мать, легкой и крадущейся походкой, непринужденной на вид и быстрой, но обманчивой, ибо быстрота эта была почти незаметна для глаза.

С мясом ему везло только вначале. Семь птенцов птармиганов и детеныш ласки — это была пока вся его добыча. А желание убивать росло в нем с каждым днем, и он с вождением поглядывал на белку, которая своей громкой трескотней предупреждала зверей о его приближении. Но подобно тому, как птицы летали по воздуху, белки лазали по деревьям, и волчонок мог незаметно подкрадываться к ним только в те минуты, когда они прыгали по земле.

Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести и на его долю. Кроме того, она ничего не боялась. Ему не приходило в голову, что эта смелость являлась результатом опыта и знания; на него она производила впечатление безмерной силы. Мать его была олицетворением этой силы. Подрастая, он начал испытывать эту силу на себе в ударах материнской лапы, а также в прикосновении ее острых зубов, сменившем прежний толчок носом. За это он также

уважал мать. Она требовала от него повиновения, и чем старше он становился, тем строже делалась мать.

Снова наступил голод, и волчонок на этот раз уже сознательно перенес его муки. Волчица похудела, бегая в поисках мяса. Теперь она редко оставалась на ночь в пещере и проводила все время в охоте за дичью, но все понапрасну. Голод этот продолжался недолго, но зато был особенно жесток. Волчонок уже не находил молока в груди матери и не получал ни кусочка мяса.

Прежде он охотился шутя, ради забавы; теперь он принялся за дело серьезно, но все попытки его ни к чему не приводили. Эти неудачи ускорили его развитие. Он стал тщательно изучать привычки белки, прилагая все усилия, чтобы незаметно подкрасться к ней. Он следил за лесными мышами, стараясь вырывать их из нор, и узнал многое о полярных птицах и дятлах. Наступил, наконец, день, когда тень коршуна не заставила его искать спасения в кустах. Он окреп, поумнел и обрел веру в себя. Кроме того, он был отчаянно голоден. Усевшись нарочно на открытом месте, он старался заманить коршуна вниз. Он знал, что там наверху, в далекой синеве, парит мясо, то мясо, которого так настоятельно требовал его желудок. Но коршун не желал спускаться и вступать в бой, и волчонок снова уполз в чашу, громким визгом выражая свое разочарование и голод.

Наконец голод кончился. Волчица принесла домой мясо, странное мясо, какого она никогда еще не приносила ему. Это был котенок рыси, пожалуй, ровесник волчонка, но не такой большой. И он весь предназначался ему. Его мать уже утолила свой голод в другом месте, утолила его остальными котятками рысиного выводка. Он не понимал, какой это был отчаянный поступок с ее стороны. Он знал только, что котенок с бархатистой шкурой — мясо, и жадно уничтожал его, а с каждым куском все существо его наполнялось счастьем.

Полный желудок располагает к бездействию; волчонок улегся в пещере и заснул, прижавшись к матери. Он проснулся от ее рычания. Никогда в жизни не слышал он тако-

го рычания. Да, возможно, что и рысь за всю свою жизнь никогда не испускала столь грозного рева. Но основания для гнева у нее были весьма веские, и никто лучше волчицы не знал этого. Нельзя безнаказанно уничтожить выводок рыси. При ярком солнечном освещении волчонок увидел лежавшую у входа в пещеру рысь. Шерсть встала дыбом на его спине. Перед ним был ужас, и ему незачем было обращаться к своему инстинкту, чтобы понять это. И если зрительное впечатление могло показаться недостаточно убедительным, то крик ярости, который испустила неожиданная гостья, крик, начавшийся рычанием и перешедший в хриплый визг, не мог оставить места никаким сомнениям.

Волчонок почувствовал прилив жизненной энергии и, став рядом с матерью, храбро зарычал. Но она презрительно оттолкнула его назад. Низкий вход мешал рыси сделать прыжок, и, когда она вползла в берлогу, волчица бросилась на нее и прижала ее к земле. Волчонок не мог уследить за борьбой. До него долетали только визг, рычание и злобное шипение. Оба зверя немилосердно терзали друг друга: рысь пускала в ход и острые когти и зубы, в то время как волчица работала только одними зубами.

Раз волчонок подскочил и впился зубами в заднюю ногу рыси. Он повис на ней, дико рыча. Сам того не сознавая, он своей тяжестью стеснил движения рыси и тем сильно помог своей матери. Вдруг борьба приняла другой оборот, и волчонок, выпустив ногу рыси, очутился под телами обоих борющихся врагов. В следующий миг обе разъяренные матери отскочили друг от друга, но прежде, чем они успели вновь сойтись, рысь с такой силой ударила волчонка своей огромной передней лапой, что тот откатился к задней стене берлоги. Плечо его было до самой кости разодрано острыми когтями рыси, и к бешеному шуму борьбы прибавился жалобный писк детеныша. Но борьба продолжалась так долго, что он успел не только накричаться, но даже испытать новый прилив смелости и к концу битвы снова с яростным рычанием впился в заднюю ногу рыси.

Рысь лежала мертвая, но волчица сильно ослабела.

Сначала она принялась ласкать волчонка илизывать его раненое плечо, но потеря крови совершенно обессилила ее, и волчица целые сутки пролежала около своего мертвого врага, не двигаясь и едва дыша. Всю неделю она почти безвыходно сидела в пещере, выбираясь оттуда только за водой; движения ее были медленны и болезненны. За это время мать и сын съели рысь, а раны волчицы достаточно зажили для того, чтобы позволить ей снова охотиться за мясом.

Плечо волчонка онемело и болело, и он довольно долго хромал от страшной раны. Но весь мир изменился теперь для него. Самоуверенно, с чувством собственного достоинства, которого он не испытывал до битвы с рысью, гулял он теперь по белому свету. Он познакомился с самой суровой и жестокой стороной жизни; он дрался; он впивался зубами в тело врага и остался жив. И он держался теперь смело, даже немного вызывающе, чего до сих пор никогда с ним не бывало. Исчез страх перед мелкими зверьми, исчезла робость; но неизвестное, со всеми его таинственными ужасами, неуловимое и грозное, по-прежнему висело над ним.

Волчонок начал сопровождать свою мать на охоту за мясом. Он смотрел, как она убивала дичь, и даже иногда принимал в этом участие. И по-своему, смутно, он стал усваивать закон жизни. Существовали два вида жизни: его собственная и чужая. К первой относились он и его мать; под понятие чужой жизни подходили все прочие живые существа. Но эта чужая жизнь подразделялась еще на две: к первой принадлежали те, кого его порода убивала и ела. Это были не хищники или мелкие хищники. Ко второй относились те, кто убивал и ел его породу или бывал ею убит и съеден. Из этого подразделения вытекал закон. Целью жизни было мясо. Сама жизнь была мясом. Жизнь питалась жизнью. Все живущее делилось на тех, кто ел, и тех, кого ели. Значит, закон гласил: есть или быть съеденным. Волчонок, разумеется, не мог ясно формулировать этот закон и вдаваться в его обсуждение. Он даже не задумывался над ним, а просто слепо выполнял его.

Повсюду волчонок наблюдал действие этого закона. Он съел птенцов птармиганов. Коршун съел их мать и съел бы точно так же его самого. Позже, когда он вырастет, он съест коршуна. Сам он съел котенка рыси. Рысь-мать, несомненно, съела бы его, если бы не была сама убита и съедена. И так до бесконечности. Все живое действовало согласно этому закону и подчинялось ему, и сам он также являлся частицей этого закона. Он был хищник. Его единственной пищей было мясо — живое мясо, убегающее перед ним, взлетающее на воздух, взбирающееся на деревья, прячущееся под землю, борющееся с ним или нападающее на него.

Если бы волчонок мог мыслить по-человечески, он представил бы себе жизнь в виде ненасытного аппетита, а весь мир в виде места, в котором сосредоточено множество таких appetитов, пожираемых и пожирающих беспорядочно и слепо, жестоко и безрассудно, в хаосе прожорливости и кровопролития, которым управляет простая случайность — безжалостная, беспорядочная и бесконечная.

Но волчонок не умел мыслить по-человечески. У него не было широких горизонтов. В каждую данную минуту он преследовал только одну цель, испытывая только одно желание. Помимо главного закона — закона жизни — существовало еще множество других законов — второстепенных, которые ему надо было изучить. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, бившая в нем ключом, игра его мускулов являлись для него источником неисчерпаемого счастья. Охота за мясом и связанные с ней приключения давали ощущение волнения и радости; борьба была наслаждением. И даже ужас и тайна неизвестного только сильнее возбуждали жажду к жизни.

Жизнь давала немало удовольствий и приятных ощущений: полный желудок, безмятежный сон на солнце достаточно вознаграждали его за все хлопоты и труды, а труд и сам по себе был радостью. Труд был проявлением жизни, а жизнь — счастье, когда она проявляет себя. И волчонку не приходило в голову плакаться на окружавшую его враждебную среду. Он был полон жизненной энергии, счастлив и горд собой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

ТВОРЦЫ ОГНЯ

Совершенно неожиданно наткнулся на них волчонок. Это произошло по его собственной вине. Он был неосторожен, покинул свою берлогу и побежал к речке напиться. Возможно, что он ничего не заметил, так как он был спростонья. (Он всю ночь охотился за мясом и только что перед этим проснулся.) Скорее же всего его беспечность объяснялась тем, что он уже не раз ходил к речке и никогда еще с ним ничего не случалось.

Он прошел мимо высохшей сосны, пересек поляну и зашагал между деревьями. В ту же минуту он увидел и почувствовал что-то. Перед ним молча сидели на корточках пять живых существ, подобных которым он еще никогда не видел. Это было его первое знакомство с людьми. Но при виде его эти пятеро не вскочили на ноги, не оскалили зубы и не зарычали. Они продолжали сидеть, как будто ничего не произошло, неподвижно и зловеще.

Волчонок тоже не двигался. Инстинкт непременно заставил бы его обратиться в бегство, если бы в нем не проснулся совершенно неожиданно, в первый раз, другой противоположный инстинкт. Чувство глубокого благоговения овладело им. Внезапное сознание собственной слабости и ничтожества сковало его движения. Перед ним были сила и власть.

Волчонок никогда до сих пор не видел человека, но инстинктивно почувствовал к нему уважение. Он смутно со-

знавал, что это то живое существо, которое завоевало себе первое место в мире животных. Он смотрел на человека не только своими глазами, но и глазами своих предков, не раз пристально глядевших в темные зимние вечера на лагерные костры людей и следивших на почтительном расстоянии из-за кустов за этим странным двуногим животным, властвующим над всеми остальными живыми существами. Волчонок ощущал в душе наследственный страх и уважение — результат вековой борьбы и опыта многих поколений волков. Влияние этой наследственности особенно сильно сказывалось на волчонке по молодости его. Будь он взрослым волком, он, несомненно, убежал бы. Но вместо того он лег, почти онемев от ужаса, в сущности изъяснив уже в этот момент ту покорность, которую проявляла его порода с тех пор, как первый волк подошел к человеку и сел греться у его костра.

Один из индейцев встал, подошел ближе и наклонился над ним. Волчонок съежился и пригнулся к земле. Незвестное, воплощенное в реальный образ, склонилось над ним, готовясь схватить его.

Шерсть невольно взъерошилась на спине волчонка: губы сморщились, обнажив маленькие клыки. Рука, занесенная над ним подобно року, осталась висеть в воздухе, и человек, смеясь, сказал:

— Посмотрите, какие у него белые клыки!

Другие индейцы громко расхохотались и стали уговаривать товарища поднять волчонка. По мере того как рука все ниже и ниже опускалась над зверенышем, в нем происходила борьба двух инстинктов. Он испытывал одновременно два сильных желания: вступить в борьбу и подчиниться. Результатом явился компромисс: он последовал обоим влечениям. Он покорно дождался, пока рука не коснулась его, а затем вступил в борьбу и острыми зубами впился в руку индейца. В следующую минуту он получил сильный удар кулаком по голове, сваливший его на бок. Тут пыл борца покинул его. Молодость и инстинкт подчинения взяли верх.

Он сел на задние лапы и завизжал. Но человек, которого он укусил, был рассержен. Он ударил его второй раз кулаком по голове, после чего волчонок завизжал громче прежнего.

Четверо индейцев снова засмеялись, и даже тот, которого волчонок укусил, тоже расхохотался. Они со смехом окружили его, в то время как он визжал от страха и боли. Вдруг он услышал что-то. Индейцы тоже услышали; но волчонок знал, что это, и, испустив последний визг, в котором было больше торжества, чем горя, замолчал и стал ждать появления своей матери — свирепой и непобедимой матери, которая боролась, убивала и не боялась ничего на свете. Волчица рычала на бегу; она услышала визг волчонка и спешила к нему на выручку.

Она подскочила к людям. Тревога и злость, волновавшие ее воинственное материнское сердце, отнюдь не красили волчицу. Но на волчонка свирепый вид матери произвел самое отрадное впечатление. Он испустил слабый крик и бросился ей навстречу, в то время как люди поспешно отступили на несколько шагов. Волчица стояла над своим детенышем и смотрела на людей; шерсть у нее вздыбилась, яростные рычания вылетали из ее горла. Морда ее искажилась от ярости и злобы, и нос сморщился до самых глаз от грозного рева.

И вдруг один из людей с удивлением вскрикнул: — Кича!

Волчонок почувствовал, как мать его вздрогнула при этом звуке.

— Кича! — второй раз резко и повелительно крикнул человек.

И тут волчонок увидел, что его неустрашимая мать припала животом к земле и, урча, виляя хвостом, всячески стараясь выразить свое миролюбивое настроение, стала подползать к людям. Волчонок был в недоумении. Он остолбенел, и его снова охватило чувство благоговения. Инстинкт не обманул его. Мать его служила тому подтверждением: она тоже выражала покорность животному-человеку.

Индеец, назвавший ее по имени, подошел ближе, положил ей на голову руку, и она прижалась к нему. Она даже

не пыталась укусить его. Другие индейцы тоже подошли к ней, стали гладить и ласкать ее, и она не делала никаких попыток отогнать их. Все они были очень взволнованы и издавали ртом какие-то странные звуки. Решив, что в этих звуках нет угрозы, волчонок подполз к матери; шерсть его все еще ерошилась, но видом своим он изъяснял полную покорность.

— Это меня несколько не удивляет, — проговорил индеец, — ее отец был волк. Правда, мать ее была собакой, но разве брат мой не привязал ее в лесу на целых три ночи в период течки? Вот потому-то отцом Кичи и оказался волк.

— Вот уже год, Серый Бобр, как она убежала, — заметил второй индеец.

— Это не удивительно, Лососевый Язык, — ответил Серый Бобр. — Ведь в то время был голод, и собак нечем было кормить.

— Она жила с волками, — сказал третий индеец.

— Похоже на то, Три Орла, — ответил Серый Бобр, кладя руку на голову волчонка, — и вот доказательство.

Волчонок слегка зарычал при прикосновении руки, но, видя, что рука поднимается, чтобы ударить его, он спрятал клыки и покорно приник к земле; после этого рука стала чесать у него за ухом и гладить его по спине.

— Вот доказательство, — повторил Серый Бобр, — совершенно ясно, что мать его — Кича, отец же его — волк. Вот почему в нем мало собачьей и много волчьей крови. Клыки у него удивительно белые, и поэтому я назову его Белым Клыком. Так я сказал. Он мой, так как Кича принадлежала моему брату, а разве брат мой не умер?

Волчонок, получивший таким образом имя, внимательно следил за всем происходившим. Некоторое время люди продолжали еще издавать ртом какие-то звуки. Затем Серый Бобр вынул нож из мешка, висевшего у него на шее, вошел в чашу леса и вырезал там палку. Белый Клык наблюдал за его движениями. Человек сделал зарубки на обоих концах палки и прикрепил к ним ремни из сырой кожи. Один ре-

мень он привязал к шее Кичи, затем подвел ее к молодой сосне и обвязал вокруг дерева конец ремня.

Белый Клык последовал за матерью и улегся рядом с ней.

Лососевый Язык протянул к нему руку и перевернул его на спину. Кича испуганно следила за его движениями. Белый Клык снова почувствовал прилив страха. Он не мог вполне подавить рычание, но не сделал больше попытки укусить человека. Рука с оттопыренными пальцами стала заигрывающе гладить его по животу и перекачивать из стороны в сторону. Он находился в чрезвычайно глупом и смешном положении. Лежа на спине вверх ногами, он был совершенно беспомощен, и все его существо восставало против этого. О защите нечего было и думать. Белый Клык знал, что если это животное-человек вздумает причинить ему зло, он не сможет даже убежать. Как тут вскочить, когда все четыре лапы торчат кверху? Однако покорность заставила его подавить страх, и он ограничился только тихим рычанием. Этого рычания он не в состоянии был удержать, и человек несколько не рассердился на него за это и не подумал ударить. Но как это ни странно, Белый Клык испытывал необъяснимое удовольствие, пока рука гладила его. Его повернули на бок, и он перестал рычать. Человеческие пальцы стали чесать у него за ухом, и когда человек, погладив его в последний раз, наконец отошел, приятное ощущение еще усилилось и страх окончательно покинул Белого Клыка. Ему предстояло в будущем не раз испытывать страх перед людьми, но это первое знакомство послужило основанием для той трепетной дружбы с человеком, которая в конце концов должна была стать его уделом.

Спустя некоторое время Белый Клык услышал приближавшийся странный шум. Он быстро сообразил, что он исходит от людей. Через несколько минут подошла остальная часть индейского племени — еще около сорока мужчин, женщин и детей; все они были тяжело нагружены лагерными принадлежностями и путевым снаряжением. С ними было много собак, и все они, за исключением молодых

щенков, тащили на себе поклажу. Каждая собака несла на спине мешок весом от двадцати до тридцати фунтов, крепко привязанный под брюхом.

Белый Клык никогда еще не видел собак, но почему-то сразу почувствовал, что они сродни ему, хотя и отличаются кое-чем от его породы. Но лишь только собаки заметили волчицу и ее детеныша, как вся разница между ними и волками тотчас же испарилась. Началась бешеная схватка. Белый Клык ерошил шерсть, рычал и кусался, защищаясь от нападавшей на него своры; в разгаре битвы он перевернулся, чувствуя, как чьи-то зубы впиваются в его тело, и сам хватая зубами мелькавшие над ним животы и лапы. Поднялся невообразимый гам. Волчонок слышал рычание Кичи, вступившей за него, крики людей, удары дубин и визг собак, сопровождавший каждый удар клыков.

Прошло несколько секунд, и Белый Клык снова очутился на ногах. Теперь он увидел, как животные-люди отгоняли собак дубинами и камнями, защищая его от зубов сородичей, чем-то, однако, отличавшихся от него. И хотя в мозгу его не было места такому отвлеченному понятию, как справедливость, однако, на свой лад, он смутно сознавал, что люди справедливы, и тотчас же понял, что в этом мире они являются законодателями и блюстителями закона. Он восхищался также силой, с которой они заставляли выполнять этот закон. Они не кусались и не царапались, как это делали все до сих пор встречавшиеся ему животные. Они вкладывали свою силу в неодушевленные предметы, которые исполняли их волю. Так, палки и камни, брошенные этими странными существами, летали по воздуху, как живые, нанося тяжелые удары собакам.

По его понятиям, это была необъяснимая, сверхъестественная, божественная сила. По своей природе Белый Клык не мог ничего знать о божестве, в лучшем случае он мог только догадываться, что существуют вещи выше его понимания, но удивление и благоговение, которое он питал к этим людям-животным, соответствовали тому, что испытал бы

человек при виде какого-нибудь сверхъестественного существа, свергающего с вершины горы на потрясенный мир грохочущие перуны.

Наконец удалось отогнать последнюю собаку; шум стих. Белый Клык зализывал свои раны, размышляя над последними событиями, первой своей встречей с собаками и их жестокостью. Ему никогда и не снилось, что в роду его есть еще кто-либо, кроме Одноглаза, матери и его самого. Они составляли совершенно обособленную породу, а тут вдруг он обнаружил, что есть множество ему подобных существ. И в нем невольно шевелилось обидное чувство оттого, что эта его порода при первой же встрече обнаружила стремление его уничтожить. Такую же обиду он чувствовал и за мать, которую привязали с помощью палки к дереву, хотя это и было сделано высшим животным-человеком. Он чуял в этом капкан и неволю, хотя ни о каких капканах или неволе ничего не знал. Свобода скитания, движения и отдыха была его неотъемлемым наследственным правом, а здесь право это было нарушено. Движения его матери были ограничены длиной палки; этой же палкой были ограничены и его движения, потому что он еще нуждался в матери и не решался отходить от нее.

Все это ему не нравилось. Не понравилось ему и то, что, когда люди поднялись и двинулись в путь, маленький человек взял в руки свободный конец палки Кичи и повел ее, словно пленницу, за собой, а сзади волей-неволей потащился и он, сильно расстроенный и встревоженный этим новым оборотом событий.

Они спустились вниз по долине реки, гораздо дальше, чем удавалось когда-либо забираться Белому Клыку, и шли так, пока не добрались до конца долины, где река впадает в реку Макензи. Дойдя до того места, где высоко на шестах были прикреплены лодки и стояли плетенки для сушки рыбы, люди разбили лагерь.

Белый Клык смотрел на все широко раскрытыми от удивления глазами. Могущество этих людей-животных возрас-

тало с каждым мгновением: они повелевали всеми этими зубастыми собаками; от них так и веяло силой и мощью. Но больше всего поразила волчонка их власть над неодушевленными предметами, их способность сообщать им движение и даже, как ему казалось, изменять вид земной поверхности.

Последнее произвело на него особенно сильное впечатление. Он тотчас же заметил высившиеся над землей треугольные рамы шестов. Впрочем, от существ, умевших бросать по воздуху камни и палки, этого еще можно было ожидать. Но когда эти рамы, покрытые холстом и шкурами, превратились в юрты, Белый Клык просто обомлел. Его, главным образом, изумляли их размеры. Эти странные колпаки выросли кругом, точно какие-то чудовищные живые существа, захватывая почти все поле зрения волчонка. Он боялся их. Они грозно возвышались над ним, и, когда ветер колыхал их полы, он ежился от страха, не спуская с них тревожного взгляда, готовый в любой момент обратиться в бегство, если бы они вздумали напасть на него.

Но вскоре страх его перед юртами прошел. Он видел, как женщины и дети входили в них без всякого вреда для себя и как старались пробраться внутрь собаки, которых всякий раз выгоняли оттуда громкой бранью и камнями. Спустя некоторое время он отошел от Кичи и осторожно подполз к стене ближайшей юрты. Его толкало любопытство, всегда сопутствующее развитию, настоятельная потребность знать, пережить и проделать все то, что может обогатить запас жизненного опыта. Последние несколько дюймов, отделявшие его от стены, он прополз медленно и с особой осмотрительностью. События дня приготовили его к тому, что от неизвестного следует ожидать непредвиденных сюрпризов. Наконец он робко прикоснулся носом к стене юрты. Ничего. Он понюхал странную ткань, насыщенную человеческим запахом, потом схватил ее зубами и слегка потянул. Опять ничего, только прилегающие полы юрты слегка заколебались. Он потянул сильнее, движение усилилось. Вол-

чонок пришел в восторг. Он стал тянуть сильнее и сильнее, пока вся юрта не пришла в движение. Громкий крик индианки заставил его быстро отскочить обратно к Киче, но после этого опыта громоздкие силуэты юрт уже больше не пугали его.

Минуту спустя Белый Клык снова покинул свою мать. Ее палка была привязана к колышку, вбитому в землю, и она не могла следовать за ним. Подросток-щенок, немного старше и больше волчонка, медленно направился к нему, явно выказывая недружелюбные намерения. Звали его, как узнал потом Белый Клык, Лип-Липом. Он уже имел некоторый опыт по части драк и считался порядочным забиякой.

Лип-Лип был одной породы с Белым Клыком, да к тому же еще щенок, и Белый Клык приготовился встретить его дружелюбно. Но когда он увидел, что незнакомец как-то весь подобрался и оскалил зубы, Белый Клык насторожился и тоже оскалил зубы. Так продолжалось несколько минут, и Белому Клыку уже начала нравиться эта игра. Но вдруг Лип-Лип с поразительной быстротой бросился вперед, больно укусил волчонка и так же быстро отскочил назад. Укус пришелся Белому Клыку как раз в то самое плечо, которое повредила ему рысь, рана еще болела в глубине у самой кости. Белый Клык завизжал от неожиданности и боли, но в следующий момент он бросился на Лип-Липа и злобно схватил его зубами.

Лип-Лип всю свою жизнь провел в лагере и не раз дрался с щенками. Три раза, четыре раза, наконец, шесть раз вонзились его острые зубы в нового пришельца, пока Белый Клык, визжа от боли, не убежал позорно к матери. Это была их первая стычка, за которой последовало бесконечное количество других, ибо Белый Клык и Лип-Лип родились врагами, и вражда вспыхнула между ними с первого взгляда.

Кича нежно облизала Белого Клыка, стараясь удержать его около себя. Но любопытство не давало ему покоя, и несколько минут спустя он предпринял новое путешествие. На этот раз он наткнулся на одного из людей — Серого

Бобра, который сидел на корточках и делал что-то с палками и разложенным на земле сухим мхом. Белый Клык подошел и стал наблюдать. Серый Бобр издал какие-то звуки ртом, в которых Белый Клык не усмотрел ничего враждебного и подошел еще ближе.

Женщины и дети приносили все новые палки и ветки Серому Бобру. По-видимому, дело было важное. Белый Клык все приближался, пока, позабыв о страхе и движимый любопытством, он не коснулся колена Серого Бобра. Вдруг он заметил, что из-под пальцев Серого Бобра от палок и ветвей поднимается что-то странное, вроде тумана. Затем между палками появилось нечто живое, трепещущее и вьющееся, цветом похожее на солнце. Белый Клык никогда не видел огня. Он притягивал его, как некогда, в дни его детства, свет, проникавший в пещеру через входное отверстие. Он прополз несколько шагов, отделявших его от огня, и услышал за собой смех Серого Бобра, но понял, что смех этот не враждебный. Затем он коснулся носом пламени и высунул свой маленький язык.

На мгновение он остолбенел. Неизвестное, скрывавшееся между палками и мхом, больно схватило его за нос. Он отскочил и дико завизжал. Услышав его голос, Кича зарычала, дергая за конец палки; она была в ярости от того, что не могла помочь волчонку. Но Серый Бобр громко расхохотался, ударил себя по бедрам и стал рассказывать остальным о том, что произошло. Поднялся общий смех. А Белый Клык, присев на задние лапы, жалобно визжал, и вся его маленькая одинокая фигурка казалась необычайно жалкой и беспомощной среди этих рослых людей-животных.

Такой сильной боли он не испытывал еще ни разу в жизни. Нос и язык были обожжены живым веществом, похожим на солнце, которое выросло вдруг между пальцами Серого Бобра. Он плакал, плакал горько и безутешно, и каждый новый вопль вызывал неудержимый взрыв смеха животных-людей. Он попробовал успокоить боль, облизав свою морду, но язык был тоже обожжен и от прикосновения одного

обожженного места к другому боль еще обострилась, и он закричал сильнее прежнего.

Вдруг ему стало стыдно. Он понимал, что такое смех и что он значит. Нам не надо знать, каким образом некоторые животные понимают смех, но Белый Клык понимал его. И ему стало стыдно оттого, что люди-животные смеялись над ним. Он повернулся и убежал, но его прогнала не боль от ожога, а человеческий смех, который проникал много глубже и ранил самую душу его. И он побежал к Киче, яростно метавшейся около своей палки, к Киче, которая одна не смеялась над ним.

Спустились сумерки, и наступила ночь, но Белый Клык не отходил от матери. Нос и язык все еще болели, однако его беспокоило другое чувство. Им овладела тоска по берлоге. Он ощущал какую-то пустоту, стремление к покою и тишине речки и пещеры в скале. Жизнь стала для него слишком шумной. Кругом было чересчур много людей — взрослых и детей, и все они шумели и раздражали его. Кроме того, некоторые собаки все время дрались и грызлись, то и дело раздражаясь громким лаем. Мирный покой прежнего уединенного существования исчез. Тут сам воздух был напоен жизнью. В нем слышалось какое-то непрерывное жужжание и ропот. Он постоянно трепетал от самых разнообразных звуков, и это действовало на чувства и нервы волчонка, тревожа его постоянной угрозой неожиданности.

Он следил за людьми, сновавшими по лагерю. Подобно тому, как люди смотрят на созданные ими божества, так смотрел Белый Клык на людей. Для него это были высшие существа, воистину боги. Его смутному сознанию они представлялись такими же чудотворцами, какими боги кажутся людям. Это были существа, обладавшие неограниченным могуществом, владыки над всем одушевленным и неодушевленным миром. Они умели распоряжаться тем, что движется, сообщать движение неподвижным предметам, умели извлекать жизнь, жгучую и яркую, как солнце, из мха и сухих ветвей. Это были творцы огня — это были боги!

ГЛАВА II

НЕВОЛЯ

Каждый день открывал Белому Клыку все новые и новые горизонты. Пока Кичу держали на привязи, он бегал по всему лагерю, вынюхивая, высматривая и учась. Вскоре он довольно близко познакомился с жизнью людей, но это не породило в нем презрения к ним. Чем больше он узнавал их, тем больше убеждался в их превосходстве и таинственном могуществе, тем сильнее проникался верой в то, что они подобны богам.

Людам часто приходится испытывать глубокую скорбь и боль, видя, как их боги низвергаются, а алтари рассыпаются в прах, но подобное чувство совершенно незнакомо волку и дикой собаке, приютившимся у ног человека.

В противоположность людям, чьи боги невидимые и загадочные, — не что иное, как туманная, лишённая реальной формы игра фантазии, блуждающие призраки взлелеянных в страстной тоске идеалов добра и мощи, неосязаемые частицы собственного я, вкрапленные в царство духовного — волк и дикая собака, нашедшие себе приют у костра, обретают здесь богов живых, богов осязаемых, занимающих место в пространстве и нуждающихся во времени, чтобы исполнить свое назначение на земле. Не нужно усилий для того, чтобы уверовать в этих богов, и никакие усилия воли не поколеблют эту веру. От нее не уйдешь. Вот он, этот бог — стоит перед глазами на двух ногах, с дубиной в руке, могущественный, страстный, гневный и любящий; и вся его божественность, власть и сила облечены в живое тело, из которого струится кровь, если его ранить, и которое пригодно для еды, как и всякое другое мясо.

Так думал и Белый Клык. Люди-животные были несомненно богами. Как мать его, Кича, покорила им при первом звуке их голоса, так готов был поклониться и он. Он признал

за ними превосходство, как будто оно было их неоспоримой привилегией. При встрече с ними он уступал им дорогу. Когда они звали его, он шел к ним. Когда они грозили ему, он покорно ложился у их ног. Когда они гнали его, он спешил уходить. И он делал это потому, что в каждом их требовании заключалась возможность привести его в исполнение ударом кулака, брошенным камнем или взмахом кнута.

Как и все другие собаки, Белый Клык был их собственностью. Они могли распоряжаться им и приказывать ему, могли бить, топтать и терзать его тело. Он очень скоро усвоил этот урок. Вначале волчонку, сильному и властному от природы, эта наука давалась нелегко, но понемногу, незаметно для самого себя, он начал привыкать к новым условиям. Он передал свою судьбу в чужие руки, но зато освободился от ответственности, которую налагает самостоятельная жизнь. Одно уж это являлось некоторой компенсацией за утраченную свободу, ибо всегда легче опираться на другого, чем полагаться только на самого себя.

Но для этого потребовалось время. Не сразу отдался он людям душой и телом. Не так-то легко было забыть свою наследственную дикость и воспоминания о привольной жизни в пустыне. Бывали дни, когда он подбирался к опушке леса и стоял там, прислушиваясь к таинственному голосу, звавшему его вдаль, прочь от людей. Но он все же неизменно возвращался к Киче, грустный и взволнованный и, улегшись с ней рядом, жалобно визжал, нетерпеливо облизывал ей морду, словно спрашивая у нее совета.

Белый Клык быстро изучил жизнь лагеря. Он познакомился с жадностью и несправедливостью старших собак, когда всем им бросали мясо или рыбу; понял, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добрее тех и других и от них скорее можно ожидать подачки, куска мяса или кости. И после нескольких печальных столкновений с матерями молодых щенков Белый Клык пришел к убеждению, что лучше всего не трогать таких матерей, держаться от них возможно дальше и скрываться при их приближении.

Но бичом его жизни был Лип-Лип. Будучи крупнее, старше и сильнее Белого Клыка, Лип-Лип избрал его своей жертвой. Белый Клык охотно вступал в драку, но борьба была ему не по силам: враг был слишком велик. Лип-Лип сделался для него каким-то кошмаром. Стоило ему только отойти от матери, как забияка вырастал перед ним точно из-под земли, следовал за ним по пятам, рычал на него, хватал зубами и только выжидал удобной минуты, когда вблизи не будет людей, чтобы затеять с ним драку. Так как победа всегда оставалась за Лип-Липом, то он, естественно, находил в этих сражениях одно лишь удовольствие. Вскоре преследование Белого Клыка сделалось для него смыслом жизни, а для несчастного волчонка источником бесконечных мучений.

Все это, однако, не заставило Белого Клыка смириться; тело его терпело поражения, но дух оставался неукротимым. Однако эта вражда дурно сказывалась на нем. Он стал мрачен и зол. Природа наделила его боевым задором и дикостью, а вечное преследование еще усилило в нем эти черты. Его детской игривости, веселости и доброте не в чем было проявиться. Он никогда не играл и не возился с другими щенками лагеря. Лип-Лип не допускал этого. Стоило Белому Клыку появиться между ними, как Лип-Лип тотчас же бросался на него, затевал драку и преследовал его до тех пор, пока не отгонял прочь.

В результате Белый Клык потерял свойственную молодому возрасту игривость и стал казаться старше своих лет. Лишенный возможности развивать и проявлять свои силы в играх, он ушел в себя и стал развивать свои умственные способности. Он сделался хитрым, так как у него оставалось достаточно времени, чтобы обдумывать свои проделки. Не имея возможности получить свою порцию мяса или рыбы во время общей кормежки собак, он сделался ловким вором. Ему приходилось собственными силами добывать себе пропитание, и он делал это так искусно, что вскоре стал бичом для всех индейских женщин. Он научился крадучись обходить лагерь, высматривать и вынюхивать, что

где происходит, а затем, набрав достаточно материала, делал соответствующие выводы и придумывал удачные способы и уловки, чтобы избежать своего непримиримого врага.

Еще в самом начале этой вражды он ухитрился сыграть с Лип-Липом славную штуку и в первый раз познал сладость мести. Как Кича, живя с волками, выманивала когда-то собак из лагеря, так и Белый Клык заманил однажды Лип-Липа прямо в пасть Кичи. Удирая от Лип-Липа после одной из стычек, он то и дело менял направление, кружась между юртами. Бегал он хорошо, лучше многих щенков и самого Лип-Липа. Но на этот раз он нарочно не спешил и держался все время на расстоянии одного прыжка от своего врага. Лип-Лип, возбужденный погоней и близостью своей жертвы, позабыл всякую осторожность. Когда он опомнился, было уже поздно. Обогнув с бешеной скоростью одну из юрт, он со всего разбегу налетел на лежавшую на привязи Кичу. Он успел издать отчаянный визг, но челюсти ее уже сомкнулись. Несмотря на то что она была привязана, Лип-Липу нелегко удалось от нее уйти. Она сбила его с ног, чтобы он не мог убежать, и стала кусать его своими острыми клыками.

Когда ему посчастливилось, наконец, откатиться от нее достаточно далеко, он с трудом поднялся на ноги, весь взлохмаченный, страдая и телом и душой. Повсюду, где побывали зубы волчицы, уцелевшая шерсть торчала пучками. Он остановился там, где ему удалось подняться, раскрыл рот и издал протяжный, горестный щенячий визг. Но ему не дали даже отвести душу. Белый Клык бросился на него и вцепился зубами в его заднюю лапу. Воинственный дух окончательно покинул Лип-Липа, и он постыдно бежал, преследуемый до самой палатки своей жертвой. Здесь его выручили индейские женщины, которые камнями прогнали Белого Клыка, напоминавшего в этот момент разъяренного демона.

Наступил наконец день, когда Серый Бобр, решив, что Кича больше не убежит, спустил ее с привязи. Белый Клык был в восторге от того, что мать его очутилась на свободе. Он весело сопровождал ее по всему лагерю, и все время,

пока он был с ней, Лип-Лип держался на почтительном расстоянии. Белый Клык осмелел, несколько вызывающе ерошил шерсть и делал на него стойку, но враг не принимал вызова. Лип-Лип и сам был не дурак и, несмотря на всю жажду мести, отлично понимал, что ему следует подождать, пока Белый Клык не попадется в одиночестве. К концу дня, в который освободили Кичу, Белый Клык дошел с матерью до опушки ближайшего к лагерю леса. Он увлек ее за собой шаг за шагом, и, когда она наконец остановилась, волчонок сделал попытку завести ее дальше. Речка, берлога, молчаливые леса манили его, и он хотел, чтобы она ушла туда вместе с ним. Он отбежал на несколько шагов, остановился и оглянулся. Она не двигалась с места. Он жалобно завыл и стал, как бы играя, то забегать в кустарник, то выбегать оттуда. Наконец он подскочил к ней, лизнул ее в морду и снова отбежал. Она по-прежнему не двигалась с места. Он остановился и посмотрел на нее, всем своим существом выражая горячее нетерпение, но взгляд его быстро погас, когда он увидел, что волчица оглянулась на лагерь.

Лес звал и манил его к себе. Манил он также и волчицу, но она слышала другой, более громкий призыв, призыв человека и костра — призыв, которому из всех животных внемлют только волк и дикая собака, родные братья по крови.

Кича повернулась и медленно направилась обратно к лагерю. Сильнее всякой привязи было для нее обаяние человеческого жилища. Боги какими-то незримыми сверхъестественными путями овладели ею и не отпускали от себя. Белый Клык уселся в тени березы и жалобно заскулил. Сильный запах сосны и тонкие ароматы леса напомнили ему прежние свободные дни, когда он не знал еще, что такое неволя. Но он был всего-навсего щенок, и влияние матери действовало на него сильнее человеческой воли и зова природы. Вся его короткая жизнь протекла близ нее, под ее охраной. Время для независимости еще не настало. Поэтому он встал и грустно поплелся к лагерю; по дороге он

два раза присаживался, прислушиваясь к голосу леса, все еще звучащему в его ушах.

В пустыне связь матери с детенышами длится недолго, а под владычеством людей она обрывается еще быстрее. Так случилось и с Белым Клыком. Серый Бобр был в долгу у индейца Три Орла. Три Орла уходил вверх по реке Макензи к Большому Невольничьему озеру. Кусок красной материи, медвежья шкура, двадцать патронов и Кича пошли в уплату долга. Белый Клык видел, как мать его посадили в лодку, и сделал попытку последовать за ней. Удар, полученный от нового ее хозяина, отбросил его на берег. Лодка отчалила. Он прыгнул в воду и поплыл, не слушая криков Серого Бобра, звавшего его назад. Страх потерять мать заглушал даже страх перед человеком, страх перед богом.

Но боги привыкли, чтобы им повиновались, и Серый Бобр быстро спустил лодку вдогонку. Настигнув Белого Клыка, он протянул руку и вытащил его за загривок из воды. Но он не сразу положил его на дно лодки. Держа его в одной руке, другой он задал ему трепку. Это была настоящая трепка. Рука у индейца была тяжелая, каждый удар рассчитан на то, чтобы причинить боль, и удары эти сыпались без конца.

Получая по шлепку то слева, то справа, Белый Клык судорожно раскачивался в воздухе, как испортившийся маятник. Его поочередно волновали самые разнообразные ощущения. Сначала он как будто удивился, затем почувствовал на мгновение страх и даже несколько раз взвизгнул под ударами руки, но вскоре на смену явилась злоба. Его свободолюбивый нрав, наконец, сказался, и волчонок, оскалив зубы, стал яростно рычать прямо в лицо разгневанному божеству. Но это только еще больше рассердило бога. Удары посыпались чаще, сильнее, резче.

Серый Бобр бил, а Белый Клык рычал. Но это не могло длиться без конца. Кто-нибудь должен был уступить, и Белый Клык уступил. Страх опять овладел им. В первый раз его пбили по-настоящему. Случайные удары камнем или палкой, которые он получал до сих пор, казались ему лаской

по сравнению с этой расправой. Он присмирел и жалобно стонал. Еще некоторое время удары сменялись стонами; но вскоре страх перешел в ужас, и жалобный вой потянулся уже непрерывно, не согласуясь с ритмом получаемой порки.

Наконец Серый Бобр прекратил побоище. Белый Клык продолжал кричать, висая в воздухе. Это, по-видимому, удовлетворило его хозяина, и он грубо швырнул волчонка на дно лодки. Тем временем лодка неслась уже вниз по течению. Серый Бобр поднял весло. Белый Клык оказался у него на дороге. Он яростно толкнул его ногой. В эту минуту свободлюбивый нрав Белого Клыка снова дал себя знать, и он вцепился зубами в обутую в мокасина ногу индейца.

Порка, полученная им до того, была ничто в сравнении с той, что ему задали теперь. Ярость Серого Бобра была неопишима; таков же был страх Белого Клыка. Не только рука, но тяжелое деревянное весло пошли в ход, и когда индеец снова швырнул его на дно лодки, на всем маленьком теле щенка не было живого места. Снова — на этот раз нарочно — Серый Бобр ударил его ногой. Но Белый Клык не повторил ошибки. Он усвоил новый закон неволи. Никогда, ни в каком случае не смеет он кусать бога, хозяина и властелина; тело господина священно, и зубы подобных ему не должны осквернять его своим прикосновением. Это был, очевидно, величайший грех, одно из тех преступлений, которым нет ни прощения, ни снисхождения.

Когда лодка причалила к берегу, Белый Клык лежал, тихо повизгивая, без движения, ожидая воли Серого Бобра. По-видимому, желание последнего заключалось в том, чтобы он вышел на берег, потому что он схватил щенка и швырнул его на землю; волчонок упал, больно ударившись избитым телом. Он поднялся, весь дрожа, и снова завизжал. Лип-Лип, наблюдавший за всем с берега, бросился на Белого Клыка, опрокинул его и вцепился в него зубами. Белый Клык был слишком слаб, чтобы защищаться, и ему пришлось бы плохо, если бы Серый Бобр не ударил ногой Лип-Липа так, что тот отлетел на несколько шагов. Такова была справедливость людей-богов,

и, несмотря на свое плачевное состояние, Белый Клык почувствовал легкий трепет благодарности. Следуя по пятам за Серым Бобром, он дошел до его палатки. Таким образом, Белый Клык узнал, что право наказания боги оставляют за собой, не позволяя низшим существам пользоваться им.

Ночью, когда все стихло, Белый Клык вспомнил о матери, и ему стало грустно. Но он слишком громко излил свои взволнованные чувства и разбудил Серого Бобра — тот побил его. После этого он грустил в присутствии людей потихоньку. Но иногда, отойдя к опушке леса, он давал волю своему горю и принимался скулить во весь голос.

В этот период он мог легко соблазниться воспоминаниями о пещере и реке и убежать в пустыню. Но память о матери удерживала его. Так же, как возвращались с охоты боги, так могла вернуться в один прекрасный день и она. И он оставался в неволе и ждал.

Однако неволя его была не так уж безотраднa. Многие интересовало его. Каждый день случалось что-нибудь новое. Не было конца странностям богов, а любопытство в нем не угасло. Научился он понемногу ладить с Серым Бобром. Повиновение, строгое и неуклонное, — вот что требовалось от него; таким образом он избегал побоев и вел довольно сносную жизнь.

Иногда Серый Бобр даже сам бросал ему кусок мяса и не позволял другим собакам отнимать его у волчонка. И такая подачка была особенно ценна. Она почему-то казалась Белому Клыку дороже целого десятка кусков мяса, полученных от индейских женщин. Серый Бобр никогда не смотрел на него и не ласкал.

Трудно сказать, что, собственно, влияло на Белого Клыка, тяжесть ли руки Серого Бобра, или его справедливость, или сила, — а может быть, все вместе, — но несомненно только, что между ним и его суровым хозяином завязалась странная дружба.

Коварство, непонятные наказания, палки, камни и побои — это все была неволя, и она сильнее и сильнее сковы-

вала Белого Клыка. Присущие его породе черты, заставляющие волков с давних пор подходить к кострам человека, понемногу просыпались в нем, и лагерная жизнь, полная страданий и лишений, все же начинала привлекать его. Но Белый Клык не сознавал этого. Он чувствовал только тоску по Киче, надежду на ее возвращение и острый голод по прежней, утраченной свободе.

ГЛАВА III

ОТВЕРЖЕННЫЙ

Лип-Лип так сильно отравлял жизнь Белому Клыку, что тот сделался гораздо свирепее и злее, чем судила ему сама природа. Свирепость была заложена в нем от рождения, но она развилась у него выше меры. Даже среди людей он приобрел репутацию необычайно злого животного. Где бы ни случилась драка или потасовка, шум или крик по поводу украденного мяса, можно было с уверенностью сказать, что без Белого Клыка дело не обошлось. Люди не старались разобраться в причинах его поведения. Они видели только результаты, а результаты были плохие. Белый Клык был вор и проныра, сеятель смуты и драчун; озлобленные женщины ругали его, называли волком и предсказывали ему плохой конец, а он в это время, несколько не смущаясь, глядел на них, всегда готовый вернуться от брошенного в него камня.

Он чувствовал себя отверженным среди этого многолюдного лагеря. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Между ними и Белым Клыком существовала какая-то разница. Может быть, они чуяли его дикую природу и инстинктивно испытывали к нему вражду, которую домашняя собака всегда чувствует к волку. Что бы там ни было, но, объединившись с Лип-Липом, они стали преследовать его и, раз объявив ему войну, уже не прекращали ее. Каждая из них

время от времени знакомилась с его зубами, и нужно сознаться, что Белый Клык давал обычно больше, чем получал. Многих из них он, несомненно, одолел бы в единоборстве, но такого случая, как драка один на один, ему никогда не представлялось. Начало сражения служило сигналом для всех других собак лагеря, которые бросались на него целой сворой.

Эти преследования, однако, имели свою положительную сторону и научили его двум важным вещам: как лучше всего защищаться при нападении целой своры и как в кратчайший промежуток времени нанести наибольший вред при единоборстве. В первом случае важнее всего было удержаться на ногах, и он хорошо усвоил это. Он сделался устойчив, как кошка. Большие собаки налетали на него всем телом, пытаясь свалить его с ног; но он только отскакивал назад или вбок, то скользя по земле, то делая прыжки в воздухе, и ноги его неизменно возвращались к матери-земле.

Собираясь вступить в драку, собаки обычно начинают с того, что рычат, скалят зубы и ерошат шерсть. Но Белый Клык научился обходиться без этого. Малейшее промедление влекло за собой налет всей собачьей стаи. Его задача состояла в том, чтобы быстро сделать свое дело и удрать. И он никогда не предупреждал о своих намерениях. Он стремительно набрасывался на врага и начинал кусать его прежде, чем тот успевал опомниться. Таким образом, он научился быстро и решительно расправляться. Он оценил одновременно и значение неожиданности. Стоило броситься без предупреждения на собаку, прокусить ей плечо или разорвать ей в клочки ухо, и она была выведена из строя.

Застигнутую врасплох собаку легко можно сбить с ног, причем, падая, она неминуемо выставляла на минуту незащищенную мягкую часть шеи — самое уязвимое место, прокусив которое, можно было лишить ее жизни. Белый Клык знал эту точку. Это знание досталось ему по наследству от многих охотничьих поколений волков. Итак, Белый Клык выработал следующую систему атаки: во-первых, он старался встретить собаку одну; во-вторых, он бросался на

нее неожиданно и старался сбить с ног и, в-третьих, он вцеплялся зубами в мягкую часть ее шеи.

Челюсти его не были еще настолько развиты и сильны, чтобы укус мог стать смертельным, но много собак бродило по лагерю с рваными ранами на шее, красноречиво свидетельствовавшими о намерениях волчонка. Однажды, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он несколькими повторными укусами перервал ему большую шейную артерию, и собака истекла кровью. Поднялся невероятный шум. Прodelка Белого Клыка была замечена, весть о ней дошла до хозяина убитой собаки; индейские женщины припомнили все случаи, когда он крал у них мясо, и озлобленная толпа окружила Серого Бобра. Но индеец решительно загородил вход в свою палатку, спрятав у себя виновника переполоха, и отказался выдать его соплеменникам, которые требовали мщения.

Белого Клыка возненавидели и люди, и собаки. В этот период своей жизни он не знал ни минуты покоя. Он восстановил против себя людей и животных. Собаки встречали его рычанием, люди — камнями и проклятиями. Он жил в вечном напряжении, постоянно настороже, готовый в любую минуту напасть и отразить нападение, с молниеносной быстротой вцепиться зубами или со злобным рычанием отскочить.

Что касается рычания, то он рычал громче и страшнее всех собак в лагере. Цель рычания — предостеречь и напугать, и пользоваться им нужно умеючи. Белый Клык знал, как и когда прибегнуть к этому средству. В свое рычание он вкладывал все, что было в нем злобного, страшного и грозного. С судорожно сморщенным носом, с взъерошенной шерстью, которая так и ходила волнами, с высунутым красным языком, прижатыми ушами, горящими ненавистью глазами, приподнятыми губами и обнаженными клыками, с которых стекала слюна, он мог остановить нападение любого врага. Небольшое промедление со стороны последнего давало Белому Клыку время обдумать план действий. Часто случалось, что нападающий после такой паузы совсем отказывался от борь-

бы. И даже от больших собак Белому Клыку, благодаря грозному рычанию, не раз удавалось уходить с честью.

Белый Клык был отверженец, но своими кровавыми приемами и выдающейся энергией он заставлял свору щенков дорого расплачиваться за те преследования, которым они подвергали его. Ему запрещалось присоединиться к своре, и он, как это ни странно, добился того, что ни один из щенков не осмеливался отделяться от своры. Белый Клык не допускал этого. Боясь его хитрости и уловок, молодые собаки, за исключением Лип-Липа, не решались бегать одни; нажив себе страшного врага, они вынуждены были держаться вместе, чтобы в случае необходимости защищать друг друга. Щенок, отважившийся появиться на берегу реки в полном одиночестве, находил там смерть или, выпуская дикие вопли от страха и боли, вопли, поднимавшие на ноги весь лагерь, спасался бегством от волчонка.

Но нападения Белого Клыка не прекратились и тогда, когда щенки твердо усвоили, что им следует держаться вместе. Он нападал на них, когда они бывали одни, а они накидывались на него всей сворой. Одного вида Белого Клыка было достаточно, чтобы привести их в ярость, и в таких случаях только быстрота ног спасала его от жестокой расправы. Но горе было той собаке, которая опережала свору. Белый Клык научился неожиданно поворачиваться и успевал изувечить зарвавшегося преследователя раньше, чем свора могла добежать. Это случалось часто, потому что в пылу погони собаки не раз забывали об осторожности, тогда как Белый Клык никогда не терял головы. Оглядываясь на бегу, он готов был каждую минуту обернуться и броситься на преследователя, неосторожно опередившего свору.

Молодые собаки вообще любят резвиться, и, используя создавшееся положение по-своему, они превратили эту войну в игру. Преследование Белого Клыка сделалось любимой забавой, если не всегда смертельной, то, во всяком случае, опасной. Белый Клык, зная быстроту своих ног, не боялся удаляться от стоянки. Тщетно ожидая возвраще-

ния своей матери, он забавлялся тем, что заманивал свору в окружавшие стоянку леса, где она каждый раз неминуемо теряла его из виду. По шуму и лаю он всегда мог определить местонахождение своры, а сам между тем неслышной, мягкой поступью, унаследованной от родителей, тихо скользил между деревьями. Кроме того, связь между ним и природой была ближе и непосредственнее, и он лучше их знал все ее тайны. Любимой его проделкой было переплыть речку, сбив таким образом свору со следа, и залечь в соседней чаще, прислушиваясь к ее громкому взволнованному лаю.

Ненавидимый собаками и людьми, неукротимый, вечно занятый борьбой, волчонок развивался быстро, но односторонне. На этой почве не могла развиваться ласковость или расцветить привязанность. О таких вещах он не имел никакого понятия. Его правилом было: слушаться сильных и обижать слабых. Серый Бобр был бог, и бог сильный, поэтому Белый Клык повиновался ему. Но собаки моложе и меньше его были слабы и их следовало уничтожать. Развитие его шло в направлении силы. Под вечной угрозой увечья и даже смерти его хищнические и оборонительные способности развились гораздо больше, чем полагалось. Он стал бегать быстрее других собак, сделался сильнее, хитрее, выносливее, злее, приобрел железные мускулы и значительно превосходил умом своих врагов. Не приобрети он этих свойств, он ни за что не выжил бы в той враждебной среде, которая окружала его.

ГЛАВА IV

ПУТЬ БОГОВ

К концу года, когда дни стали короче, а морозы сильнее, Белому Клыку представилась возможность убежать. Уже несколько дней в индейском лагере царила суматоха. Летний лагерь снимался, и племя, уложив

все свое имущество, собиралось уходить на охоту. Белый Клык с интересом следил за происходившим, и, когда юрты были разобраны и скарб уложен в пироги, он все понял. Пироги начали уже отчаливать, и часть их скрылась за поворотом реки.

Он совершенно сознательно отстал и, выждав удобный случай, выскользнул из лагеря и скрылся в чаще леса. Здесь, за речкой, которая начинала покрываться льдом, он старательно замел свой след. Затем он прополз в самую гущу кустов и стал ждать. Время проходило, и он несколько раз засыпал и снова просыпался. Последний раз его разбудил голос Серого Бобра, который звал его. За ним слышались и другие голоса, и Белый Клык понял, что жена Серого Бобра и его сын Мит-Са тоже ищут его.

Белый Клык дрожал от страха, и хотя у него появилось желание вылезти из засады, он удержался от этого. Спустя некоторое время голоса стихли, и Белый Клык выполз из кустов, чтобы насладиться успехом своего предприятия. Наступили сумерки, и некоторое время он резвился в лесу, наслаждаясь свободой. Но вдруг, совершенно неожиданно, он почувствовал себя одиноким. Он сел, чтобы обдумать свое положение, растерянно прислушиваясь к лесной тишине. Окружавшее его безмолвие казалось ему зловещим. Он чувствовал вокруг себя невидимую, смутную опасность. Очертания деревьев и мрачные тени казались ему подозрительными; в них, быть может, скрывалось неизвестное.

Кроме того, было очень холодно. Близко не было теплой стенки палатки, около которой можно прикорнуть. Лапы его мерзли, и он попеременно поднимал то одну переднюю лапу, то другую. Он прикрыл их своим пушистым хвостом и погрузился в воспоминания. В этом не было ничего удивительного. В мозгу его за время пребывания с людьми запечатлелся целый ряд картин. Он мысленно представил себе лагерь, палатки и пламя костров. Он слышал резкие голоса женщин, низкие грубые голоса мужчин, рычание собак. Он был голоден и вспомнил о кусках мяса и рыбы,

которые получал за ужином. Здесь не было ни мяса, ни рыбы — ничего, кроме зловещей тишины.

Неволя изнежила его, а отсутствие самостоятельности лишило его прежней силы и твердости. Он разучился заботиться о себе самом. Надвигалась ночь. Его чувства, привыкшие к шуму и движению лагеря, к непрерывной смене зрительных и слуховых впечатлений, бездействовали. Здесь нечего было делать, нечего слушать, не на что смотреть. Он напрягал слух, чтобы уловить какой-нибудь звук среди окружавшего его безмолвия неподвижной природы. Но чувства его притупились от долгого бездействия и от сознания надвигающейся страшной опасности.

Он задрожал от ужаса. Какая-то темная бесформенная громада неслась прямо на него. Это была тень дерева, освещенная луной, лик которой за секунду перед тем был затемнен облаками. Успокоившись, Белый Клык стал тихонько скулить; однако он вскоре замолк, опасаясь, как бы плач его не привлек внимания невидимых врагов.

Как раз над ним громко скрипнуло от ночного холода дерево. Волчонок взвыл от страха. Охваченный паническим ужасом, он бросился бежать по направлению к лагерю. Им овладело непобедимое желание поскорее очутиться в обществе человека, отдаться под его покровительство. Ему чудились в воздухе запах дыма и человеческие голоса. Он вышел из леса на освещенную луной поляну, где не было ни мрака, ни теней. Но поселка он не увидел. Белый Клык забыл, что люди ушли.

Он замедлил свой неистовый бег — бежать было некуда. Волчонок грустно бродил по опустевшему месту стоянки, обнюхивая кучи мусора, забытые тряпки и хлам богов. В эту минуту он несказанно обрадовался бы стуку камней, брошенных какой-нибудь разозлившейся женщиной, ударам Серого Бобра и даже нападению собачьей своры с Лип-Липом во главе.

Он подошел к месту, где стояла палатка Серого Бобра, и, усевшись в центре пространства, которое она занимала,

поднял морду к луне. Горло его сжали судороги, пасть открылась, и из груди вырвался жалобный стон, в котором слилось все: и страх одиночества, и тоска по Киче, и горечь прошлого, и страх перед будущими опасностями и страданиями. Это был протяжный вой волка, глубокий и заунывный, первый настоящий вой, который издал Белый Клык.

С рассветом страх его рассеялся, но чувство одиночества обострилось еще сильнее. Вид голой земли, на которой не так давно стояли палатки, только усугубил его тоску. Он не стал долго раздумывать. Войдя в лес, Белый Клык направился вниз по течению реки. Он бежал, не отдыхая, весь день, и вид у него был такой, словно он готов был так бежать вечно. Его стальные мускулы не знали усталости. А когда усталость все же появилась, наследственная выносливость дала ему силу и возможность подгонять дальше свое утомленное тело. Там, где река протекала между крутыми утесами, Белый Клык перелезал через горы; речки и притоки, вливавшиеся в главное русло, он переходил вброд или переплывал. Часто ему приходилось пробираться по тонкой ледяной коре, и он не раз проваливался сквозь нее и боролся в холодной воде за свою жизнь. При этом он неустанно искал след богов в том месте, где они должны были высадиться из лодок и углубиться в берег.

Ум Белого Клыка значительно превосходил средний уровень, присущий его породе. Однако сообразительности его не хватало на то, чтобы окинуть взглядом противоположный берег Макензи. А что, если боги высадились на той стороне? Эта простая мысль не приходила ему в голову. Позже, став старше и опытнее и узнав многое о реках и тропах, он сумел бы, пожалуй, проявить подобную догадливость. Но это было для него уделом будущего. Теперь же он все бежал прямо, ища следов только по одному берегу реки Макензи.

Всю ночь бежал Белый Клык в темноте, спотыкаясь о препятствия, которые лишь задерживали, но не останавливали его. К середине второго дня он уже бежал безостановочно тридцать часов, и его железный организм начал сдавать.

Только душевная выносливость поддерживала его силы. Он не ел уже в течение сорока часов и ослабел от голода. Ледяные ванны, в которые он погружался несколько раз, также оказывали свое действие. Его красивая шкура испачкалась, из широких лап сочилась кровь. Он начал хромать, и хромота эта с каждым часом усиливалась. В довершение всего стало темнеть и пошел мягкий мокрый снег. Он таял под ногами, заволакивал всю местность и закрывал неровности почвы, что еще больше затрудняло странствие.

В эту ночь Серый Бобр собирался сделать привал по ту сторону реки Макензи, так как охотиться им предстояло на том берегу. Но незадолго до наступления ночи Клу-Куч, жена Серого Бобра, заметила оленя, пришедшего напиться по эту сторону реки. Если бы олень не пришел напиться и Клу-Куч не заметила его, если бы Мит-Са не свернул с пути из-за снега, если бы, наконец, Серый Бобр не убил оленя удачным выстрелом из ружья — все последующие события сложились бы иначе. Серый Бобр не сделал бы привала по эту сторону реки Макензи, и Белый Клык, пройдя мимо них, либо нашел бы смерть в лесу, либо присоединился бы к своим диким сородичам, чтобы остаться волком до конца дней своих.

Наступила ночь. Снег валил хлопьями, и Белый Клык, тихо визжа и хромая, продолжал брести дальше, как вдруг неожиданно наткнулся на свежий след на снегу. След был настолько свеж, что он тотчас же узнал его. Нетерпеливо визжа, он направился прочь от реки, продираясь между деревьями. До слуха его долетели знакомые звуки лагеря. Он увидел пламя костра, над которым стряпала Клу-Куч, и Серого Бобра, сидевшего на корточках, с куском сырого сала в руке. По-видимому, в лагере было свежее мясо.

Белый Клык был уверен, что его побьют. При мысли об этом он сжался и слегка взъерошил шерсть. Потом снова двинулся дальше. Он боялся побоев, которые, по его мнению, были неминуемы, но зато знал, что найдет там тепло у костра, покровительство богов и общество собак; в лаге-

ре его ждала вражда, но все же это было лучше, чем одиночество, и больше отвечало его стадным наклонностям.

Он ползком приблизился к костру. Серый Бобр заметил его и перестал жевать сало. Белый Клык подполз медленно, раболепно извиваясь и пресмыкаясь в знак своего унижения и покорности. Он полз прямо к Серому Бобру, с каждым шагом замедляя свои движения. Наконец, он очутился у ног хозяина, во власть которого он отдавался добровольно душой и телом. На этот раз он по собственной воле пришел к человеку и подчинился ему. Белый Клык дрожал, боясь наказания. Рука над ним зашевелилась. Он невольно съехался, ожидая удара, но удара не последовало. Он украдкой взглянул кверху. Серый Бобр разрывал кусок сала на две части. Серый Бобр предлагал ему половину. Белый Клык очень деликатно, но в то же время как будто недоверчиво обнюхал сало, а затем принялся есть его. Серый Бобр приказал принести ему мяса и оберегал его от других собак, пока он ел. Покончив с едой, Белый Клык, довольный и благодарный, лег у ног Серого Бобра, глядя на огонь, мигая и подремывая в тепле. Все существо его было полно приятного сознания, что завтра утром ему не придется скитаться больше в одиночестве в мрачном лесу; он проснется в лагере среди людей-богов, которым он отдался и от которых теперь всецело зависел.

ГЛАВА V

ДОГОВОР

В конце декабря Серый Бобр предпринял путешествие по реке Макензи. Мит-Са и Клу-Куч сопровождали его. Одни нарты, запряженные своими и наемными собаками, он вел сам. Вторые, поменьше, вел его сын Мит-Са, и в них впряжена была свора щенков. Вторые нарты скорее

походили на игрушечные, но Мит-Са был в восторге от того, что исполняет настоящее мужское дело. Он учился править и воспитывать собак, а щенки привыкали к упряжи. Но помимо этого, нарты приносили еще немалую пользу тем, что везли на себе около двухсот фунтов поклажи и припасов.

Белый Клык видел, как лагерные собаки не раз тащили нарты, поэтому он не очень возмутился, когда его запрягли вместе с ними. Ему надели на шею набитый мхом хомут, соединявшийся двумя ремнями с ляжкой, охватывавшей его грудь и спину. К ней были привязаны постромки, за которые он тащил нарты.

В запряжке было семь молодых собак. Все они родились раньше его, каждая не моложе девяти-десяти месяцев, только Белому Клыку было восемь. Каждая собака была впряжена в нарты с помощью одного ремня. Все ремни были разной длины, и разница между длиной отдельных ремней была не менее корпуса одной собаки. Каждый ремень был привязан к кольцу в передней части нарт. Сами нарты не имели полозьев и представляли род ящика из березовой коры; передок был загнут кверху, чтобы нарты не зарывались в снег. Такое устройство способствовало более равномерному распределению тяжести нарт и поклажи на возможно большую поверхность, ибо снег в этот период зимы был еще очень рыхлым и напоминал истолченный в порошок хрусталь. Ради соблюдения того же принципа распределения тяжести собаки были прикреплены веерообразно к выступу нарт, так что ни одна из них не шла по следу другой.

Подобного рода запряжка давала еще одно преимущество. Разница в длине постромок мешала задним собакам бросаться на передних. Для того, чтобы одна собака могла напасть на другую, ей нужно было обернуться к той, которая шла за ней на более коротком ремне, но в этом случае ей пришлось бы встретиться не только с атакуемой собакой, но и с бичом погонщика. Но главная выгода подобного устройства заключалась в том, что задняя собака, стремясь напасть на переднюю, тащила нарты с максимальной бы-

стротой, а чем быстрее бежали нарты, тем быстрее могла бежать преследуемая собака. Таким образом, задняя собака никогда не могла догнать переднюю. Чем скорее та бежала, тем скорее бежала следовавшая за ней, и тем скорее неслись нарты. Вот к каким хитрым приспособлениям прибегал человек, чтобы использовать подвластных ему животных.

Мит-Са очень походил на своего отца, в особенности умом. Он давно замечал, что Лип-Лип преследует Белого Клыка, но в то время Лип-Лип принадлежал другому хозяину, и Мит-Са ограничивался тем, что изредка осторожно кидал в него камнями. Теперь же Лип-Лип был собственностью Мит-Са, и, решив отомстить ему, юноша привязал его к концу самого длинного ремня. Лип-Лип сделался таким образом вожакom, место само по себе почетное, но в сущности сильно ронявшее его достоинство; вместо того, чтобы заирать других собак и заправлять всей сворой, он сам очутился в положении ненавистного и преследуемого сворой передового.

Поскольку его ремень был длиннее всех остальных, собакам постоянно казалось, что Лип-Лип убегает от них. Они видели перед собой один только пушистый хвост и задние лапы вожака, а это пугало их меньше, чем его взъерошенная шерсть и острые клыки. Помимо того, вид убегающего животного или человека всегда вызывает у собак желание бежать следом, ибо в их сознании тотчас же возникает мысль, что от них хотят скрыться. То же самое повторилось и по отношению к Лип-Липу.

С той минуты, как нарты трогались с места, собаки пускались преследовать Лип-Липа, и эта погоня продолжалась целый день. Вначале, озлобленный и оскорбленный в своем достоинстве, щенок пробовал оборачиваться к своим преследователям, но в этих случаях Мит-Са ударял его по морде тридцатифутовым бичом из оленьей жилы, заставляя поворачиваться и бежать дальше. Лип-Лип мог глядеть в лицо своре, но зрелища бича выдержать не мог, и ему ничего не оставалось делать, как, натянув свой длинный ремень, нестись впереди, спасаясь от зубов товарищей.

Но индеец придумал еще более коварный способ мести. Желая обострить ненависть собак к вожаку, Мит-Са стал отличать его перед другими собаками, а отличия эти возбуждали в них ревность и ненависть. Мит-Са на их глазах кормил его мясом, не давая ничего другим. Это доводило всю остальную упряжку до бешенства. Они злобно ходили вокруг Лип-Липа, не решаясь подойти близко, так как кнут в руках Мит-Са удерживал их на почтительном расстоянии. Когда же мяса не было, Мит-Са отгонял подальше всю упряжку и делал вид, что кормит Лип-Липа мясом.

Белый Клык охотно принялся за работу. Приняв закон богов, он проделал несравненно большую эволюцию, чем все остальные собаки, и твердо проникся сознанием, что желания их должны исполняться беспрекословно. К тому же преследования, которым он неоднократно подвергался со стороны собак, заставили его сильнее привязаться к человеку. Он не чувствовал потребности в обществе себе подобных. Кича была почти забыта, и весь запас оставшегося в нем чувства вылился в преданность богам, которых он сам избрал себе хозяевами. Поэтому работал он ревностно и быстро привык к дисциплине. Таковы отличительные черты волка и дикой собаки, сделавшихся ручными, и эти черты были необычайно сильно развиты в Белом Клыке.

Между Белым Клыком и другими собаками царил постоянная вражда. Он так и не научился никогда играть с ними. Он умел только драться и дрался с ними всласть, платя им сторицей за все обиды и удары, нанесенные ему тогда, когда Лип-Лип был вожаком всей своры. Но Лип-Лип ведь не был вожаком, за исключением тех часов, когда мчался, натянув ремень, впереди остальных, таща за собой нарты. Во время стоянок он держался вблизи Мит-Са, Серого Бобра или Клу-Куч. Он не решался отойти от них, зная, что острые клыки всей своры направлены против него. Он испытывал теперь то же, что пришлось испытать некогда Белому Клыку.

С падением Лип-Липа Белый Клык мог легко сделаться вожаком своры, но для этого он был слишком мрачным

и замкнутым существом. Он или бил своих товарищей по упряжке, или совершенно игнорировал их. Они убегали, когда замечали его приближение; даже самая смелая из них не решалась стащить у него кусок мяса. Наоборот, все они спешили поскорее съесть свою порцию из боязни, чтобы он не отнял у них последнего куска. Белый Клык хорошо изучил закон: *притеснять слабых и повиноваться сильным*. Он съедал свою порцию с невероятной быстротой, и горе было той собаке, которая не успевала вовремя проглотить свою. Рычание, лязг зубов — и собаке этой оставалось только жаловаться равнодушным звездам, пока Белый Клык доедал ее порцию.

Время от времени, однако, та или другая собака пробовала возмутиться и нападала на Белого Клыка; тогда последний быстро умирал строптивую. Таким образом, он тренировался и не терял привычки к борьбе. Он ревниво сберегал то обособленное положение, которое занял в своре, и часто дрался за его сохранение. Но такие драки продолжались недолго. Белый Клык значительно превосходил своих врагов в силе и ловкости. Миг — и собака уже лежала окровавленная, не успев еще по-настоящему вступить в бой.

Такую же дисциплину, какая существовала в пути между богами, Белый Клык поддерживал и между собаками. Он никогда не разрешал им никакой вольности и требовал полного к себе уважения. Между собой они могли вести себя как хотели: это его не касалось. Но ему они должны были уступить дорогу, когда он появлялся среди них; должны были уважать его одиночество и признавать его главенство. Намек на недовольство с их стороны, обнаженные клыки, взъерошенная шерсть — и он бросался на собаку, беспощадный и жестокий, и быстро заставлял ее раскаяться в своей ошибке.

Он был чудовищным тираном и требовал железной дисциплины. Слабые не знали пощады. Недаром же с первых месяцев своей жизни он познал жестокую борьбу за существование, когда скитался вдвоем со своей матерью по суровой

пустыне, недаром научился бесшумно красться, чуя близость врага. Он притеснял слабых, но уважал сильных. И за все время долгого путешествия с Серым Бобром он вел себя очень осторожно со взрослыми собаками, встречавшимися ему по пути, в лагерях этих странных животных-людей.

Прошло несколько месяцев, а Серый Бобр двигался все дальше и дальше. Силы Белого Клыка развились под влиянием долгой дороги и упорной, постоянной работы, а умственное его развитие можно было считать почти законченным. Он прекрасно изучил тот мир, в котором вращался, и усвоил себе мрачный взгляд на вещи. Мир казался ему жестоким и грубым; в нем не существовало ни тепла, ни ласки, ни привязанности, ни духовной прелести.

Белый Клык не любил Серого Бобра. Правда, он был богом, но богом жестоким. Белый Клык с радостью признавал его власть, но власть эта основывалась на грубой силе и превосходстве ума. В Белом Клыке от природы было заложено нечто, заставлявшее его желать этой власти — иначе он не вернулся бы из лесу, чтобы изъявить покорность своему господину. В его натуре были какие-то неисследованные глубины, которых никто еще не касался. Доброе слово и ласка со стороны Серого Бобра могли бы осветить эти бездны. Но Серый Бобр никогда никого не ласкал и не говорил добрых слов. Это было чуждо ему. Это был грубый дикарь; он чинил правосудие дубиной, наказывал за проступки ударами и награждал заслуги не добром, а только тем, что воздерживался от ударов.

Итак, Белый Клык ничего не знал о том счастье, которое может дать человеческая рука. Он не любил ее и всегда относился к ней с некоторым недоверием. Правда, руки эти давали иногда мясо, но чаще всего они причиняли боль. Их следовало избегать. Они бросали камни, замахивались палками, дубинами и бичами и раздавали удары, а если прикасались к нему, то только для того, чтобы ущипнуть или дернуть. Во встречных поселках он познакомился с детскими руками и узнал, что они тоже умеют причинять боль. Однаж-

ды он чуть не лишился глаза из-за крошечного мальчишки. С тех пор он подозрительно относился ко всем папузам¹. Он не выносил их. Когда они приближались к нему со своими зловещими руками, он поднимался и уходил.

Как-то раз в поселке, на берегу Большого Невольничьего озера, Белый Клык, убедившись лишний раз в злокозненности человеческих рук, изменил правилу, которому научил его Серый Бобр, а именно: что укусить бога — непростительное преступление. В этом поселке, по обычаю всех собак во всех поселках, Белый Клык отправился на поиски пропитания. По пути он набрел на мальчишку, рубившего топором мясо, обрезки которого разлетались по снегу. Белый Клык остановился и стал подбирать эти обрезки. Он увидел, что мальчик отложил в сторону топор и вооружился толстой дубиной. Белый Клык отскочил как раз вовремя, чтобы избежать направленного на него удара. Мальчик пустился за ним вдогонку, и Белый Клык, не зная местности, бросился в проход между двумя юртами и оказался припертым к высокому валу.

Бежать было некуда. Единственный путь между двумя юртами был загорожен мальчиком. Высоко подняв дубину, он подошел к пойманному в ловушку зверю. Белый Клык пришел в ярость. Он смотрел на мальчика, рыча и ероша шерсть; его чувство справедливости было возмущено. Он хорошо знал закон фуражировки. Всякие мясные отбросы, вроде мороженных обрезков, принадлежали собаке, нашедшей их. Он не сделал никому зла, не нарушил закона, а этот мальчишка собирался бить его. Белый Клык едва ли сознавал, что делает. Он был вне себя от ярости, и нападение произошло так стремительно, что мальчик тоже ничего не понял. Он почувствовал только, что лежит на снегу и что рука его, державшая дубину, насквозь прокушена зубами Белого Клыка.

Но Белый Клык знал, что он преступил закон богов. Он вонзил свои зубы в священное мясо одного из них и должен

¹ Папуз — ребенок по-индейски.

был ожидать страшного наказания. Он убежал к Серому Бобру и спрятался у него под ногами, когда мальчик со всей семьей явился требовать мщения. Но они ушли ни с чем. Серый Бобр вступился за свою собаку, и его поддержали Мит-Са и Клу-Куч. Белый Клык, прислушиваясь к словесной распре и следя за возбужденными движениями, понял, что его поступок оправдан. Тут он впервые уразумел, что боги бывают разные. Существовали его боги и другие боги, но между ними была огромная разница. От своих он должен был терпеливо сносить все — и справедливость и несправедливость, но чужим богам он имел право мстить за обиды зубами. Это тоже был закон богов.

В тот же день Белому Клыку пришлось узнать еще кое-что об этом законе. Мит-Са, собирая сучья в лесу, встретил укушенного мальчика. С ним были его товарищи. Произошла ссора, и все мальчишки бросились на Мит-Са. Ему пришлось плохо: удары сыпались на него со всех сторон. Сначала Белый Клык равнодушно следил за побоищем. Ведь дрались боги, это было их дело, а не его. Но вскоре он сообразил, что Мит-Са, одного из его собственных богов, обижают чужие боги. Однако не доводы разума, а дикий прилив злобы заставил Белого Клыка броситься на сражающихся. Пять минут спустя поляна покрылась разбегавшимися во все стороны мальчишками, причем на снегу оставались следы крови, доказывавшие, что зубы Белого Клыка недурно поработали. Когда Мит-Са рассказал в лагере о случившемся, Серый Бобр велел дать Белому Клыку мяса, и Белый Клык, лежа у костра, сытый и сонный, понял, что его поступок получил должную оценку.

На этом опыте Белый Клык познакомился с законом собственности и усвоил себе, что защита этой собственности является его долгом. От защиты самого бога до защиты его имущества был только один шаг, и этот шаг он сделал. Все принадлежавшее его богу он обязан был защищать против целого света, не останавливаясь даже перед тем, чтобы кусать чужих богов. Правда, такая дерзость казалась ему

святотатством и была, кроме того, сопряжена с опасностью. Ведь боги были всемогущи, и собака не могла бороться с ними, но Белый Клык научился смело и безбоязненно смотреть им в глаза. Долг был выше страха, и вороватые боги скоро отучились посягать на имущество Серого Бобра.

Белый Клык быстро заметил, что вороватые боги бывают обыкновенно трусливы и быстро убегают при первой тревоге. Он понял также, что стоит ему подать голос, и Серый Бобр явится к нему на помощь. Это значило, что вор боится не его, а Серого Бобра. Белый Клык не поднимал тревоги лаем — он вообще не умел лаять, — а обычно сразу бросался на непрошеного гостя, стараясь по возможности вцепиться в него зубами. Благодаря своему мрачному и замкнутому нраву, заставлявшему его чуждаться других собак, он был необыкновенно пригоден для роли сторожа, а Серый Бобр всячески старался развить в нем эти особенности. В результате Белый Клык сделался еще злее и страшнее прежнего.

Проходили месяцы, все сильнее скрепляя договор между человеком и собакой. Это был тот же прежний договор, заключенный между первым волком и человеком. И как делали это все другие волки и дикие собаки до и после него, Белый Клык сам выработал для себя его условия. Они были просты. За то, чтобы приобрести собственного бога из плоти и крови, он отдавал свою свободу. От бога он получал пищу, тепло и покровительство. Взамен этого он обязывался стеречь имущество бога, защищать его, работать на него и повиноваться ему.

Обладание богом обязывает к служению ему. Белый Клык служил из чувства долга и благоговения, но не из любви. Он не знал, что такое любовь. Кичу он почти забыл. К тому же он понимал, что, отдавшись по доброй воле в руки своего бога, он не только отказался от воли и своей породы; он знал, что даже при встрече с Кичей он не покинет своего бога ради нее. Его преданность человеку была выше любви к свободе, к семье и породе.

ГЛАВА VI

ГОЛОД

Квесне Серый Бобр окончил свое далекое путешествие. Стоял апрель, и Белому Клыку шел уже второй год, когда он, наконец, добрался до родного поселка, и Мит-Са снял с него хомут. Хотя Белый Клык далеко еще не достиг полного развития, но после Лип-Липа он был одним из самых больших годовалых щенят. От волка-отца и от Кичи он унаследовал крупное сложение и силу и мог уже равняться с взрослыми собаками. Но его телу не хватало еще компактности. Он был худой и поджарый, и сила его объяснялась скорее натренированностью мускулов, чем их массивностью. Шерсть у него была серая, настоящая волчья, и видом своим он полностью походил на волка. Доля собачьей крови, унаследованная им от Кичи, ни капли не отразилась на его внешнем облике, но зато оказала сильное влияние на склад его ума.

Он бродил по деревням и с чувством удовлетворения узнавал различных богов, которых знал до путешествия. Тут были также щенки, подобные ему, и взрослые собаки, казавшиеся ему теперь уже не такими большими и страшными, какими они сохранились у него в памяти. Он боялся их гораздо меньше прежнего и разгуливал между ними с небрежной уверенностью; это было для него столь же ново, сколь и приятно.

Был тут и старый Бэсик, которому в прежнее время стоило только оскалить зубы, чтобы заставить Белого Клыка съежиться и обратиться в бегство. Из-за него Белому Клыку не раз приходилось чувствовать свое ничтожество; теперь же благодаря ему же он узнал о происшедшей в нем громадной перемене. В то время как Бэсик слабел от старости, Белый Клык с каждым днем набирался сил.

О перемене, происшедшей в его отношениях к собачьему миру, Белый Клык узнал однажды при дележе свежееби-

того оленя. На его долю досталось копыто и часть голени, к которой пристал порядочный кусок хорошего мяса. Спрятавшись за кустами от других собак, он пожирал свой лакомый кусок, когда Бэсик накинулся на него. Но Белый Клык, сам не сознавая, что делает, два раза укусил его и отскочил в сторону. Бэсик был ошеломлен его смелостью и быстротой нападения. Он стоял, бессмысленно уставившись на Белого Клыка и на лежавшую между ними окровавленную кость.

Бэсик был стар, и ему не раз уже случалось убеждаться, что собаки, которых он раньше беспощадно преследовал, теперь оказывались сильнее его. Как ни горько было это сознание, приходилось мириться с ним, и он призвал на помощь всю свою мудрость и долголетний опыт, чтобы как-нибудь поддержать свой престиж. В прежнее время он с яростью бросился бы на Белого Клыка, но теперь сознание собственной слабости не позволяло ему отважиться на этот рискованный шаг. Он взъерошил шерсть и устремил грозный взгляд на своего врага, и волк, охваченный вдруг прежним страхом, весь съежился и стал лихорадочно придумывать способ, как бы убраться без большого позора.

И тут Бэсик сделал огромный промах. Продолжай он рычать и злобно смотреть на Белого Клыка, все было бы хорошо, и Белый Клык в силу привычки, наверное, отступил бы, оставив ему мясо. Но Бэсик не стал ждать. Считая победу обеспеченной, он приблизился к мясу и принялся его обнюхивать. Белый Клык слегка насторожился. Бэсик и тут мог бы еще спасти положение. Если бы он остался стоять, наклонившись над мясом, но не прикасаясь к нему, Белый Клык несомненно убежал бы; но запах мяса сильно раздражал аппетит Бэсика, и жадность заставила его взяться за кость.

Этого Белый Клык не мог перенести. Он еще слишком живо помнил о том, как безраздельно он царил над сворой, и не мог спокойно смотреть, как другая собака ест принадлежащее ему мясо. По своему обыкновению, он кинулся

без предупреждения. При первом же столкновении правое ухо Бэсика оказалось разорванным в клочья. Он был поражен молниеносной быстротой нападения. Но тотчас же произошло нечто еще более неожиданное: он был сбит с ног и укушен в горло. Пока он силился встать на ноги, Белый Клык дважды укусил его в плечо. Он действовал с головокружительной быстротой. Бэсик сделал бесплодную попытку броситься на Белого Клыка, но зубы его громко щелкнули в воздухе, и в следующую минуту он, шатаясь, отступал с прокушенным носом.

Положение совершенно изменилось. Белый Клык стоял теперь над мясом, ероша шерсть и рыча, а Бэсик держался в отдалении, раздумывая, как бы улепетнуть. Он не решался вступить в борьбу с этим молодым молниеносным врагом и снова, на этот раз с еще большей горечью, ощутил дыхание надвигающейся старости. Однако в попытке его сохранить свое достоинство было что-то героическое. Спокойно повернувшись спиной к врагу и кости, как будто оба они были недостойны его внимания и не существовали для него, он важно удалился и, только отойдя на значительное расстояние, где Белый Клык уже не мог его видеть, принялся зализывать свои раны.

Эта победа придала Белому Клыку больше веры в себя и заставила его возгордиться. Он стал держаться свободнее в отношении других взрослых собак. Он не искал с ними ссоры, но требовал к себе уважения. Он считал, что другие обязаны уступать ему дорогу, но сам не уступал ее никому. С ним следовало считаться, вот и все. Он не допускал больше по отношению к себе невнимания и небрежности, которые выпадали на долю других щенков, в том числе и его бывших товарищей по упряжке. Эти уступали дорогу взрослым собакам и, подчиняясь насилию, отдавали им свое мясо, но к Белому Клыку, одинокому, мрачному, страшному, необщительному и чужому, взрослые собаки в полном недоумении стали относиться как к равному. Они научились

не трогать его и отказались от всяких попыток вступать с ним в драку или завязать дружеские отношения. Когда они оставляли его в покое, он тоже не трогал их, и обе стороны после нескольких стычек убедились, что такое положение дел их больше всего устраивает.

В середине лета с Белым Клыком произошел странный случай. Отправившись в одиночестве осмотреть новую юрту, выстроенную на краю поселка за то время, что он уходил с охотниками на оленей, он вплотную столкнулся с Кичей. Он остановился и посмотрел на нее. Он помнил ее, правда, смутно, но все же помнил, чего нельзя было сказать о ней. Она обнажила клыки и зарычала на него, и тут память его прояснилась. Забытое детство, так тесно связанное с этим знакомым рычанием, тотчас воскресло в памяти волчонка. Ведь до знакомства с богами мать была для него центром вселенной. Прежние чувства охватили его. Он радостно бросился к ней, а она встретила его обнаженными клыками и раскроила ему щеку до самой кости. Он был озадачен и отскочил, испуганный и удивленный.

Но Кича не была виновата. Волчица-мать не способна помнить своих взрослых щенят, и Кича забыла Белого Клыка. Для нее он был теперь чужой, и ее нынешний выводок давал ей право гнать всех чужих и незнакомых.

Один из щенков подполз к Белому Клыку: они были почти братьями, но не знали об этом. Белый Клык с любопытством обнюхал щенка; Кича при этом вторично укусила его в морду. Он отступил еще дальше. Все нахлынувшие воспоминания растаяли и снова ушли в могилу, откуда они воскресли на миг. Белый Клык взглянул на рычавшую, облизывавшую своего щенка Кичу. Она утратила в его глазах всякое значение. Он уже научился обходиться без нее. Влияние ее было забыто. Она не существовала больше для него, так же как и он не существовал для нее.

Он все еще в полном недоумении стоял на месте, когда Кича в третий раз бросилась на него, чтобы отогнать его

прочь. И Белый Клык не сопротивлялся. Это была самка его породы, а между волками существует закон, воспрещающий самцам нападать на самок. Он ничего не знал об этом законе, ибо это не было обобщение, явившееся следствием умственного процесса или жизненного опыта: он просто почувствовал тайное внушение, услышал голос инстинкта, того же инстинкта, который заставлял его выть на луну по ночам и бояться смерти и неизвестного.

Проходили месяцы. Белый Клык рос, становился больше и сильнее, а характер его развивался сообразно условиям жизни и наследственности. Наследственность эта была подобна глине, из нее можно было вылепить что угодно, придать ей любую форму. Если бы Белый Клык так и не подошел никогда к костру человека, жизнь в пустыне сделала бы из него настоящего волка. Но боги окружили его другими условиями, и он стал собакой, сильно похожей на волка, но все же собакой.

Итак, благодаря природным задаткам и влиянию окружающей его среды, характер его вылился в особую своеобразную форму. Это было неизбежно. Он становился все менее общительным, все более угрюмым, злым и мрачным. Собаки с каждым разом убеждались в том, что лучше оставлять его в покое, а Серый Бобр с каждым днем больше ценил его.

Белый Клык, отличавшийся силой во всех своих проявлениях, страдал, однако, и одной слабостью. Он не выносил, когда над ним смеялись. Человеческий смех был ему ненавистен. Если люди смеялись между собой, он относился к этому равнодушно, лишь бы смех этот не касался его. Но, почувствовав насмешку над собой, он сразу же приходил в бешеную ярость. Обыкновенно серьезный, мрачный и важный, он в таких случаях неистовствовал до смешного. Смех так оскорблял и раздражал его, что он способен был часами бушевать, словно злой дух. И горе было той собаке, которая попадалась ему в такую минуту на глаза. Белый Клык слишком хорошо

знал закон, чтобы решиться излить свою злобу на Серого Бобра, за спиной которого была дубина и его божественное происхождение, но за спиной собак не было ничего, кроме пространства, и туда-то они и спасались от Белого Клыка, когда людской смех доводил его до бешенства.

На третьем году его жизни у индейцев на Макензи настал большой голод. Летом не было рыбы. Зимой олени покинули свои обычные места; лоси стали редки, кролики почти исчезли, хищники погибали. Лишенные обычной добычи, ослабевшие от голода, они пожирали друг друга. Выживали только сильные.

Боги Белого Клыка всегда были охотниками. Старики и слабые умирали от голода. В деревне стоял стон женщин и детей, которые отказывали себе во всем, отдавая последние остатки пищи истощенным охотникам, бродившим по лесам в тщетных поисках дичи.

Голод довел богов до такой крайности, что они стали есть кожу своих мокасинов и рукавиц, а собаки питались кожей хомутов и ремнями бичей. Собаки, кроме того, пожирали друг друга, а боги поедали собак. Сначала уничтожались псы более слабые и непригодные, а оставшиеся в живых понимали, что их ожидает. Самые смелые и умные из них покидали костры богов, превратившиеся теперь в бойни, и убегали в лес, где погибали от голода или становились добычей волков.

В это ужасное время Белый Клык тоже ушел в лес. Он лучше других был приспособлен к этой жизни, имея опыт своего детства. С особым искусством выслеживал он мелкую дичь. Он мог часами лежать притаившись и, несмотря на мучивший его голод, с невероятным терпением следить за каждым движением сидевшей на дереве белки, пока она не спустится вниз. Но и тут он не торопился. Он выжидал удобной минуты, чтобы с уверенностью нанести удар, прежде чем белка успеет добраться до ближайшего дерева. Тогда и только тогда, с быстротой молнии, выскакивал он из

засады, словно серая бомба, и без промаха набрасывался на свою жертву, которая тщетно пыталась убежать от него.

Однако охота за белками не могла утолить его голод. Их было слишком мало. Ему приходилось отыскивать и других мелких животных. Иногда голод так сильно мучил его, что он не брезгал выкапывать из земли лесных мышей. Он не отступал даже перед нападением на ласку, такую же голодную, как и он, но гораздо более жестокую.

В самые острые минуты голода он возвращался обратно к кострам богов, но не подходил к ним близко, а бродил у опушки, стараясь остаться незамеченным, и обкрадывал капканы в тех редких случаях, когда в них попадалась дичь. Он даже обокрал капкан Серого Бобра в то время, как тот, едва волоча от слабости ноги, брел, спотыкаясь, по лесу, часто присаживаясь из-за слабости и одышки.

Раз как-то Белый Клык встретил молодого, истощенного, едва волочившего от голода ноги волка. Не будь он голоден, возможно, он ушел бы с ним и присоединился к своим братьям-волкам, но тут он погнался за своим родичем, убил его и съел.

Счастье, казалось, благоприятствовало ему. Всякий раз, как голод обострялся, он находил какую-нибудь дичь. Когда же он очень ослабевал, судьба оберегала его от встреч с более крупными хищными зверьми. Раз ему удалось основательно подкрепить свои силы, питаясь в течение двух дней убитой им рысью, и как раз в это время на него напала голодная стая волков. Это была продолжительная жестокая погоня, но он был более сыт; и ему не только удалось убежать от них, но, сделав крюк, зайти им в тыл и самому напасть на одного из отставших и убить его.

Вскоре он покинул эту местность и направился вверх к долине, где он родился. Здесь в знакомой берлоге он встретился с Кичей. Тряхнув стариной, она тоже покинула негостеприимные костры богов и вернулась в свое прежнее убежище, чтобы произвести на свет новых волчат. К при-

ходу Белого Клыка от всего выводка оставался только один, да и этому не суждено было пережить голод.

Кича встретила своего взрослого сына далеко не приветливо. Но ему это было безразлично; он уже не нуждался в матери и, спокойно повернувшись к ней спиной, продолжал свой путь вверх по реке. Дойдя до того места, где река разветвлялась, он направился вдоль левого русла и нашел берлогу рыси, с которой он и мать его сразились когда-то. Здесь, в пустой берлоге, он отдыхал в течение целых суток.

В начале лета, когда голод был уже на исходе, Белый Клык встретил Лип-Липа, который также ушел в лес, где влачил самое жалкое существование. Белый Клык набрел на него совершенно неожиданно. Идя с двух сторон вдоль основания высокого утеса, они почти одновременно обогнули выступ скалы и столкнулись носом к носу. На минуту они остановились, подозрительно оглядывая друг друга.

Белый Клык был в прекрасном состоянии. Охота шла удачно, и он вот уже целую неделю питался досыта. Последней добычей он, пожалуй, даже немного объелся. Но, встретив Лип-Липа, он по старой привычке ошетинился и злобно зарычал. Он сделал это совершенно невольно, просто потому, что это внешнее проявление всегда сопровождало известное настроение, которое вызывал в нем своими приставаниями и преследованиями Лип-Лип. В прошлом при встрече с Лип-Липом он всегда ерошил шерсть и рычал, точно так же сделал он это автоматически и теперь. Он не стал терять времени; все произошло как-то мгновенно. Лип-Лип попытался отступить, но Белый Клык налетел на него, опрокинул на спину и перегрыз ему зубами тонкое горло. Несколько минут напряженно наблюдал он предсмертные судороги врага, затем спокойно двинулся дальше вдоль подошвы холма.

Однажды, вскоре после этой встречи, он подошел к опушке леса, где узкая открытая полоса земли полого спускалась

к реке Макензи. Он бывал здесь раньше, когда поляна эта была необитаема, теперь же на ней раскинулся поселок. Спрятавшись за деревьями, Белый Клык остановился, чтобы ознакомиться с положением. Вид, звуки и запахи показались ему знакомыми. Это была его прежняя деревня, только переменившая место. Но и вид, и звуки, и запахи сильно отличались от тех, которые он оставил уходя. Теперь не слышно было ни стога, ни плача. И когда до его слуха донеслись злые голоса женщин, он понял, что эта злоба исходит от сытого желудка. В воздухе пахло рыбой. Там была пища! Голод миновал!

Он смело вышел из леса и направился прямо к юрте Серого Бобра. Хозяина не было дома, но Клу-Куч встретила его радостными криками и угостила свежепойманной рыбой, и Белый Клык улегся у ее ног, ожидая возвращения Серого Бобра.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА I

ВРАГ СОБАЧЬЕГО РОДА

Если для Белого Клыка и оставалась еще в будущем какая-либо возможность подружиться с собратьями одной с ним породы, то возможность эта безвозвратно исчезла с того момента, как его сделали вожакom запряжки. Теперь собаки возненавидели его окончательно: возненавидели его за лишние куски мяса, которые давал ему Мит-Са, и за все льготы и поблажки, выпадавшие на его долю. Они ненавидели его за то, что он вечно бежал впереди упряжки, и за то, что перед глазами у них постоянно мелькали его пушистый хвост и задние лапы, доводившие их до бешенства.

И Белый Клык платил им той же монетой. Новое положение вожака упряжки не сулило ему ничего приятного. Необходимость постоянно убегать от разъяренной своры, каждую собаку которой он в течение трех лет неоднократно избивал и унижал, выводила его из себя. Но делать было нечего, оставалось только терпеть или погибнуть, а погибать у него не было никакого желания. В ту минуту, когда Мит-Са отдавал приказание трогаться, вся свора с дикими злобными криками бросалась вперед на Белого Клыка. О защите нечего было и думать. Если он оборачивался к ним, Мит-Са концом длинного кнута ударял его по морде. Ему не оставалось ничего другого, как бежать. Он не мог защищаться хвостом и задними лапами от всей этой бешеной орды; это было плохое оружие против их беспощадных клыков. И он бежал,

насилуя при каждом скачке свой самолюбивый нрав и гордость — бежал целый день.

Нельзя, однако, безнаказанно насиловать свою природу. Она непременно отомстит за себя. Это все равно, что заставить волос, которому предназначено расти наружу, переменить направление и вратать в тело; если бы такой опыт был возможен, в результате получилось бы воспаление и сильная боль. Так было и с Белым Клыком.

Всем своим существом он стремился напасть на лаявшую за его спиной свору, но боги не желали этого и подкрепляли свою волю длинным тридцатифутовым бичом из оленьей кожи. Таким образом, Белому Клыку оставалось только глубоко затаить горечь обиды и лелеять в душе ненависть и коварство, не уступающее его природной жестокости и непокорности.

Не было худшего врага собственной породы, чем Белый Клык. Он не просил пощады, но и не давал ее. Он был вечно покрыт рубцами от укусов всей своры, но и она носила на себе следы его зубов. В противоположность другим передовым собакам, которые, когда их распрягали во время привалов, жались к богам, Белый Клык никогда не искал защиты. Он смело разгуливал по лагерю, вымещая вечером на собаках снесенные за день обиды.

Пока он еще не был вожакom в запряжке, другие собаки уступали ему дорогу. Теперь дело изменилось. Возбужденные долгой погоней, находясь под обманчивым впечатлением победы над ним и собственного превосходства, которыми они упивались целый день, собаки не могли заставить себя уступать ему дорогу. Стоило ему показаться, как тотчас же завязывалась драка. Появление его сопровождалось лаем, рычанием и шелканьем зубов. Воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это еще больше раздувало его собственную ненависть и злобу.

Когда Мит-Са приказывал запряжке остановиться, Белый Клык повиновался. Вначале это всегда вызывало замешательство среди собак. Все они рады были броситься на ненавист-

ного вожака, но их останавливал Мит-Са с длинным кнутом в руках. Таким образом, собаки поняли, что, когда нарты останавливались по приказанию хозяина, накидываться на Белого Клыка не следует. Только, когда Белый Клык останавливался без приказа, всей своре разрешалось броситься на него и разорвать его в клочки, если им это удастся. После нескольких таких столкновений Белый Клык понял, что он не имеет права останавливаться по своему желанию. Он быстро усваивал подобные уроки. Сама природа вещей требовала от него сообразительности, ибо иначе он несомненно погиб бы в тех тяжелых условиях, которыми окружила его судьба.

Собаки никак не могли запомнить, что на стоянках они не должны задира́ть Белого Клыка. Гонясь за ним и преследуя его, они забывали за день урок, полученный накануне вечером; и когда урок этот повторялся, они снова немедленно забывали его. К тому же ненависть их к Белому Клыку имела под собой более глубокое основание. Они чувствовали в нем враждебную породу — причина вполне достаточная, чтобы возбудить в них злобу. Подобно ему, они были прирученные волки. Но процесс этот начался для них давно, много поколений назад. Наследие пустыни было почти утрачено ими, а сама пустыня представлялась им страшной и грозной неизвестностью. Однако в облике, поступках и характере Белого Клыка сквозило тесное родство с пустыней. Он символизировал, олицетворял ее; скаля на него зубы, собаки только стремились защититься от разрушительной силы, таившейся в густой чаще леса и в темных тенях, окружавших костры.

Тем не менее одно правило свора хорошо изучила, а именно, что ей следует всегда держаться вместе. Белый Клык был слишком страшным врагом для того, чтобы можно было решиться вступить с ним в единоборство. Они встречали его всей сворой; иначе он перебил бы их всех поодиночке в одну ночь. Стоило ему сбить одну из них с ног, как сейчас же все остальные набрасывались на него, прежде чем он успевал прокусить ей горло. При первом намеке на столкновение вся свора сообща накидывалась на него. Собаки

иногда ссорились между собой, но все раздоры прекращались, лишь только среди них появлялся Белый Клык.

С другой стороны, как они ни старались, им не удавалось убить Белого Клыка. Он был слишком ловок для них, слишком грозен, слишком умен. Он избегал узких мест и всегда успевал улизнуть, когда свора делала попытки окружить его. Сбить же его с ног не удавалось еще ни одной собаке. Ноги его цеплялись за землю с такой же силой, с какой сам он цеплялся за жизнь. В этом отношении жизнь и устойчивость были синонимами в вечной борьбе со сворой, и никто лучше Белого Клыка не знал этого.

Итак, он сделался врагом своей породы, этих прирученных волков, изнежившихся у костра человека, ослабевших под защитой его силы. Белый Клык был жесток и беспощаден. Таким вылепила его природа. Он объявил войну всем собакам. Даже Серый Бобр, при всей своей жестокости, нередко дивился свирепости Белого Клыка. Он клялся, что никогда еще не существовало подобного зверя, и того же мнения придерживались индейцы других поселков, подсчитывая число его жертв среди своих собак.

Когда Белому Клыку исполнилось пять лет, Серый Бобр взял его с собой в новое далекое путешествие, и жители поселков вдоль реки Макензи на перевале через Скалистые горы и от Дикобразовой реки до Юкона долго помнили опустошение, произведенное Белым Клыком среди их собак. Он наслаждался мщением, убивая своих ближних. Это были все самые обыкновенные доверчивые собаки. Они не были подготовлены к быстроте его натиска и не ожидали атаки без предупреждения. Они не подозревали, что он похож на молнию, убивающую на месте. Они подходили к нему, вызывая ероша шерсть, а он, не теряя времени на предупреждение, бросался на них и перегрызал им горло, раньше чем они успевали опомниться.

Белый Клык сделался искусным борцом. Он экономил силы, никогда не тратил их зря и не вязывался в длительную борьбу. Он нападал быстро, а если нападение не удавалось, он

так же быстро отскакивал. Подобно всем волкам, он не выносил длительного прикосновения к чужому телу. Это грозило опасностью и приводило его в бешенство. Он должен был чувствовать себя на свободе, на ногах и не касаться ничего живого. В этом сказывалось еще влияние пустыни, утверждавшейся через него. Инстинкт этот еще усилился в нем от одинокой жизни, которую он вел с детства. В соприкосновении таилась опасность. Это был капкан, страх перед которым глубоко сидел в нем, вплетался в каждую фибру его существа.

Вот почему чужие собаки, встречавшиеся ему, не в состоянии были с ним бороться. Он избегал их клыков и либо убивал их, либо уходил от них невредимый. Бывали, конечно, исключения. Случалось, что несколько собак бросались на него и успевали задать ему трепку; иногда и одинокой собаке удавалось свести с ним счеты. Но то были лишь редкие случаи. В общем, он сделался таким искусным борцом, что все сходило ему безнаказанно. На его стороне было еще одно преимущество: он умел правильно определять время и пространство. Не то чтобы он делал это сознательно или умел рассчитывать. Нет! Процесс этот совершался в нем чисто механически. Зрение у него было превосходное, и его нервы быстро и точно передавали зрительное впечатление мозгу. Все его члены были лучше развиты, чем у обыкновенных собак, и весь организм работал глаже и напряженнее. Нервами, умом и силой мышц он превосходил всех своих собратьев. Когда глаза его передавали мозгу подвижное изображение действия, мозг его без особых усилий определял границы этого действия в пространстве и время, необходимое для его выполнения. Таким путем он легко мог уклониться от прыжка другой собаки или удара ее клыков и при этом определить кратчайшее время, нужное ему для успешного нападения. Тело его и мозг представляли совершенный механизм. За это он не заслуживал похвал; природа оказалась к нему щедрее, чем к другим, вот и все.

Стояло уже лето, когда Белый Клык прибыл в форт Юкон. Серый Бобр перевалил зимой через большой хребет, отде-

лявший Макензи от Юкона, и провел весну, охотясь на западных отрогах Скалистых гор. Затем, когда на Дикобразовой реке стаял лед, он построил пирогу и поплыл вниз до слияния ее с Юконом у самого Полярного круга. Здесь стоял форт старого Общества Гудзонова Залива; тут было много индейцев, много пищи и царило необыкновенное оживление. Это было лето 1898 года, и тысячи золотоискателей направлялись вверх по Юкону в Даусон и Клондайк. Хотя до цели оставались еще сотни миль, многие из них были в пути уже целый год; некоторые, чтобы добраться сюда, прошли более пяти тысяч миль, а были и такие, что явились с края света.

Здесь Серый Бобр остановился. Шум золотого потока достиг его ушей, и он приехал сюда с несколькими тюками мехов, рукавиц и мокасинов. Он не решился бы на такое продолжительное путешествие, если бы не рассчитывал на хорошие барыши. Но действительность далеко превзошла все его ожидания. Самые смелые мечты Серого Бобра не простирались дальше ста процентов прибыли, а он нажил тысячу процентов. И, как настоящий индеец, он обосновался там надолго, чтобы как можно выгоднее и не торопясь распродать свой товар, хотя бы для этого пришлось остаться на все лето и часть зимы.

В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых людей. Сравнив их с индейцами, он понял, что это какие-то особенные существа, высшие боги. Ему казалось, что они обладают большей силой, а в силе, по его мнению, и сказывалась божественность. Белый Клык дошел до этого сознания не разумом, а чувством; он не сделал вывода, что белые боги потому-то и потому-то могущественнее индейцев, а просто почувствовал это всем своим существом.

Когда он был еще щенком, громадные юрты индейцев поразили его как проявление неслыханной мощи; теперь же он изумлялся при виде домов и фортов, выстроенных из массивных бревен. В этом он видел могущество, следовательно, белые боги были могущественнее. Они обладали большей властью над предметами, чем боги, которых он

знал до сих пор, в том числе и самый сильный из них Серый Бобр. Теперь Серый Бобр казался ему маленьким божком в сравнении с этими белокожими богами.

Разумеется, Белый Клык только чувствовал все это, а не сознавал. Но животное по большей части руководствуется чутьем, а не разумом, и каждый поступок Белого Клыка основывался теперь на чувстве, что белые люди — высшие боги. Вначале он относился к ним очень подозрительно. Ведь нельзя было знать, какие неизвестные ужасы они способны придумать и какую боль они могут причинить. Он с любопытством следил за ними, стараясь сам оставаться незамеченным. Первое время он довольствовался тем, что наблюдал за ними издали, но, заметив, что новые боги не причиняли никакого зла вертевшимся поблизости собакам, он отважился подойти к ним ближе.

В свою очередь он возбуждал в белых людях любопытство. Его волчий облик привлекал их внимание, и они указывали на него друг другу пальцами. Это не нравилось Белому Клыку, и, когда они старались подойти к нему, он скалил зубы и убегал. Ни одному из них не удалось дотронуться до него рукой, и это было счастьем для них.

Белый Клык вскоре понял, что только немногие из этих богов, не более полудесятка, постоянно живут здесь. Каждые два-три дня к берегу подходил пароход (новое бесспорное доказательство их могущества) и останавливался там на несколько часов. Белые люди сходили с этих пароходов и вновь исчезали на них. Казалось, что их было невероятное количество. В первые же дни он увидел гораздо больше белых богов, чем видел индейцев за всю свою жизнь, и каждый день они прибывали с низовьев реки, останавливались и снова продолжали путь вверх по реке.

Но если белые боги были всемогущи, то собаки их немногочисленности стоили. В этом Белый Клык скоро убедился, потолкавшись среди тех, которые сходили на берег вместе с хозяевами. Они были самого различного вида и роста. У одних были слишком короткие ноги, у других — слишком длинные. У од-

них были волосы вместо шерсти, а у некоторых этих волос было очень мало — и ни одна из них не умела драться.

В качестве отъявленного врага собачьей породы Белый Клык считал своим долгом вступать с ними в драку. Так он и делал и вскоре преисполнился к ним глубокого презрения. Они были слабы и беспомощны, поднимали отчаянную возню и старались брать силой там, где нужна была быстрота и хитрость. Они с лаем бросались на него, а он ловко отскакивал от них, и пока они соображали, куда он делся, он бросался на них, опрокидывал на землю и перегрызал им горло.

Иногда нападение бывало удачно, и смертельно раненная собака летела в грязь, где ее немедленно разрывала караулившая ее свора индейских собак. Белый Клык был хитер. Он давно уже знал, что боги сердятся, когда убивают их собак. Белые люди в этом не составляли исключения. Поэтому Белый Клык был всегда очень доволен, когда, сбив собаку с ног и перервав ей горло, он успевал удрать, предотвратив прикончить собаку своре. Тут обыкновенно прибежали белые люди и жестоко вымещали свою злобу на своре, а Белый Клык оставался невредим. Он стоял в стороне и смотрел, как камни и удары дубин сыпались на его собратьев. Он был очень хитер.

Но собаки индейской своры тоже развивались в некотором отношении, и вместе с ними умнел и Белый Клык. Они поняли, что забавы можно ожидать только в тот момент, когда причаливает к берегу пароход. После того, как им удавалось растерзать двух или трех собак, белые люди обычно задерживали остальных собак на пароходе и жестоко мстили виновным. Один белый человек, сеттера которого растерзали на его глазах, вытащив револьвер и выстрелив шесть раз, уложил шесть собак из своры. Это еще больше убедило Белого Клыка в могуществе белых людей.

Белый Клык наслаждался всем этим, так как не любил своих собратьев, а сам был достаточно хитер, чтобы избежать наказания. Вначале убивать собак белых людей было для него развлечением. Позже это стало его обычным занятием. Делать

ему было нечего. Серый Бобр был занят торговлей и богател, а Белый Клык в ожидании пароходов катался около пристани со сворой индейских собак. Не успевал пароход причалить, как начиналась потеха. Через несколько минут, прежде чем белые люди успевали опомниться, свора разбежалась до появления следующего парохода, когда потеха возобновлялась.

Белому Клыку не стоило особого труда затевать эти ссоры. Ему достаточно было только показаться в тот момент, когда чужие собаки сходили на берег, чтобы они немедленно бросились на него. Ими руководил инстинкт. Он являлся в их глазах олицетворением пустыни, загадочной и полной ужасов, вечной угрозой, таившейся в темноте за пределами костров первобытного человека, в то время как они, сидя у этих костров, приучались бояться этой пустыни, которую они навсегда покинули и предали. Этот страх все сильнее внедрялся в них в каждом поколении. Веками привыкли они считать все исходившее из этой пустыни ужасным и разрушительным. И в течение всего этого времени они пользовались полученным от хозяев правом убивать всякого обитателя этой пустыни. Поступая так, они защищали себя и своих богов, покровительством которых они пользовались.

И этим собакам, привезенным с мягкого Юга и спускавшимся по сходам на берег Юкона, достаточно было увидеть Белого Клыка, чтобы их немедленно охватывало желание броситься на него и разорвать его. Многие из них выросли в городе, но их инстинктивный страх перед хищниками был от этого не меньше. Не только своими глазами видели они в этот момент среди белого дня волка. Нет, они видели его, кроме того, глазами своих предков и в силу наследственной памяти узнавали в нем волка и вспоминали вековую вражду.

Все это наполняло дни Белого Клыка развлечениями. Стоило ему показаться, как чужие собаки бросались на него — на радость ему и на горе себе. Они смотрели на него как на законную добычу; так же смотрел на них и он.

Недаром же он увидел свет в мрачной берлоге и сражался в ранней молодости с птармиганом, лаской и рысью,

и недаром Лип-Лип и вся свора так усердно отравляли ему жизнь. Если бы все сложилось иначе, он мог бы стать другим. Не будь Лип-Липа, он провел бы свои детские годы с другими щенками, стал бы более похож на собаку и сроднился бы с ними. Если бы Серый Бобр понимал, что такое любовь и привязанность, он сумел бы проникнуть в душевные глубины Белого Клыка и открыть в нем хорошие качества. Но среда, в которой он находился, сделала его таким, каким он был в описываемое нами время: мрачным и одиноким, свирепым и бездушным, врагом всей собачьей породы.

ГЛАВА II

СУМАСШЕДШИЙ БОГ

Лишь небольшое количество белых людей постоянно проживало в форте Юкон. Эти люди уже давно обосновались в этой стране; они называли себя «кислым тестом» и очень гордились этим названием. Ко всем вновь прибывшим они относились с глубоким презрением. Новички были известны под кличкой чечако и пекли себе хлеб с помощью порошка для печенья. В этом заключалась основная разница между ними и теми, кто называл себя «кислым тестом»; последние в самом деле пекли свой хлеб на закваске, за неимением такого порошка.

Жители форта презирали новых пришельцев и всегда радовались, когда с ними случалась какая-либо неприятность. Особенное удовольствие доставляли им налеты Белого Клыка и его своры на собак новичков. При появлении парохода жители форта никогда не упускали случая выйти на берег и насладиться потехой. Они ожидали ее с таким же нетерпением, как и индейская свора, и вскоре оценили ту роль, которую играл здесь Белый Клык благодаря своей силе и хитрости.

Но особенно увлекался этим спортом один человек. При первом свистке парохода он со всех ног мчался к берегу, а когда драка кончалась и Белый Клык со своей сворой убегали, он медленно с грустным видом возвращался обратно в форт. Иногда, когда какая-нибудь породистая южная собака падала, издавая жалобный предсмертный стон под зубами своры, человек этот приходил в состояние экстаза и подпрыгивал, испуская восторженные крики. При этом он не спускал жадных глаз с Белого Клыка.

Человек этот носил в форте кличку Красавчик. Никто не знал его христианского имени, и все называли его просто Красавчик Смит. Однако его меньше всего можно было назвать красивым. Это просто было иронией, потому что он был редким уродом. Природа поскупилась на него. Маленького роста, с тщедушной фигуркой, на которой сидела еще более тщедушная голова, с макушкой, похожей на острие, он еще в детстве, до того как его прозвали Красавчиком, носил кличку Булавочная Головка.

Сзади, начиная от макушки, голова его спускалась как-то косо к шее и спереди вытягивалась в низкий и необычайно широкий лоб. И тут, как бы раскаявшись в своей скупости, природа щедрой рукой вылепила черты его лица. Глаза у него были большие, а в промежутке между ними могла свободно поместиться еще одна пара глаз. По сравнению с остальным туловищем лицо его казалось огромным: широкая, выдающаяся вперед нижняя челюсть спускалась почти до самой груди. Быть может, это только казалось так, ибо трудно было представить себе, чтобы такая тонкая, худая шея могла выдержать подобную тяжесть.

Челюсть эта придавала ему свирепый и решительный вид. Но чего-то не хватало для полноты впечатления, быть может, пропорции были чересчур гиперболичны или сама челюсть слишком велика. Во всяком случае, впечатление не соответствовало действительности, потому что Красавчик Смит был известен во всей округе как самый слабый и жалкий трус. В довершение всего его большие желтые зубы торчали на-

подобие клыков. Глаза у него были желтые и мутные, как будто у природы не хватило на них красок и она смешала вместе остатки из всех трубочек. То же можно было сказать о его редких и неровных грязно-желтых волосах, росших пучками на голове и лице наподобие спутанной и выветрившейся соломы.

Короче говоря, Красавчик Смит был уродом, но вины его в этом не было. Таким вылепила его природа, и он не мог отвечать за ее грехи. В форте он исполнял обязанности повара, мыл посуду и делал всякую грязную работу. Жители форта не презирали его; они относились к нему скорее снисходительно, по-человечески, как к существу, обиженному судьбой. Кроме того, они боялись его. Его трусливый и слабый нрав заставлял их опасаться выстрела в спину или подсыпанного в кофе яда. Но кто-нибудь должен был готовить пищу, а Красавчик Смит, при всех своих недостатках, умел стряпать.

Вот каков был человек, смотревший восхищенными глазами на Белого Клыка и горевший желанием завладеть им. С первого же дня он стал перед ним заискивать. Вначале Белый Клык игнорировал его. Позже, когда заигрывания Красавчика Смита сделались настойчивее, Белый Клык начал ерошить шерсть, показывать зубы и убегать от него. Ему не нравился этот человек, сердце его не лежало к нему. Он чутьем угадывал его зловредность и не доверял его ласково протянутой руке и вкрадчивой речи. Он ненавидел его.

Простые существа всегда понимают добро и зло просто. Добром они считают то, что дает удобство, удовлетворение и прекращает страдания, вот почему добро им нравится. Зло есть то, что причиняет страдание, боль и неприятности, и потому все его ненавидят. Белый Клык чуял присутствие этого зла в Красавчике Смите. От уродливого тела и извращенного ума этого человека исходили, как из зараженного лихорадкой болота, нездоровые испарения. Не путем рассуждения, не с помощью пяти чувств, а другим, более глубоким и неуловимым путем понял Белый Клык, что человек этот исполнен зла и порока и что его следует ненавидеть.

Белый Клык находился на стоянке Серого Бобра, когда Красавчик Смит явился туда впервые. При первом звуке отдаленных шагов, еще не видя его, Белый Клык угадал, кто идет, и злобно ошетинился. Он лежал, спокойно наслаждаясь отдыхом, но как только Красавчик Смит показался на пороге, он с настоящей волчьей повадкой выскользнул из комнаты и ушел на край стоянки. Он видел, как Красавчик Смит разговаривал с Серым Бобром, но не знал, о чем идет речь. Раз Красавчик Смит пальцем указал на него, и Белый Клык зарычал, как будто бы рука Красавчика Смита, находившаяся в действительности в пятидесяти ярдах от него, могла его коснуться. Увидя это, Красавчик Смит засмеялся, а Белый Клык убежал в лес, украдкой оглядываясь на бегу.

Серый Бобр отказался продать своего пса. Он разбогател от торговли и не нуждался ни в чем. Помимо того, Белый Клык был лучшей упряжной собакой, какую он когда-либо имел и какую можно было найти вдоль берегов рек Макензи и Юкона. Он умел играть. Он так же легко убивал собаку, как человек комара. (При этих словах индейца Красавчик Смит жадно облизал свои тонкие губы.) Нет, Белый Клык не продажный! Ни за какие деньги. Но Красавчик Смит знал нравы индейцев. Он часто навещал Серого Бобра и всегда приносил с собой пару черных бутылок. Одно из свойств виски — разжигать жажду. Серый Бобр испытал это. Его воспаленные слизистые оболочки и обожженный желудок требовали все больше и больше жгучей влаги, тогда как мозг, затуманенный этим возбуждающим напитком, толкал на все, лишь бы добыть его. Деньги, вырученные им от продажи мехов, рукавиц и мокасинов, начали таять. Они таяли все быстрее и быстрее, и чем меньше их становилось, тем больше усиливалось озлобление Серого Бобра.

В конце концов все деньги, имущество и злое настроенное — все пошло прахом. Осталась одна жажда, неутолимая и растущая с каждым трезвым дыханием. Тут Красавчик Смит снова заговорил с ним о продаже собаки, но на этот

раз он предложил заплатить за нее не долларами, а бутылками, и Серый Бобр стал слушать охотнее.

— Если ты поймаешь собаку, можешь взять ее, — были его последние слова.

Бутылки были доставлены, но через два дня Красавчик Смит потребовал от Серого Бобра, чтобы тот поймал собаку сам.

Однажды вечером Белый Клык пробрался из лесу к стоянке и испустил вздох облегчения. Грозный белый бог отсутствовал. Уже несколько дней он делал настойчивые попытки наложить руки на Белого Клыка, и последний вынужден был скрываться. Он не знал, каким злом угрожают ему эти руки, но чувствовал, что от них нечего ждать добра и что лучше их избегать.

Но не успел он улечься, как Серый Бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал вокруг его шеи ремень. Он сел рядом с ним, держа в одной руке конец ремня, в другой индеец держал бутылку, которую он время от времени опрокидывал себе в горло.

Прошел час, и шум шагов возвестил их о чем-то приходе. Белый Клык первый услышал эти шаги и ощетинился; Серый Бобр бессмысленно тряс головой. Белый Клык попробовал осторожно вытащить ремень из рук хозяина, но пальцы крепко сжимали ремень, и Серый Бобр очнулся.

Красавчик Смит вошел и остановился над Белым Клыком. Тот тихо зарычал на страшное существо, следя за движением его рук. Одна рука вытянулась и повисла над Белым Клыком; рычание его усилилось. Рука продолжала медленно опускаться над его головой, а Белый Клык весь съежился и исподлобья глядел на руку, рыча все громче и громче по мере того как она приближалась к нему. Вдруг он раскрыл пасть и кинулся на Красавчика, как змея. Рука отдернулась, и зубы его щелкнули в воздухе. Смит испугался и обозлился. Серый Бобр ударил Белого Клыка по голове, и тот послушно улегся на землю.

Однако он продолжал с подозрением следить за движениями людей. Он увидел, как Смит вышел и вернулся с тол-

стой дубиной. Затем Серый Бобр передал ему конец ремня. Смит собрался уходить; ремень натянулся; Белый Клык упирался. Тогда Серый Бобр несколькими ударами дубины заставил его подняться. Он повиновался, но, вскочив, бросился на человека, собиравшегося увести его. Красавчик Смит не отскочил; он ожидал этого. Он сильно ударил его, задержав прыжок на полпути, и заставил волка лечь на землю. Серый Бобр засмеялся и одобрительно кивнул головой. Смит снова потянул ремень, и Белый Клык, оглушенный ударом, прихрамывая потащился за ним.

Он не повторил нападения; одного удара дубиной было достаточно, чтобы убедить его в том, что боги знают свое дело, и он был слишком умен, чтобы бороться с неизбежным. Поэтому он мрачно последовал за Красавчиком Смитом, поджав хвост и слабо рыча. Красавчик Смит напряженно следил за ним, держа дубину наготове.

Придя в форт, Красавчик Смит крепко привязал Белого Клыка и пошел спать. Белый Клык прождал целый час, потом пустил в ход свои зубы, через десять секунд перегрыз ремень и очутился на свободе. Зубы его работали на славу. Он перегрыз кожу поперек так чисто, что можно было подумать, будто ее перерезали ножом. Белый Клык взглянул на форт, злобно зарычал и, повернувшись, побежал обратно к стоянке. Он не обязан был подчиняться этому чужому, злобному богу. Он покорился Серому Бобру и принадлежал только ему.

Но то, что произошло в первый раз, повторилось снова, хотя и с некоторой разницей. Серый Бобр снова привязал его ремнем и передал его наутро Красавчику Смицу. И вот тут-то сказала разница. Красавчик Смит избил его. Крепко привязанному Белому Клыку не оставалось ничего другого, как только бессильно злиться и терпеть. В дело пошли и дубина, и кнут; за всю жизнь он не испытывал такой трепки! Даже трепка, заданная ему когда-то Серым Бобром, была ничто в сравнении с этой.

Красавчик Смит восторгался своей работой и плавал в блаженстве. Он упивался видом своей жертвы, и глаза его

загорались тусклым огнем, когда он прислушивался к жалобным стонам и беспомощному рычанию Белого Клыка, ибо Красавчик Смит был жесток, как все труссы. Унижаясь и пресмыкаясь перед сильными, он охотно срывал свою злобу на слабых. Все живущее любит власть, и Красавчик Смит не был исключением. Не имея возможности властвовать над себе подобными, он отыгрывался на низших созданиях и вымещал на них свою злобу. Но Красавчик Смит не сам создал себя, и этого нельзя было ставить ему в вину. Он родился на свет с изуродованным телом и грубой душой, и свет недружелюбно встретил его.

Белый Клык знал, почему его бьют. Когда Серый Бобр обвязал ремень вокруг его шеи и передал другой конец его Красавчику Смигу, Белый Клык понял, что бог его желает, чтобы он пошел с Красавчиком Смитом. И когда Красавчик Смит привязал его у форта и ушел, он понял, что Красавчик Смит желает, чтобы он остался там. Таким образом, он нарушил волю обоих богов и понес заслуженное наказание. Ему и раньше приходилось видеть, что собаки переходили от одного хозяина к другому и также подвергались побоям, когда убегали от нового владельца.

Белый Клык был очень умен, но все же некоторые черты были развиты в нем еще сильнее ума — одной из таких черт была преданность. Он не любил Серого Бобра, но, даже наперекор его воле, зная, что он навлекает на себя его гнев, оставался верным хозяину. Тут он ничего не мог поделать. Эта преданность являлась отличительной особенностью его породы, особенностью, выделявшей его сородичей из ряда всех других животных и давшей возможность волкам и диким собакам стать друзьями человека.

Избив Белого Клыка, Красавчик Смит потащил его обратно в форт и на этот раз привязал его за палку. Но не легко отказаться от своего божества; так думал и Белый Клык. Серый Бобр был его собственным избранным богом, и Белый Клык был привязан к нему и не мог отказаться от него, даже вопреки его воле. Серый Бобр изменил ему и покинул

его, но это ничуть не повлияло на Белого Клыка. Недаром он добровольно отдался Серому Бобру телом и душой, нелегко было разрушить связывавшие их узы...

Итак, ночью, когда все обитатели форта уже спали, Белый Клык снова пустил в ход свои зубы. Палка, которой его привязали, была из хорошего сухого дерева и притом находилась так близко к его шее, что он с трудом мог достать до нее зубами. Только благодаря страшному напряжению мускулов и крутому повороту головы ему удалось вцепиться в палку зубами, и понадобилось бесконечное терпение и много часов упорных усилий, чтобы наконец перегрызть ее. Не всякая собака способна на такую штуку. Но Белый Клык сумел добиться своего, и рано утром он ушел из форта, волоча за собой кусок болтавшейся на шее палки.

Он был умен, но если бы он руководствовался одним только разумом, он не вернулся бы к Серому Бобру, который дважды предал его. Верность заставила его вернуться к прежнему хозяину, и тот предал его в третий раз. И опять он смирился, когда Серый Бобр обвязал ремень вокруг его шеи. Красавчик Смит снова пришел за ним. На этот раз его избили сильнее прежнего...

Серый Бобр тупо глядел, как белый человек размахивал кнутом; он не заступился за Белого Клыка: волк больше не принадлежал ему. Когда избивание закончилось, Белый Клык почувствовал себя совсем больным. Южная собака сдохла бы от таких побоев, но он прошел суровую школу жизни и сам был скроен из крепкого материала. Чересчур сильна была в нем жизненная хватка. Все же он чувствовал себя очень скверно. Сначала он не в состоянии был двигаться, и Красавчику Смигу пришлось ждать целых полчаса, пока он немного пришел в себя, затем полуослепленный, еле держась на ногах, он поднялся и поплелся за ним.

Но теперь Красавчик Смит посадил его на цепь, которая не поддавалась зубам, и он напрасно старался вырвать кольцо, ввинченное в толстый ствол. Несколько дней спустя отрезвевший и вконец разорившийся Серый Бобр отпра-

вился в далекое путешествие вверх по Дикобразовой реке до реки Макензи. Белый Клык остался в Юконе и сделался собственностью жестокого и полусумасшедшего зверя. Но что может знать пес о сумасшествии? Для него Красавчик Смит был настоящим, хотя и свирепым божеством. В худшем случае он был сумасшедшим божеством, но Белый Клык не понимал этого; он знал только, что ему надлежит повиноваться этому новому хозяину и исполнять все его желания и прихоти.

ГЛАВА III

В ЦАРСТВЕ НЕНАВИСТИ

Под руководством сумасшедшего бога Белый Клык превратился в настоящего демона. Его посадили на цепь в конуре позади форта, и здесь Красавчик Смит дразнил его и доводил до бешенства изощренными пытками. Человек этот вскоре обнаружил, что Белый Клык не выносит смеха, и никогда не упускал случая привести его в ярость своими насмешками. Он смеялся громким отвратительным смехом, показывая пальцем на Белого Клыка. В такие минуты разум покидал беднягу, и он становился еще безумнее своего хозяина.

Раньше Белый Клык был врагом только собачьей породы, и свирепым врагом. Теперь же он сделался врагом всего живого и стал еще свирепее прежнего. Красавчик Смит доводил его до такого состояния, что он начинал слепо и беспричинно ненавидеть все и вся. Он ненавидел цепь, которой был привязан, людей, глазевших на него через решетку конуры, собак, сопровождавших их и злорадно рычавших на него при виде его беспомощности. Он ненавидел даже дерево, из которого сделана была его конура. Но больше всех и сильнее всех он ненавидел Красавчика Смита.

Однако все, что проделывал с Белым Клыком Красавчик Смит, имело известную цель. Однажды несколько человек собралось вокруг конуры Белого Клыка. Красавчик Смит подошел к нему с дубиной в руке и снял с него цепь. Когда он вышел, Белый Клык принялся кружить по клетке, пытаясь добраться до стоявших вокруг людей. Он был великолепен в своей злобе. Имея полных пять футов длины и два с половиной вышины, он значительно превосходил весом волка соответствующего размера. От матери он унаследовал тяжелые формы собаки, так что, не имея ни одного золотника лишнего жира, он весил свыше девяноста фунтов. Он состоял из одних мускулов, костей и сухожилий — другими словами, обладал всеми данными, чтобы выйти победителем из всякой борьбы.

Дверь конуры открылась. Белый Клык замер. Готовилось что-то необыкновенное. Он ждал. Дверь отворилась шире, и в конуру вошла огромная собака, после чего дверь снова закрылась. Белый Клык никогда не видал такой собаки (это был водолаз), но ни размеры, ни свирепый вид гостя не смущали его. Это было нечто не похожее ни на железо, ни на дерево, на чем можно было сорвать свою злость. Он налетел на водолаза с оскаленными зубами и разорвал ему шею. Водолаз мотнул головой, зарычал и бросился на Белого Клыка. Но Белый Клык с быстротой молнии мелькал то тут, то там, повсюду; он неизменно увертывался от ударов, сам нападая и вовремя отскакивая от острых зубов врага.

Люди, стоявшие за решеткой, кричали и аплодировали, а Красавчик Смит, в каком-то диком экстазе, упивался зрелищем жестокой борьбы. С самого начала было ясно, что водолазу не уцелеть. Он был слишком неповоротлив и тяжел. Кончилось тем, что Красавчик Смит принялся лупить дубиной Белого Клыка, а владелец водолаза тем временем вытащил собаку из конуры. Затем приступили к уплате пари, и в руках Красавчика Смита зазвенели деньги.

С этого времени Белый Клык стал нетерпеливо ждать, чтобы люди снова собрались вокруг его конуры. Это озна-

чало борьбу, а борьба открывала единственный выход запасу жизненной энергии, накопившейся в нем. Измученный, полный ненависти ко всему свету, он был лишен свободы и мог насыщать эту ненависть лишь тогда, когда хозяин находил нужным впускать к нему другую собаку.

Красавчик Смит правильно оценил боевые качества волка, ибо тот неизменно выходил победителем из борьбы. В один прекрасный день к нему поочередно впустили трех собак, в другой раз — только что пойманного в лесу рослого волка. А однажды его свели одновременно с двумя собаками. Это было для него самым тяжелым испытанием, и хотя он, в конце концов, убил обеих, сам еле остался жив.

С наступлением зимы, лишь только выпал первый снег и река покрылась салом, Красавчик Смит взял два билета — себе и Белому Клыку — на пароход, отправлявшийся вверх по Юкону до Даусона. Белый Клык успел приобрести к тому времени громкую известность. Вся округа знала его по кличке Волк-Боец, и клетку, в которой он находился на палубе во время плавания, постоянно осаждала толпа любопытных. Он то неистовствовал и рычал на них, то глядел с холодной ненавистью. Он никогда не задавал себе вопроса, за что он их ненавидит. Он не знал ничего, кроме ненависти, и она сделалась его страстью. Жизнь стала для него адом. Он не был создан для тесного заключения, которому люди обыкновенно подвергают хищников. А между тем его как раз поместили в такие условия. Люди целыми днями глазели на него, просовывали через перекладыны клетки палки, чтобы заставить его зарычать, и, добившись своего, издевались над ним.

В этих условиях он день ото дня становился все свирепее и постепенно превзошел в этом отношении даже своих диких родичей. Но при этом природа наделила его умением приспособляться. Там, где другие животные давно умерли бы на его месте или сдались бы на милость победителя, он продолжал жить и не утрачивал бодрости духа. Возможно, что мучитель его и воплощенный сатана Красавчик Смит способен был сломить гордый дух Белого Клыка, но до сих пор это

не удавалось ему. Если в Красавчике Смите сидел Дьявол, то в Белом Клыке несомненно обитал его родной брат, и оба они пылали друг к другу непримиримой ненавистью. В прежнее время Белый Клык умел смиряться и покоряться при виде человека с дубиной в руке, но теперь он утратил эту способность. Один вид Красавчика Смита приводил его в дикую ярость. Когда же им приходилось сталкиваться и тот отгонял его палкой, он уходил рыча и обнажая клыки. Как бы жестоко его ни били, рычание не прекращалось, и когда, наконец, Красавчик Смит уходил, Белый Клык рычал ему вслед или бросался к прутьям своей клетки, громко выражая свою ненависть.

Когда пароход пришел в Даусон, Белый Клык сошел на берег, но он продолжал жить в клетке, на виду у людей. Его показывали как Волка-Бойца, и люди платили пятьдесят центов золотого песку, чтобы поглядеть на него. Он не знал покоя. Если он ложился спать, его тотчас же будили острой палкой, чтобы зрители могли получить за свои деньги полное удовольствие. Чтобы придать зрелищу больше интереса, его постоянно поддерживали в состоянии раздражения. Но ужаснее всего была атмосфера, в которой он жил. На него смотрели как на самого страшного из хищных зверей, и отношение это передавалось ему через перекладки клетки. Каждое слово, каждое осторожное движение в толпе укрепляло в нем сознание собственной свирепости и силы. Все это лишь подливало масла в огонь его злобы. Результат мог быть только один — свирепость его, питаясь собственными соками, росла бесконечно. Это могло служить лишним доказательством его способности приспособляться к условиям окружающей среды.

Но Белого Клыка не только выставляли напоказ, из него сделали профессионального бойца. Когда намечался поединок, его уводили за несколько миль от города, чаще всего в лес. Обычно это делалось ночью, чтобы избежать вмешательства канадской полиции. По истечении нескольких часов, чуть начинал брезжить свет, появлялись зрители

и собака, с которой должен был драться Белый Клык. Таким образом, ему приходилось бороться с собаками различных пород и размеров. Страна и нравы были дикие, и поединок, как правило, заканчивался смертью одного из бойцов.

Понятно, что раз Белый Клык продолжал сражаться, погибали его противники. Он никогда не знал поражения. Тренировка, полученная им в раннем детстве, постоянные драки с Лип-Липом и со сворой сослужили ему хорошую службу. Главным его козырем была устойчивость, с которой он держался на ногах. Ни одна собака не могла опрокинуть его. Излюбленный прием собак волчьей породы заключался в том, чтобы броситься на врага и неожиданным ударом в плечо постараться сбить его с ног. Собаки с реки Макензи, эскимосские и лабрадорские псы — все пробовали на нем этот прием и всегда неудачно. Он никогда не падал. Люди передавали это друг другу и каждый раз с нетерпением ожидали, что это может случиться, но он постоянно разочаровывал их.

У него было еще одно достоинство — молниеносная быстрота. Она давала ему громадное преимущество перед врагами. Весь их прежний опыт сводился на нет, ибо им никогда не приходилось встречать подобной быстроты в движениях; не забудьте прибавить к этому стремительность его атак. Всякая собака, прежде чем вступить в драку, считает нужным зарычать, взъерошить шерсть и поворчать, и таких собак Белый Клык сбивал с ног и приканчивал до того, как они успевали сообразить, в чем дело. Это повторялось так часто, что впоследствии вошло в обычай удерживать Белого Клыка, пока собака не закончит всех своих приготовлений и не бросится на него первая.

Но главное преимущество Белого Клыка заключалось в его опыте. Он больше понимал в борьбе, чем любая собака, с которой ему приходилось встречаться. Он боролся тысячи раз, умел отразить всякий прием, а его собственный метод был превосходен.

С каждым днем ему приходилось бороться все реже и реже. Люди отчаялись найти ему достойного противника, и Кра-

савчику Смиту приходилось выпускать против него волков. Индейцы ловили их капканами, и борьба между Белым Клыком и волком привлекала толпы народа. Раз его свели со взрослой рысью, и тут Белому Клыку пришлось драться не на жизнь, а на смерть. Ее быстрота не уступала его быстроте, ее злоба — его злобе, и в то время как она пускала в ход зубы и когти, он защищался одними зубами.

Но после рыси подходящего противника больше не находилось, и борьба должна была прекратиться сама собой. Поэтому зимой его только выставляли напоказ, пока на сцене не появился некий Тим Кинан. С ним вместе приехал первый бульдог, когда-либо встречавшийся в Клондайке. Встреча этого бульдога с Белым Клыком стала неизбежной, и целую неделю в некоторых кварталах только и было разговору, что о предстоящем бое.

ГЛАВА IV

В КОГТЯХ СМЕРТИ

Красавчик Смит снял цепь с шеи Белого Клыка и отступил. В первый раз Белый Клык воздержался от немедленного нападения. Он стоял, неподвижно насторожив уши, и с любопытством разглядывал находившееся перед ним странное животное. Он никогда еще не видел такой собаки. Тим Кинан толкнул бульдога вперед, пробормотав: «Возьми его!» Неуклюжее, уродливое, приземистое животное проковыляло к центру арены и остановилось перед Белым Клыком, глядя на него мигающими глазами.

Из толпы раздавались голоса: «Возьми его, Чироки! Разорви его, Чироки!»

Но Чироки, казалось, не очень стремился к драке. Он обернулся к толпе и добродушно помахал обрубок хвоста.

Он несколько не боялся, ему просто было лень. Кроме того, он был не совсем уверен, что ему следует бороться со стоявшей перед ним собакой: он не привык к таким и ждал, когда ему приведут настоящую.

Тим Кинан подошел к Чироки и, наклонившись над ним, стал гладить его по спине против шерсти, делая при этом легкие подталкивающие движения. В этих пассах заключалось не только внушение: они действовали на собаку еще и раздражающим образом. Чироки тихо и глухо заворчал. Чувствовалась какая-то ритмическая связь между этим ворчанием и поглаживаниями. Ворчание усиливалось при приближении руки к голове, затем утихло и возобновлялось при новом прикосновении. Конец каждого движения напоминал ритмический акцент, рычание резко обрывалось и через мгновение раздавалось снова.

Это произвело некоторое действие и на Белого Клыка. Шерсть его на шее и на спине начала подниматься. Тим Кинан последний раз подтолкнул бульдога и отошел. После того как физическое действие толчка прекратилось, Чироки стал уже по инерции быстро двигаться из стороны в сторону. Когда Белый Клык бросился в атаку, раздались восторженные крики. Он перескочил расстояние, отделявшее его от бульдога, скорее как кошка, чем как собака, и с той же кошачьей ловкостью он вонзил в него свои клыки, рванул и отступил.

У бульдога заструилась из-за уха кровь. Он не обратил на это внимания, даже не зарычал, но повернулся и побежал за Белым Клыком. Быстрота одного противника и упорство другого вызвали сильное возбуждение среди зрителей; они начали заключать новые пари, то и дело повышая ставки. Несколько раз подряд Белый Клык бросался на бульдога, кусал его и отскакивал невредимый, а его странный противник продолжал следовать за ним не слишком быстро и не слишком медленно, но уверенно, с деловитым видом. По-видимому, его тактика имела какую-то определенную цель, цель, которую он намерен был достигнуть и от кото-

рой ничто не могло его отвлечь. Эта решительность ясно сквозила во всем его поведении и в каждом движении.

Белый Клык был озадачен: он никогда не встречал такой собаки. Тело ее не было защищено шерстью, оно было мягкое и легко давало кровь. На бульдоге не было толстой шубы, которая могла бы оказать сопротивление зубам Белого Клыка, как бывало с собаками одной с ним породы. Всякий раз, как он впивался в своего врага, зубы его уходили в мягкое податливое тело, как будто животное не способно было защищаться. Еще одно обстоятельство крайне поражало его: противник не издавал ни единого звука; этого никогда не бывало с собаками, с которыми он боролся прежде. Не считая легкого ворчания, бульдог переносил получаемые удары и не переставал идти за Белым Клыком по пятам.

Не то чтобы Чироки был очень неповоротлив. Он тоже умел быстро оборачиваться и кружиться, но Белого Клыка никогда не оказывалось на месте. Чироки был озадачен не менее своего противника. Ему никогда раньше не приходилось драться с собакой, с которой нельзя было сцепиться. Желание сцепиться всегда являлось обоюдным у противников. А тут перед ним была собака, державшаяся все время на расстоянии от него и появлявшаяся то здесь, то там, повсюду. И, вонзив в него клыки, она не вцеплялась в него, а немедленно отпускала и отскакивала назад.

Однако Белый Клык никак не мог добраться до мягкой части горла противника. Бульдог был слишком низкого роста, и его массивные челюсти служили ему хорошей защитой. Белый Клык все продолжал нападать и отскакивать, и число ран у Чироки все увеличивалось. Его шея и голова были ободраны и истерзаны в клочья. Кровь струилась обильно, но это, казалось, не смущало его. Он продолжал упорно преследовать врага и только раз на минуту остановился, обвел прищуренными глазами окружавших его людей и замахал обрубок хвоста, как бы выражая этим свою готовность продолжать бой.

В эту минуту Белый Клык опять укусил его и отскочил, унося в зубах кусок его разорванного уха. Чироки обнаружил некоторые признаки раздражения и снова принялся преследовать противника, держась внутри круга, который описывал Белый Клык, и стараясь мертвой хваткой вцепиться ему в горло. Бульдог ошибся на волосок, и кругом раздались вопли восторга, когда Белый Клык, избежав опасности, отскочил на противоположную сторону арены.

Время шло. Белый Клык продолжал плясать, то нападая, то отступая и то и дело нанося раны противнику. А бульдог с мрачной уверенностью неотступно следовал за ним. Он знал, что рано или поздно добьется своего и, вцепившись в горло врага, одержит победу. А пока он спокойно принимал все муки, которые мог причинить ему этот враг. Уши его стали похожи на кисти, шея и спина были прокушены во многих местах, даже из губ его сочилась кровь, и все это были последствия тех молниеносных нападений, которых он не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

Несколько раз пытался Белый Клык сбить Чироки с ног. Но между ними была чересчур большая разница в росте. Чироки был слишком приземист, слишком близок к земле. Белый Клык все же сделал попытку использовать этот испытанный прием, но неудачно. Случай представился ему в тот момент, когда он проделывал одно из своих фантастических сальто-мортале. Он уловил секунду, когда голова бульдога была повернута в другую сторону. Плечо его не было защищено. Белый Клык бросился к нему, но его собственное плечо было настолько выше плеча бульдога и толчок был настолько силен, что сила инерции перебросила его через тело противника. Впервые за всю свою боевую жизнь Белый Клык потерял равновесие. Тело его почти перекувыркнулось в воздухе, и он, наверное, упал бы на спину, если бы не перевернулся тут же в воздухе, кошачьим движением стараясь опуститься на ноги. Он тяжело упал на бок. В следующее мгновение он уже стоял на ногах, но в тот же миг зубы Чироки впились в его горло.

Мертвая хватка вышла неудачной, так как Чироки вцепился в волка слишком низко, слишком близко к груди, но он не выпустил врага. Белый Клык вскочил на ноги и стал носиться кругом, как безумный, стараясь сбросить с себя бульдога. Эта присосавшаяся, впившаяся тяжесть приводила его в бешенство. Она связывала его движения, лишала их свободы. Это было подобие капкана, и весь инстинкт его глубоко возмущался против этой пытки. На несколько минут он как бы потерял рассудок. Им овладела безумная жажда жизни, и он перестал рассуждать. Мозг его затуманился от инстинктивного стремления тела жить и двигаться без конца, ибо движение есть высшее проявление жизни.

Он носился, как бешеный, вертелся, подскакивал и делал круг за кругом, стараясь стряхнуть с себя пятидесятифунтовую тяжесть, висевшую у него на шее. Бульдог не разжимал зубов. Иногда, правда, редко, ему удавалось коснуться лапами земли и на минуту задержать движения Белого Клыка, но в следующее мгновение тот снова начинал бешено кружиться, увлекая его с собой. Чироки поступал так, как подсказывал ему инстинкт. Он знал, что поступает правильно, не выпуская горла противника, и минутами испытывал блаженное состояние довольства. В такие моменты, зажмурив глаза, он позволял противнику трепать во все стороны свое тело, не обращая внимания на причиняемые ему мучения. Хватка в борьбе была все, и этой хватки он держался.

Белый Клык остановился только тогда, когда почувствовал, что выбился из сил. Он ничего не мог поделать и ничего не понимал. За всю свою жизнь он не встречал ничего похожего. Собаки, с которыми ему приходилось драться, боролись иначе: он бросался на них, кусал и отскакивал.

Он лег почти на бок, тяжело дыша. Не разжимая зубов, Чироки начал напирать на него, стараясь совсем повалить его на бок. Белый Клык сопротивлялся. Он чувствовал, как челюсти бульдога, слегка сжимаясь и разжимаясь, жевательным движением подбираются все выше к его горлу. Система бульдога заключалась в том, чтобы удерживать то,

что он приобрел, и стараться при малейшей возможности приобрести больше. Возможность эта являлась тогда, когда Белый Клык оставался неподвижным; когда же он боролся, Чироки довольствовался тем, что имел.

Выгнутая спина Чироки была единственным местом, до которого Белый Клык мог добраться зубами. Он впился в его мягкое тело у основания шеи, но он не был знаком с жевательными приемами борьбы, да и челюсти его не были приспособлены к ним. Он умел только наносить своими клыками рваные раны. Но тут положение противников изменилось. Бульдозу удалось, наконец, опрокинуть волка на спину, и он очутился теперь над ним, продолжая по-прежнему держать его за горло. С ловкостью кошки Белый Клык поднял задние лапы и, ударяя ими врага по животу, начал разрывать ему брюхо своими сильными когтями. У Чироки наверное вывалились бы все внутренности, но он быстро отскочил в сторону и, не выпуская горла, остановился под прямым углом к телу Белого Клыка.

От этой хватки не было спасения. Она была неумолима, как рок. Зубы врага медленно приближались к яремной вене. Белого Клыка спасала от смерти только подвижная кожа на шее и густая шерсть. Благодаря этим особенностям во рту у Чироки образовался толстый валик, задерживавший движение его зубов. Но постепенно, дюйм за дюймом, он набирал все больше и больше этой кожи и потихоньку начинал душить Белого Клыка. Бедняге с каждым мгновением становилось труднее дышать.

Было ясно, что борьба должна скоро кончиться. Поставившие на Чироки приходили в восторг и предлагали нелепые пари; сторонники Белого Клыка были в такой же мере подавлены и отказывались отвечать одним против десяти и даже двадцати. Один ловкач все же заключил пари на условии пятидесяти против одного. Это был Красавчик Смит. Он вошел на арену и ткнул пальцем в сторону Белого Клыка. Затем разразился презрительным смехом. Это возымело свое действие. Белый Клык пришел в бешенство.

Он напряг последние силы и очутился на ногах. Но когда он снова закружился, волоча на себе пятидесятифунтового врага, злоба его перешла в панический страх. В нем снова проснулось безумное желание жить, и разум его умолк перед страстным призывом плоти. Описывая бесконечные круги, спотыкаясь, падая и снова вскакивая, поднимаясь даже на задние лапы, он тщетно прилагал все усилия, чтобы сбросить с себя цепкую смерть.

Наконец, выбившись из сил, он упал на спину; бульдог быстро стал приближаться к его горлу, забирая в рот все больше и больше пушистых складок, покрывавших шею Белого Клыка, который начинал уже задыхаться. Раздались крики одобрения и возгласы: «Чироки!» «Чироки!» — так приветствовали победителя. Чироки отвечал на аплодисменты усиленным вилянием своего обрубленного хвоста. Но знаки одобрения ни на минуту не отвлекали его от намеченной цели. Его хвост и могучие челюсти действовали совершенно самостоятельно. Хвост мог вилять, но зубы продолжали крепко сжимать горло Белого Клыка.

В эту минуту в рядах зрителей произошло замешательство. Раздался звон колокольчика и голоса погонщиков собак. Все, за исключением Красавчика Смита, с тревогой оглянулись, опасаясь появления полиции. Но вместо представителей власти они увидели двух человек, которые бежали рядом с нартами по направлению к городу, а не оттуда. Они, очевидно, возвращались после каких-либо изысканий на верховьях ручья. Увидев толпу, путешественники остановили собак и подошли ближе, разузнать, в чем дело. У погонщика были усы, но его спутник, молодой и высокого роста, был гладко выбрит, и щеки его розовели от горячей крови и бега на морозе. Белый Клык, в сущности, уже не боролся. Он, правда, делал еще судорожные движения, но они ни к чему не приводили. Он еле дышал, и с каждой секундой воздух все труднее проникал через его сдавленное горло. Несмотря на защищавшую его толстую шкуру, бульдог давно бы добрался до артерии и давно перегрыз бы ему горло,

если бы он сразу не вцепился слишком низко. Ему понадобилось много времени, чтобы постепенно изменить положение челюстей, к тому же набравшиеся ему в рот шерсть и складки кожи сильно стесняли его.

Тем временем в большом мозгу Красавчика Смита проснулись звериные инстинкты, окончательно затмив то небольшое количество здравого смысла, которым он еще обладал. Заметив, что глаза Белого Клыка остекленели, он окончательно утратил всякую надежду на победу. Он подскочил к Белому Клыку и начал свирепо лягать его ногами. Из толпы поднялись крики протеста и возмущения, но никто не трогался с места. Вдруг в рядах зрителей произошло замешательство. Высокий молодой человек, работая руками и локтями, быстро пробирался через толпу. В тот момент, когда он прорвался на арену, Красавчик Смит как раз готовился лягнуть Белого Клыка. Он стоял на одной ноге, с трудом сохраняя равновесие. В ту же минуту незнакомец со всей силой ударил его кулаком по лицу. Нога, на которую опирался Красавчик Смит, отделилась от земли, и он, перекувыркнувшись в воздухе, упал на спину в снег. Тогда молодой человек обратился к толпе: «Труссы! — крикнул он. — Скоты!»

Он сам был в ярости, но ярость его имела под собой здоровую почву. Серые глаза, обращенные к толпе, сверкали стальным блеском.

Смит поднялся на ноги и, тяжело дыша, несмело подошел к нему. Незнакомец не понял. Не зная, с каким низким трусом он имеет дело, он подумал, что тот хочет драться. С криком: «Скотина!» он вторичным ударом нога опрокинул его в снег. Красавчик Смит решил, что снег, на который он свалился, является для него в данный момент самым безопасным убежищем, и больше не делал попыток встать.

— Иди сюда, Мат, помоги мне, — обратился незнакомец к погонщику, который последовал за ним на арену.

Оба они наклонились над собаками. Мат схватил Белого Клыка, чтобы оттащить его, лишь только удастся разжать челюсти Чироки. Молодой человек попытался сделать это, сжав челюсти бульдога и стараясь руками раскрыть ему пасть. Но попытка эта ни к чему не привела. Дергая, разжимая, выворачивая эти челюсти, он то и дело приговаривал: «Скоты!»

Толпа заволновалась, со всех сторон раздались возгласы протеста: с какой стати им мешают развлекаться? Но эти возгласы немедленно стихли, когда молодой человек, на минуту оторвавшись от своего занятия, поднял на них злобные глаза:

— Проклятые скоты! — выкрикнул он наконец и снова занялся своим делом.

— Это бесполезно, мистер Скотт, вы никогда не разожмете их таким образом, — сказал Мат.

Оба с минуту молча смотрели на сцепившуюся пару собак.

— Кровь только сочится, — заметил Мат, — он еще не добрался до артерии.

— Но он может добраться до нее каждую секунду, — возразил Скотт.

Опасения молодого человека за судьбу Белого Клыка росли с каждой минутой. Он несколько раз сильно ударил Чироки по голове, но тот не разжал челюстей. Бульдог только помахал обрубком хвоста, как бы говоря этим, что он прекрасно понимает, чего от него требуют, но не желает отказаться от своего права и намерен выполнить свой долг до конца.

— Неужели никто из вас не может помочь? — с отчаянием обратился молодой человек к толпе.

Но никто не предложил своей помощи. Вместо этого из толпы слышались насмешки и посыпались самые невероятные советы.

— Придется сделать рычаг, — сказал Мат.

Молодой человек вынул из кобуры револьвер и попытался просунуть его ствол между челюстями бульдога. Он про-

талкивал его с такой силой, что до толпы отчетливо донесся стук стали о стиснутые зубы собаки. Вдруг Тим Кинан появился на арене. Он остановился около Скотта и, тронув его за плечо, грозно сказал:

— Слушайте, незнакомец, не сломайте ему зубы!

— В таком случае я сломаю ему шею, — возразил Скотт, продолжая проталкивать ствол револьвера.

— Повторяю вам, не вздумайте сломать ему зубы, — повторил Тим, на этот раз еще более внушительно.

Но его грозное замечание не возымело никакого действия. Скотт ни на минуту не прекратил своей работы; он холодно взглянул на Кинана и спросил:

— Ваша собака?

Кинан утвердительно кивнул.

— В таком случае подойдите сюда и разожмите ей челюсти.

— Знаете что, — раздраженно ответил тот, — не я выдумал бульдожью хватку, и я не имею понятия, как с ней справиться.

— Тогда убирайтесь вон и не мешайте мне, — последовал ответ, — я занят.

Тим Кинан продолжал стоять, но Скотт больше не обращал на него внимания. Ему удалось всунуть дуло револьвера с одной стороны, и он всячески старался, чтобы оно вышло с другой. Добившись этого, он понемногу начал нажимать на рычаг, осторожно раздвигая челюсти, а Мат так же осторожно стал освобождать искалеченную шею Белого Клыка.

— Приготовьтесь взять вашу собаку, — резко приказал Скотт владельцу Чироки.

Тим Кинан послушно нагнулся и схватил бульдога.

— Теперь тащите, — крикнул Скотт, в последний раз нажимая револьвером.

Собак разъединили, причем Чироки отчаянно сопротивлялся.

— Уведите его, — скомандовал Скотт, и Тим Кинан вместе с Чироки скрылся в толпе.

Белый Клык сделал несколько безрезультатных попыток встать. Наконец ему удалось приподняться, но ноги его были слишком слабы, чтобы выдержать тяжесть тела, и он вновь опустился на снег. Глаза его были почти закрыты и стали совсем стеклянными. Из разинутой пасти свешивался язык. Казалось, что он мертв. Мат внимательно осмотрел его.

— Еще немного, и был бы ему каюк, — сказал он, — но дышит он хорошо.

Красавчик Смит тем временем поднялся на ноги и подошел посмотреть на Белого Клыка.

— Мат, сколько стоит хорошая упряжная собака? — спросил Скотт.

Погонщик все еще стоял на коленях, наклонившись над Белым Клыком, и минуту соображал.

— Триста долларов, — сказал он.

— А сколько можно дать за изуродованную, вот как эта? — спросил Скотт, касаясь ногой Белого Клыка.

— Половину, — решил погонщик.

Скотт обернулся к Смицу:

— Вы слышали, господин подлец? Я возьму вашу собаку и дам вам за нее сто пятьдесят долларов.

Он вынул бумажник и отсчитал деньги.

Красавчик Смит заложил руки за спину, отказываясь взять протянутые ему деньги.

— Я не продаю собаки, — сказал он.

— А я говорю вам, что продаете, — убедительно сказал молодой человек. — То есть я покупаю ее. Вот ваши деньги. Собака моя.

Красавчик Смит, все еще держа руки за спиной, начал отступать.

Скотт бросился к нему с поднятым кулаком. Красавчик Смит весь съезился в ожидании удара.

— Я имею на нее право, — промычал он.

— Вы потеряли всякое право на эту собаку, — был ответ. — Возьмете вы деньги или мне придется ударить вас?

— Хорошо, — испуганно проговорил Красавчик Смит. — Но имейте в виду, что я подчиняюсь насилию, — добавил он. — Эта собака — золото, и я не допущу, чтобы меня грабили. У всякого человека есть свои права.

— Правильно, — ответил Скотт, передавая ему деньги. — У всякого человека есть свои права, но вы не человек, а скотина.

— Дайте мне только добраться до Даусона, — с угрозой произнес Красавчик Смит. — Уж я найду там на вас управу.

— Если вы только посмеете заикнуться об этом в Даусоне, я велю выгнать вас из города. Поняли?

Красавчик Смит проворчал что-то.

— Поняли? — злобно прогремел Скотт.

— Да, — пробормотал, отвернувшись, Смит.

— Что да?

— Да, сэр, — буркнул Смит.

— Берегитесь, он укусит, — крикнул кто-то, и громкий хохот огласил воздух.

Скотт повернулся к нему спиной и подошел к Мату, который продолжал возиться около Белого Клыка.

Часть зрителей начала расходиться; другие разделились на группы, обмениваясь впечатлениями. Тим Кanan приблизился к одной из них.

— Кто эта рожа? — спросил он.

— Это Видон Скотт, — ответил кто-то.

— А кто же этот Видон Скотт, черт возьми? — продолжал Тим.

— О, инженер, один из первых специалистов по золотому делу! Он в лучших отношениях с самыми большими тузами. Если хочешь избежать неприятностей, вот тебе мой совет: держись от него подальше. Он на короткой ноге со всеми важными шишками. Сам комиссар по золотым делам ему первый друг.

— Я сразу понял, что он важная птица, — заявил Кинан, — и только потому не расправился с ним по-свойски.

ГЛАВА V

НЕУКРОТИМЫЙ

— Это безнадежно, — заявил Видон Скотт. Он сидел на ступеньках своей хижины и глядел на погонщика собак, который с таким же безнадежным видом пожимал плечами.

Оба они взглянули на Белого Клыка, который сидел на цепи, ошестинившись, рыча и всеми силами стараясь добраться до упряжных собак. Получив от Мата несколько основательных уроков дубиной, собаки приучились не трогать Белого Клыка; в эту минуту они лежали в стороне, как будто забыв о его существовании.

— Это настоящий волк, и нет никакой надежды приручить его, — повторил Видон Скотт.

— Я не сказал бы этого, — возразил Мат. — Возможно, что в нем много собачьей крови. Но одно я знаю достоверно — и этого не вычеркнешь.

Погонщик умолк и глубокомысленно кивнул головой в сторону Оленьей Горы.

— Да ну же, что ты знаешь? — нетерпеливо сказал Скотт после короткого молчания. — Выкладывай. В чем дело?

Погонщик движением большого пальца через плечо указал на Белого Клыка.

— Волк он или собака — это не важно; дело в том, что он уже был когда-то ручным.

— Не может быть!

— Говорю вам, что так. Он носил хомут. Взгляните-ка. Разве вы не видите следов у него на груди?

— Ты прав, Мат. Он был упряжной собакой, перед тем как попал к Красавчику Смигу.

— И я не вижу причины, почему бы он не мог снова сделаться упряжной собакой.

— Ты думаешь? — радостно спросил Скотт. Но надежда тотчас же погасла в его глазах, и он с сомнением покачал головой.

— Вот уже две недели, как он у нас, а между тем он чуть ли не злее, чем был раньше.

— Подождите, дайте время, — советовал Мат. — Спустите его с цепи.

Скотт посмотрел на него недоверчиво.

— Да, — продолжал Мат, — я знаю, что вы уже пробовали, но вы не пускали в ход дубины.

— В таком случае попробуй сам.

Погонщик достал дубину и подошел к сидевшему на цепи зверю. Белый Клык следил за дубиной, подобно тому как посаженный в клетку лев смотрит на хлыст укротителя.

— Вы видите, как он не сводит глаз с дубины. Это хороший признак, — сказал Мат. — Он не глуп и не бросится на меня, пока я держу дубину. Он далеко не сумасшедший.

Когда рука человека приблизилась к шее Белого Клыка, он съезжился, ошетинился и зарычал. Но, следя за движением руки человека, он в то же время не спускал глаз с поднятой над ним дубины. Мат снял с него цепь и отошел.

Белый Клык едва мог поверить, что он на свободе. Много месяцев прошло с тех пор, как он попал к Красавчику Сми-ту, и за все это время он не знал ни минуты свободы, за исключением тех часов, когда дрался с собаками. Но сразу же после окончания борьбы он снова попадал в неволю.

Он не знал, что ему делать с этой вновь обретенной свободой. Может быть, боги задумали какой-нибудь новый дьявольский план? Он прошелся медленно и осторожно, каждую минуту ожидая нападения. Все это было настолько ново, что он не знал, какую ему избрать тактику. Он решил держаться подальше от двух глядевших на него богов и осторожно отошел к дальнему углу хижины. Однако ничего не произошло. Он был настолько озадачен, что вернулся назад и, остановившись в двенадцати шагах, стал пристально глядеть на них.

— А он не убежит? — спросил его новый владелец.

Мат пожал плечами:

— Нужно рискнуть. Единственный способ убедиться — это испытать его.

— Бедняга, — с состраданием промолвил Скотт. — Ему нужнее всего человеческая ласка, — добавил он, поворачиваясь к входу в хижину. Он вышел оттуда с куском мяса и бросил его Белому Клыку. Пес отскочил и стал издали подозрительно рассматривать подачку.

— Прочь, Майор! — закричал Мат.

Но было уже поздно! Майор бросился на мясо. В тот момент, как он схватил его зубами, Белый Клык кинулся на Майора. Тот упал. Мат устремился на помощь, но Белый Клык был быстрее его. Майор встал, шатаясь, на ноги, но кровь, хлынувшая из его горла, широким пятном обгарила снег.

— Очень жаль, но он получил поделом, — быстро проговорил Скотт.

Но Мат успел уже ударить Белого Клыка ногой. Прыжок, щелкнули зубы, и резкий крик огласил воздух. Белый Клык с злобным рычанием отскочил на несколько ярдов, а Мат нагнулся, чтобы исследовать свою ногу.

— Здорово разукрасил, — он указал на разорванные штаны и нижнее белье и растущее кровавое пятно.

— Я говорил тебе, Мат, что это безнадежно, — промолвил упавшим голосом Скотт. — Я много думал об этом и вижу, что остается только одно средство, к нему и придется прибегнуть.

С этими словами он вынул револьвер, открыл барабан и удостоверился в том, что он заряжен.

— Слушайте, мистер Скотт, — сказал Мат, — эта собака слишком долго жарилась в аду, чтобы так сразу превратиться в ангела. Дайте ей время.

— Взгляни на Майора, — возразил хозяин.

Погонщик посмотрел на раненую собаку. Она лежала на снегу в большой луже крови, при последнем издыхании.

— Поделом ей. Вы сами это сказали, мистер Скотт. Она хотела украсть мясо у Белого Клыка и за это поплатилась. Иначе и быть не могло. Я сам не дал бы ни одного гроша за собаку, которая не сумела бы защитить своего куска мяса.

— Но посмотри на себя, Мат. Все это ничего, когда дело идет о собаках, но ведь есть границы...

— И мне поделом, — упрямо сказал Мат. — Зачем я ударил его? Вы сами сказали, что он был прав; следовательно, я не имел права его бить.

— Самое лучшее, что можно для него сделать, это убить его, — сказал мистер Скотт. — Приручить его невозможно.

— Послушайте, мистер Скотт, дайте бедняге опомниться. Он еще не имел этой возможности. Он только что вышел из ада и в первый раз почувал свободу. Имейте терпение, и если он не исправится, я сам пристрелю его. Вот!

— Бог свидетель, что я вовсе не хочу убивать его, — ответил Скотт, пряча револьвер. — Мы оставим его на свободе и посмотрим, чего можно будет добиться от этого волка добром. Я сейчас сделаю опыт.

Он подошел к Белому Клыку и заговорил с ним ласково и мягко.

— Вооружитесь лучше дубиной, — посоветовал Мат.

Белый Клык насторожился: что-то грозило ему. Он убил собаку своего бога, укусил его товарища, и ему не оставалось ждать ничего другого, как страшного наказания. Но он и не думал смириться. Он оцетинился, обнажил зубы, глаза его заблестели, и все тело напряжилось, готовясь к нападению. У бога не было в руках дубины, и Белый Клык позволил ему подойти совсем близко. Рука бога протянулась и начала опускаться над его головой. Белый Клык съежился и насторожился. Тут-то и таилась опасность — предательство или что-нибудь в этом роде. Он хорошо знал, до чего властны и хитры человеческие руки. Кроме того, он не выносил прикосновения. Он зарычал еще более грозно и еще больше съежился, но рука продолжала опускаться. Он не хотел укунить эту руку и сносил приближение ее до тех пор, пока

пробудившийся инстинкт не опьянил его ненасытной жаждой жизни.

Видон Скотт полагал, что всегда сумеет избежать укуса, но ему пришлось познакомиться на деле с необычайной быстротой Белого Клыка, который напал с уверенностью и проворством свернувшейся змеи.

Скотт вскрикнул от боли и зажал здоровой рукой насквозь прокушенную кисть. Мат крепко выругался и подбежал к нему. Белый Клык попятился, скаля зубы и грозно глядя на людей. Теперь он мог ожидать еще худших побоев, чем те, которыми награждал его Красавчик Смит.

— Стой! Что ты собираешься делать? — вдруг крикнул Скотт, увидев, что Мат вбежал в хижину и выскочил оттуда с ружьем.

— Ничего, — тихо ответил тот с кажущимся равнодушием, — я только собираюсь сдержать данное вам обещание. Должен же я его убить, раз сказал, что убью?

— Нет, не должен...

— Должен! Вот посмотрите!..

Так же, как заступился Мат за Белого Клыка, когда тот укусил его, так вступился за него теперь Скотт.

— Ты говорил, что надо дать ему возможность исправиться. Так дай же ее. Мы только что приняли за него; нельзя же сразу ожидать результатов. На этот раз и мне поделом. А теперь взгляни на него.

Белый Клык, прижавшись к углу хижины, в сорока шагах от них, злобно рычал, но не на Скотта, а на погонщика.

— Вот тебе на! — выразил погонщик свое удивление.

— Посмотри, какой он умный, — быстро продолжал Скотт. — Он так же хорошо понимает значение огнестрельного оружия, как и мы. Он удивительно умен, и надо дать возможность развиться этому уму. Положи ружье.

— Хорошо, — согласился Мат и прислонил ружье к лежащим рядом дровам.

— Что вы на это скажете? — воскликнул он в следующее мгновение.

Белый Клык улегся и перестал рычать.

— Это надо расследовать. Посмотрим.

Мат схватился за ружье; в ту же минуту Белый Клык снова зарычал. Погонщик отставил ружье в сторону, и пес смолк и спрятал клыки.

— А теперь, шутки ради!..

Мат взял в руки ружье и стал медленно поднимать его вверх. При этом движении снова раздалось рычание Белого Клыка, которое усиливалось по мере приближения ружья к плечу. Но раньше, чем Мат успел прицелиться, пес отскочил за угол хижины. Мат удивленно смотрел на опустевшее на снегу место.

Погонщик торжественно поставил ружье на землю и, обернувшись к своему хозяину, сказал:

— Я согласен с вами, мистер Скотт: эта собака слишком умна для того, чтобы убивать ее.

ГЛАВА VI

ЛЮБИМЫЙ ХОЗЯИН

Когда Белый Клык заметил приближение Видона Скотта, он ошетинился и зарычал, давая этим понять, что не допустит наказания. Двадцать четыре часа прошло с тех пор, как он прокусил руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи. У Белого Клыка сохранились от прежнего времени воспоминания об отсроченных наказаниях, и он боялся, что именно это его ожидает. Как могло быть иначе? Он совершил то, что сам считал святотатством: он вцепился клыками в священную руку бога, да еще вдобавок высшего, белого бога. Считаясь с порядком вещей и взаимоотношениями, существовавшими между богами и животными, ему следовало ожидать самого страшного наказания.

Бог уселся в нескольких шагах от него. Белый Клык не мог усмотреть в этом никакой опасности. Когда боги чинили расправу, они стояли на ногах. К тому же у этого бога не было в руках ни дубины, ни кнута, ни оружия. А главное, он сам был на свободе. Его не удерживали ни цепь, ни палка. Он всегда мог убежать, если бы бог вскочил на ноги. Пока же он решил ждать и смотреть.

Бог оставался спокойным и не двигался; рычание Белого Клыка постепенно перешло в легкое ворчание и, наконец, смолкло. И тут бог заговорил. При первом звуке его голоса шерсть на шее Белого Клыка поднялась, и рычание подступило к горлу. Но бог не сделал никакого враждебного движения и продолжал спокойно говорить. Некоторое время Белый Клык рычал в унисон с человеческим голосом, но бог говорил без конца. Он говорил с Белым Клыком так, как никто еще не говорил с ним до этих пор. Он говорил мягко и тихо, с глубокой нежностью, которая как-то и где-то находила отклик в Белом Клыке. Наперекор своему инстинкту и вопреки желанию Белый Клык почувствовал доверие к своему богу. Несмотря на весь его горький опыт, чувство безопасности охватило его.

Прошло несколько времени, прежде чем бог поднялся и вошел в хижину. Белый Клык подозрительно взглянул на него, когда он снова вышел оттуда. В руках у него не было ни дубины, ни кнута, ни другого оружия. Здоровая рука его не была заложена за спину, а это означало, что он ничего не прячет в ней. Он снова уселся на прежнее место, в нескольких шагах от волка, и протянул ему маленький кусочек мяса. Белый Клык насторожился и подозрительно осмотрел его, следя одновременно и за мясом, и за движениями бога, готовый немедленно отскочить при первых признаках враждебного намерения.

Но наказание все еще не приходило. Бог просто держал у самого его носа кусочек мяса, в котором, казалось, не было ничего необыкновенного. Но Белый Клык продолжал относиться недоверчиво к подачке, и хотя рука, державшая

мясо, протягивалась к нему вполне дружелюбно, он не трогал его. Он знал, что боги необычайно изобретательны, и кто знает, какой обман мог скрываться в этом безобидном на вид куске мяса? По прежнему его опыту, в особенности когда ему приходилось иметь дело с индейскими женщинами, мясо и наказание часто следовали одно за другим.

В конце концов, бог бросил мясо в снег к лапам Белого Клыка. Пес тщательно обнюхал мясо, ни на минуту не спуская глаз с бога. Ничего, однако, не случилось. Он схватил мясо и проглотил. И опять ничего не произошло; только бог предлагал ему другой кусок мяса. Он снова отказался взять его из рук, и кусок был брошен к его ногам. Это повторилось несколько раз. Но настал момент, когда бог отказался бросить ему кусок; он держал его в руке, настойчиво предлагая Белому Клыку лакомство.

Мясо было вкусное, а Белый Клык голоден. Шаг за шагом, осторожно приблизился он к богу. Наконец он решил взять мясо из рук. При этом он не спускал глаз с бога, голова его была вытянута вперед, уши прижаты, а шерсть так и ходила ходуном. Глухое ворчание, вырывавшееся из его горла, служило как бы предупреждением, что он не позволит шутить над собой. Он съел мясо и с удивлением убедился, что ничего не произошло. Наказание, по-видимому, откладывалось. Он облизался и стал ждать. Бог заговорил. В его голосе слышны были ласковые ноты, о которых Белый Клык не имел до этого времени никакого понятия. И при звуке этого голоса в нем зашевелились какие-то новые ощущения, о которых он ничего не знал раньше. Он почувствовал что-то вроде удовольствия, смутного удовлетворения, точно какая-то пустота заполнилась вдруг в его душе, насытилась какая-то потребность. Но тут в нем снова заговорил инстинкт, подсказывавший ему опасаться богов, которые умели всякими путями добиваться своих целей.

Ага, он так и думал! Над его головой снова появилась рука бога, умеющая причинять боль. Но бог продолжал говорить. Голос его звучал ласково и мягко. Несмотря на грозную

руку, голос внушал доверие, а несмотря на успокоительно действующий голос, рука внушала опасения. В Белом Клыке боролись самые противоположные чувства. Ему казалось, что душа его разорвется, настолько велики были в нем борьба и те усилия, которые ему приходилось делать, чтобы не дать проявиться ни одному из этих чувств.

Он пошел на компромисс. Он рычал, ерошил шерсть, прижимал назад уши, но не кусался и не отскакивал. Рука опускалась все ниже и ниже. Наконец она коснулась его взерошенной шерсти. Он съежился. Рука плотнее прижалась к нему; дрожа и ежась, он все же старался сдерживать себя. Прикосновения этой руки были для него мучением. Он не мог в один день забыть все зло, причиненное ему человеческими руками. Но такова была воля нового бога, и он старался подчиниться ей.

Рука поднималась и опускалась, глядя и лаская его. Это продолжалось некоторое время, и всякий раз, как поднималась рука, за ней поднималась и шерсть. И каждый раз, как рука опускалась, уши прижимались, и из горла Белого Клыка вылетало глухое ворчание. Это было предостережением. Таким образом он заявлял, что готов мстить за всякое зло, которое может быть ему причинено. Никто не мог знать, когда могут вдруг проявиться скрытые намерения бога. Любую минуту этот мягкий, внушающий доверие голос мог перейти в злобный крик, а ласкающая рука — превратиться в жестокие тиски и подвергнуть его суровому наказанию.

Но бог продолжал ласково говорить, и рука продолжала гладить, не выказывая никаких враждебных намерений. Белый Клык испытывал двойное чувство: прикосновение руки было ненавистно ему, так как шло наперекор его инстинкту, связывало его, обращало его собственную волю против стремления к личной свободе. С другой стороны, оно не причиняло ему физической боли, и даже наоборот, скорее было ему приятно. Ласкающее движение руки понемногу сменилось легким почесыванием за ушами, отчего приятное ощущение еще усилилось. И все-таки страх

не покидал его, и он держался настороже, ожидая нападения и испытывая попеременно то наслаждение, то муки, в зависимости от того, какое из двух чувств брало верх в его душе.

— Вот тебе раз! — воскликнул Мат, выходя из хижины с засученными рукавами и тазом с грязной водой в руках; при виде того, как Видон Скотт гладил Белого Клыка, он остановился пораженный.

Услышав его голос, Белый Клык с рычанием отскочил. Мат неодобрительно взглянул на своего хозяина.

— Если вы разрешите мне высказать свое мнение, мистер Скотт, то я скажу вам, что вы круглый дурак, если только не идиот.

Видон Скотт самодовольно улыбнулся, встал и подошел к Белому Клыку. Он ласково заговорил с ним и начал гладить его по голове. Белый Клык не протестовал, подозрительно поглядывая, но не на человека, гладившего его, а на стоящего в дверях.

— Вы один из лучших знатоков золотого дела, это несомненно, — заявил погонщик собак, — но вы наверняка проворонили свое призвание, если не догадались еще мальчишкой убежать из дому и поступить в цирк.

Белый Клык снова зарычал при звуках его голоса, но на этот раз не выскочил из-под руки, гладившей его по голове и шее.

Для Белого Клыка это было началом конца, конца прежней жизни в царстве ненависти; наступила новая, непонятная, прекрасная эра. Со стороны Видона Скотта потребовалось немало ума и бесконечное терпение, чтобы добиться желанных результатов. А для Белого Клыка это был полный переворот. Ему пришлось подавить в себе требования и побуждения инстинкта и рассудка, пренебречь своим прежним опытом и как бы изобличить во лжи самую жизнь.

В той жизни, которую он знал до этих пор, просто не было места для многого из того, что он делал теперь; наоборот, все прежние его побуждения находились в полном проти-

воречии с настоящими. Короче говоря, ориентироваться в этой новой среде и приспособиться к ней было много труднее для Белого Клыка, чем тогда, когда он добровольно ушел из первобытной пустыни и отдался в руки Серого Бобра. В то время он был еще щенком, с неустановившимся характером, готовым принять какой угодно облик в зависимости от окружающих его жизненных условий. Теперь было не то. Жестокая среда слишком хорошо сделала свое дело. Она превратила его в Волка-Бойца, свирепого и беспощадного, ненавидящего и ненавидимого. Чтобы измениться совсем, ему надо было переродиться. А между тем в это время юношеской гибкости уже не было, мускулы сделались жесткими и узловатыми; уток и основа его существования успели выткать из него непроницаемую ткань, твердую и негнушующую; воля его превратилась в железо, а все инстинкты и задатки выкристаллизовались в установившиеся навыки, опасения, антипатии и желания.

И опять условия жизни стали оказывать на него свое действие, смягчая то, что очерствело, и придавая ему более совершенную форму. Видон Скотт воистину олицетворял в этом случае перст судьбы. Он добрался до самых глубин души Белого Клыка и лаской вызвал к жизни те способности, которые дремали там и уже почти погибли. Одной из таких способностей была любовь. Она заняла место простой симпатии, выше которой Белый Клык ничего не испытал со дня своего знакомства с богами.

Но любовь эта не пришла в один день. Она началась с симпатии и стала понемногу развиваться. Имея возможность убежать, Белый Клык не сделал этого, потому что ему нравился его новый бог. Эту новую жизнь нельзя было сравнить с жизнью в клетке Красавчика Смита, а Белому Клыку необходимо было иметь какого-нибудь бога. Его природа требовала подчинения божеству. Печать зависимости от человека легла на него в тот день, когда он повернулся спиной к пустыне и подполз к ногам Серого Бобра, ожидая от него побоев. Зависимость эта еще усилилась,

когда после голода он вторично оставил пустыню и вернулся в селение к Серому Бобру, который накормил его рыбой.

И так как Белый Клык нуждался в боге, а Видон Скотт нравился ему больше Красавчика Смита, он остался у него. Чтобы доказать свою преданность, он взял на себя обязанность сторожить имущество своего хозяина. Он прогуливался перед хижиной, пока упряжные собаки спали, и первому вечернему посетителю пришлось отбиваться от него дубиной, пока на помощь не подоспел Видон Скотт. Но Белый Клык вскоре научился отличать воров от честных людей по наружному виду и походке. Человека, идущего смелой походкой прямо к двери хижины, он не трогал, хотя напряженно следил за ним до тех пор, пока дверь не открывалась и хозяин не впускал гостя внутрь. Но человеку, который приближался крадучись, осторожно, поглядывая по сторонам, не было пощады, и спасти его могло только быстрое и позорное бегство.

Видон Скотт задался целью исправить Белого Клыка или, вернее, исправить то зло, которое причинило ему человечество. Он считал это делом принципа и совести. Он чувствовал, что зло, причиненное Белому Клыку, — это долг, сделанный человеком, и долг этот необходимо было уплатить. Вот почему он старался выказывать особенную доброту к Белому Клыку. Каждый день он ласкал и гладил его.

Сначала Белый Клык относился к ласкам подозрительно и враждебно, но вскоре полюбил их. Однако он никак не мог отделаться от ворчания. Все время, пока хозяин гладил его, он ворчал. Но зато в этом ворчании появилась новая нотка. Чужой человек не отличил бы этой ноты и счел бы это ворчание просто за проявление первобытной дикости и злобы. Горло Белого Клыка навсегда огрубело от тех свирепых звуков, которые он издавал в течение многих лет подряд, начиная с того дня, когда совсем еще маленьким щенком в первый раз зарычал в своей берлоге. Он не умел смягчить звука своего голоса, чтобы выразить ощущаемую им нежность. Тем не менее слух и чутье Видона Скотта были

достаточно тонки, чтобы уловить новую ноту в этом свирепом рычании, — ноту, в которой чувствовался слабый намек на довольное мурлыканье и которую не удавалось расслышать никому, кроме него.

Дни шли за днями, и переход от симпатии к любви совершался быстро. Белый Клык сам начал замечать это, хотя, разумеется, не имел никакого представления о том, что такое любовь. Любовь проявлялась в нем ощущением какой-то голодной, болезненной, гнетущей пустоты, которая требовала заполнения. Она причиняла страдание и беспокойство, которые облегчались только присутствием нового бога. В такие минуты любовь была для него удовлетворением, дикой, бешеной радостью. Но вдали от бога им снова овладевали беспокойство и страдание; его давило ощущение пустоты и голода, который не переставал грызть его.

Белый Клык начинал познавать самого себя. Несмотря на зрелый возраст и суровую оболочку, которую создали ему условия жизни, его истинная природа только теперь начинала распускаться. В нем просыпались незнакомые чувства и произвольные побуждения. Его прежние вкусы и поведение совершенно изменились. В прошлой своей жизни он любил удобства и отсутствие страдания, ненавидел неудобства и боль и сообразно с этим поступал. Теперь это было не так. Руководимый новыми чувствами, он часто выбирал неудобства и страдания из любви к своему богу. Так, рано утром, вместо того, чтобы бродить и искать пищу или лежать в уютном защищенном месте, он часами ждал на пороге хижины, чтобы увидеть своего бога. Вечером, когда хозяин его возвращался, он покидал теплое место, вырытое им в снегу, чтобы услышать слово приветия и получить дружескую ласку. Он отказался даже от мяса, чтобы побыть со своим богом, заслужить от него ласку или отпра- виться с ним в город.

Симпатия сменилась любовью. Любовь проникла в самую глубину его души, куда никогда не проникала симпатия, и со dna души в ответ поднялось новое чувство. За то, что

он получал, он платил тем же. Наконец-то перед ним был настоящий бог, добрый, лучезарный, под влиянием которого природа его расцветала, как расцветает цветок под лучами солнца.

Но Белый Клык не умел открыто проявлять свои чувства. Он был слишком стар, и характер его успел уже настолько сложиться, что новые пути в этой области были для него закрыты. Постоянное одиночество, сдержанность, мрачность наложили на него свой отпечаток. Он никогда в жизни не лаял и не мог уже научиться выражать лаем свою радость при приближении своего бога. Он никогда не бросался ему навстречу, никогда не выражал своей любви экспансивным или смешным способом. Он ждал его на почтительном расстоянии, но ждал его всегда и всегда был тут. Любовь его граничила с обожанием, безмолвным, немым обожанием. Только преданным взглядом своих глаз, напряженно следивших за каждым движением хозяина, выражал он свою любовь. Временами, когда бог смотрел на него и говорил с ним, он ощущал какую-то неловкость, происходившую от желания проявить свою любовь и чисто физической неспособности сделать это.

Вскоре он приспособился к своей новой жизни. Он понял, что не следует трогать других собак своего хозяина. Все же его властолюбивый характер сказался и тут, и он, основательно проучив их, заставил уважать себя и признать свое главенство. Достигнув этого, он успокоился. При встрече они уступали ему дорогу и беспрекословно исполняли его волю.

Точно так же он научился терпимо относиться к Мату как к собственности своего хозяина. Последний реже кормил его. Это входило в обязанности Мата, но Белый Клык понимал, что он ест пищу хозяина, который кормит его при посредстве другого лица. Мат однажды попробовал надеть на него хомут и заставить его тащить нарты с другими собаками. Но опыт не удался. Только когда Видон Скотт сам запряг его, Белый Клык понял, что это воля хозяина, чтобы Мат правил им и погонял наравне с другими собаками.

Клондайкские нарты, на полозьях, отличались от тех, которыми пользовались на реке Макензи. Собаки впрягались по-иному, не веером, а гуськом, так что в Клондайке передовая собака являлась действительным вожакom. Вожак был самым умным и сильным псом, и другие повиновались ему и боялись его. Белый Клык неизбежно должен был стать головной собакой. Он не мог удовольствоваться меньшим, и Мат вскоре понял это. Белый Клык сам выбрал себе это место, и Мату не оставалось ничего другого, как выругаться и согласиться. Несмотря на то что Белый Клык работал целыми днями, это не мешало ему сторожить ночью имущество своего хозяина; без отдыха, верой и правдой служил он ему и по праву стал считаться самой лучшей его собакой.

— Давно уже у меня язык чешется сказать вам, — начал в один прекрасный день Мат, — что вы сделали выгодное дело, купив за сто пятьдесят долларов эту собаку. Вы здорово надули Красавчика Смита, не считая того, что отделили ему физиономию.

Гнев сверкнул в серых глазах Скотта при воспоминании об этом, и он злобно пробормотал:

— Скотина!..

В конце осени Белого Клыка постигло великое несчастье. Его любимый хозяин вдруг совершенно неожиданно исчез. Правда, этому предшествовали некоторые обстоятельства, но Белый Клык по неопытности не понял, что означает укладка чемодана. Только потом он вспомнил, что эта укладка предшествовала исчезновению хозяина, но в момент приготовления к отъезду в голове его не возникало ни малейшего подозрения. В полночь резкий холодный ветер заставил его укрыться позади хижины. Он задремал, насторожив уши, чтобы услышать знакомые шаги. Но в два часа ночи усилившееся беспокойство заставило его снова выйти на холод, и, съездившись на крыльце хижины, он стал ждать.

Хозяин не возвращался. Утром дверь хижины открылась, и оттуда вышел Мат. Белый Клык жалобно посмотрел на него. Между ними не существовало общего языка, с помо-

щью которого он мог бы узнать от погонщика о том, что так интересовало его. Дни шли за днями, а хозяина все не было. Белый Клык, не знавший до сих пор, что значит хворать, вдруг заболел, и настолько сильно, что Мату пришлось взять его в хижину. В следующем письме к своему хозяину он посвятил Белому Клыку целую приписку.

Видон Скотт, читая это письмо в Серкл-Сити, наткнулся на следующую фразу: «Этот проклятый волк не хочет работать. Ничего не ест. Окончательно потерял энергию. Все собаки задирают его. Он хочет знать, что случилось с вами, но я не знаю, как объяснить ему это. Похоже на то, что он скоро сдохнет».

Мат говорил правду. Белый Клык перестал есть, упал духом и позволял всем упряжным собакам кусать себя. Он лежал в хижине, на полу, около печки, не интересуясь ни пищей, ни Матом, ни жизнью. Обращался ли к нему Мат с ласковыми словами или громко ругался, он одинаково равнодушно смотрел на него тусклыми глазами и снова привычным движением опускал голову на вытянутые передние лапы.

Однажды ночью, когда Мат сидел и читал что-то вполголоса, его поразил тихий визг Белого Клыка: пес вскочил и, насторожив уши, внимательно прислушивался. Через минуту Мат услышал чьи-то шаги. Дверь открылась, и вошел Видон Скотт. Мужчины пожали друг другу руку, после чего Скотт оглянулся.

— А где же волк? — спросил он. Белый Клык стоял у печки на том же месте, где он лежал перед этим. Он не бросился навстречу, как это делают другие собаки, а спокойно ждал, не сводя глаз с хозяина.

— Святая яичница! — воскликнул Мат. — Да он машет хвостом!

Видон Скотт прошел до середины комнаты и позвал Белого Клыка. Тот приблизился к нему, но не скачками, а быстрым шагом. Волнение делало его неуклюжим, но когда он подошел к хозяину, в глазах его появилось странное выра-

жение. Какая-то непередаваемая глубина чувств засветилась в них.

— Он никогда не смотрел на меня так, пока вас не было, — заметил Мат.

Но Видон Скотт не слушал его. Присев на корточки перед Белым Клыком, он ласкал его, почесывая за ушами, гладил его по плечам и шее и похлопывал по спине. И Белый Клык ворчал в ответ, и в голосе его отчетливо слышались мурлыкающие нежные ноты.

Но это было не все. Стремясь как-нибудь проявить охватившую его радость и безграничную любовь, волк придумал, наконец, подходящий способ. Он просунул вдруг морду между телом и рукой хозяина, и тут, в этом надежном убежище, скрытый от человеческих глаз, он перестал рычать и начал ласкаться и прижиматься к нему.

Мужчины переглянулись. Глаза Скотта блестели.

— Каково! — благоговейно произнес Мат.

Через минуту, придя в себя, он добавил:

— Я всегда говорил, что этот волк — собака. Взгляните на него!

С возвращением любимого хозяина Белый Клык стал быстро поправляться. Две ночи и день он провел в хижине, затем вышел на воздух. Упряжные собаки успели забыть его прежнюю доблесть... Они помнили только его слабость и понесенные им за последние дни поражения. Увидев, что он выходит из хижины, они бросились на него.

— Задай им хорошенько! — весело закричал Мат, останавливаясь на пороге хижины. — Так, так! Ай да волк! А ну еще!

Но Белый Клык не нуждался в поощрении. Ему достаточно было возвращения любимого хозяина. Жизнь снова залила его могучим, неукротимым потоком. Он весело вступил в борьбу, находя в ней выход тому чувству, которого он не мог выразить речью. Конец мог быть только один. Вся свора пустилась в позорное бегство, и только с наступлением темноты собаки стали возвращаться поодиночке, кротостью и смирением выражая свою покорность Белому Клыку.

Выучившись ласкаться к хозяину, Белый Клык стал проделывать это часто. Это было высшим выражением любви. Дальше пойти он не мог. Он всегда ревниво оберегал свою голову и не выносил, чтобы до нее дотрагивались. Это был наследственный страх перед капканом, заставлявший его панически бояться всякого прикосновения. А теперь, с появлением любимого хозяина, он сам добровольно ставил себя в положение полнейшей беспомощности; он выражал этим свое безграничное доверие к нему, полную покорность, как будто хотел сказать: «Я отдаю себя целиком в твои руки; делай со мной что хочешь».

Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт предложил Мату сыграть перед сном партию в криббедж.

— Пятнадцать и два, пятнадцать и четыре: итого я выиграл шесть, — подсчитал Мат, когда со двора раздался вдруг крик и послышалось громкое рычание. Мужчины, переглянувшись, вскочили на ноги.

— Наш волк поймал кого-то, — сказал Мат.

Дикий крик ужаса, огласивший воздух, заставил их броситься к выходу.

— Принеси огня, — закричал Скотт, выскакивая наружу.

Мат быстро принес лампу, и при ее свете они увидели лежавшего на спине человека. Руки его были сложены одна на другую, и он старался защитить ими свое лицо и горло от зубов Белого Клыка. Последний, в припадке дикой злобы, стремился добраться до самого уязвимого места. Рукав, синяя фланелевая рубашка и белье были разодраны в клочья от плеча до кисти скрещенных рук, сами же руки были прокусаны в нескольких местах, и из них сильно текла кровь.

Все это Скотт и Мат увидели в один миг. В следующее мгновение Видон Скотт схватил Белого Клыка за шею и оттащил его. Последний делал попытки вырваться и продолжал рычать, но уже не пробовал кусаться и при первом резком слове хозяина совершенно успокоился.

Мат помог человеку подняться, и, когда тот опустил свои руки, они увидели перед собой гнусную физиономию Красавчика Смита. Погонщик тотчас же отскочил от него, словно прикоснулся к раскаленным угольям. Глаза Красавчика Смита мигали от света лампы, и он озирался по сторонам. Когда взгляд его упал на Белого Клыка, лицо его выразило ужас.

В ту же минуту Мат увидал на снегу два предмета. Приблизив к ним лампу, он ногой указал на них своему хозяину; это была стальная собачья цепь и здоровая дубина.

Видон Скотт посмотрел в свою очередь и кивнул головой, никто из них не проронил ни слова. Мат взял Красавчика Смита за плечи и повернул его направо кругом. Слова были излишни. Красавчик Смит понял и зашагал прочь.

Тем временем любимый хозяин гладил Белого Клыка, приговаривая:

— Он хотел украсть тебя. А! Тебе это не улыбалось? Да, да, он немного ошибся. Не так ли?

— Он думал, что поймает его! Как же! Сто тысяч чертей! — засмеялся погонщик.

А Белый Клык, все еще взволнованный, с ошетинившейся шерстью, ворчал и ворчал, но в голосе его уже смутно слышались мурлыкающие ноты.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА I

ДАЛЕКИЙ ПУТЬ

Э то носилось в воздухе. Белый Клык почуял надвигавшееся несчастье раньше, чем появились какие-либо ощутимые признаки его. В нем смутно зародилось предчувствие готовящейся перемены. Он не знал ни как, ни откуда оно появилось. Сами того не сознавая, боги выдали свои намерения собаке-волку, и та, проводя все свое время во дворе под навесом и никогда не входя в хижину, догадалась о том, что происходило у них в голове.

— Вот, не угодно ли! Послушайте, — воскликнул однажды за ужином погонщик.

Видон Скотт прислушался. Через закрытую дверь доносился тихий вой, похожий на сдавленное рыдание. Затем они слышали, как Белый Клык обнюхивал дверь, точно желая удостовериться, что бог его еще здесь, а не исчез таинственным образом.

— Я уверен, что этот волк все понял, — проговорил погонщик.

Видон Скотт взглянул на него почти молящим взором, хотя последовавшие затем слова противоречили его взгляду.

— На кой черт нужен мне волк в Калифорнии? — спросил он.

— Я того же мнения, — ответил Мат. — На кой черт вам волк в Калифорнии?

Но это не удовлетворило Скотта. В голосе погонщика ему почудился упрек.

— Собаки там не уживутся с ним. Он при первой встрече загрызет их. Если даже он не разорит меня штрафами, то власти все равно отберут его у меня и электрокутируют.

— Я того же мнения — он отъявленный убийца, — заметил погонщик.

Видон Скотт подозрительно взглянул на него.

— Это совершенно невозможно, — сказал он решительно.

— Да, это невозможно, — согласился погонщик. — Вам пришлось бы взять специального человека, чтобы ходить за ним.

Подозрения Скотта улеглись, и он с облегчением кивнул головой. В тишине за дверью ясно слышно было визжание и затем долгое тревожное обнюхивание.

— А он все беспокоится о вас, ей-ей!

Скотт взглянул на погонщика злобным взглядом.

— К черту! Я сам знаю, что мне делать.

— Я согласен с вами, только...

— Что только? — прервал Скотт.

— Только... — тихо начал погонщик и затем, как бы передумав, возвысил голос. — Да чего вы собственно кипятитесь? По вашему виду можно подумать, что вы сами не знаете, на что решиться!

Видон Скотт минуту боролся с собой, затем более спокойно сказал:

— Ты прав, Мат. Я сам не знаю, как поступить. В этом-то вся и беда.

— Тащить этого пса за собой было бы непростительной глупостью, — проговорил он после паузы.

— Я согласен с вами, — ответил Мат, и опять хозяин недовольно посмотрел на него.

— Но во имя всех морских чертей и сорока дьяволов объясните мне, каким образом этот пес пронюхал о вашем отъезде? — с невинным видом спросил погонщик.

— Понять не могу, — ответил Скотт, грустно качая головой.

Наступил день, когда Белый Клык увидел на полу через открытую дверь роковой чемодан, в который его любимый хозяин укладывал свои вещи. Постоянное хождение взад и вперед нарушало обычно спокойную атмосферу хижины. Очевидно, предстояла перемена. Белый Клык чувствовал это давно, но теперь он стал рассуждать. Его бог, очевидно, собирался вторично исчезнуть. И раз он не взял его с собой в первый раз, то и теперь, по всей вероятности, оставит его здесь.

В эту ночь он выл настоящим, пронзительным волчьим воем, как выл в ту ночь, когда, будучи еще щенком, вернулся из леса на место, где был поселок, и нашел там вместо палатки Серого Бобра только кучу тряпок и хлама. Так и теперь, подняв морду к звездам, он изливал им свое горе.

В хижине люди только что легли спать.

— Он опять перестал есть, — заметил со своей койки Мат.

С койки Видона Скотта послышалось ворчание и шорох одеяла.

— Судя по тому, как он тосковал в прошлый ваш отъезд, я не удивлюсь, если на этот раз он сдохнет.

На другой койке снова послышался сильный шорох.

— Да замолчишь ли ты наконец! — прикрикнул Скотт в темноте. — Каркаешь хуже старой бабы.

— Совершенно согласен с вами, — ответил погонщик, и Скотт так и не понял, смеется тот над ним или говорит серьезно.

На следующий день волнение и беспокойство Белого Клыка еще больше возросли. Он ходил по пятам за своим хозяином и караулил его под навесом, когда тот входил в хижину. Через открытую дверь он видел лежавший на полу багаж. Около чемодана стояли сундук и два дорожных мешка. Мат заворачивал одеяла и шубу хозяина в брезент. Белый Клык жалобно выл, следя за этой операцией.

Немного спустя явились два индейца. Он следил за ними, когда они, взвалив на плечи багаж, отправились вниз по холму в сопровождении Мата, несшего постельные прина-

длежности и чемодан. Белый Клык не пошел за ними. Хозяин все еще находился в хижине. Через несколько времени Мат вернулся. Хозяин подошел к двери и позвал Белого Клыка.

— Бедный ты мой, — сказал он ласково, почесывая у него за ушами и глядя его по спине. — Я отправляюсь в далекий путь, старина, и ты не можешь следовать за мной. Ну, поворчи же теперь, поворчи хорошенько на прощание.

Но Белый Клык отказывался ворчать. Вместо того, бросив на хозяина задумчивый испытующий взгляд, он нырнул между его рукой и телом и спрятал там свою голову.

— Вот он чудит, — воскликнул Мат. С Юкона послышался хриплый рев подходившего парохода. — Прощайтесь скорей! Закройте хорошенько дверь на крыльцо — я выйду через заднюю. Да поживее!

Обе двери закрылись одновременно, и Видон Скотт, подойдя к крыльцу, стал ждать появления Мата. Изнутри раздавался тихий, жалобный вой, затем послышалось тяжелое сопение.

— Береги его, Мат, — сказал Скотт, когда они спускались по холму. — Пиши и сообщай мне, как он поживает.

— Непременно, — ответил погонщик, — но постойте, не хотите ли дослушать?

Оба остановились. Белый Клык выл, как воют собаки, когда умирает их хозяин. В этом вое слышались душераздирающие звуки, стихавшие до жалобного стона и снова переходившие во взрывы отчаяния.

«Аврора» была первым пароходом, отходившим в этом году на юг. На палубе его толпились разбогатевшие и разорившиеся золотоискатели, стремившиеся теперь на родину с таким же нетерпением, с каким они в свое время стремились в Клондайк. Стоя у сходней, Скотт пожимал руку Мату, собиравшемуся сойти с парохода. Но рука Мата вдруг застыла в воздухе, и он тупо уставился на что-то, находящееся позади Скотта. Тот обернулся. На палубе, в нескольких шагах от него, сидел Белый Клык, задумчиво глядя на своего хозяина.

Погонщик тихо выругался. Видон Скотт смотрел, ничего не понимая.

— Вы заперли дверь на крыльцо? — спросил Мат.

Тот кивнул головой и, в свою очередь, спросил:

— А черный ход?

— Разумеется, запер, — уверенно ответил Мат.

Белый Клык покорно прижал уши, но продолжал сидеть, не делая попытки приблизиться.

— Мне придется взять его с собой на берег.

Мат сделал несколько шагов по направлению к Белому Клыку, но пес ускользнул от него. Погонщик кинулся за ним, но он проскочил между ногами пассажиров. Увертываясь, ныряя и то и дело меняя направление, он скользил по палубе, ловко избегая рук Мата.

Но когда любимый хозяин позвал его, он немедленно покорно подошел к нему.

— Ишь ты, и разговаривать не желает с человеком, который ежедневно кормил его, — пробормотал обиженно погонщик. — А вы — вы ни разу не кормили его, если не считать первых дней знакомства. Черт меня подери, если я понимаю, каким образом он догадался, что хозяин вы!

Скотт, гладивший Белого Клыка, вдруг указал на свежие порезы на его морде и между глазами.

Мат наклонился и провел рукой по брюху Белого Клыка.

— Мы совершенно забыли про окно. Он весь изрезан и поранен внизу. Он проскочил через стекло, ей-ей!

Но Видон Скотт не слушал его. Он быстро соображал.

Раздался последний свисток «Авроры», извещавший об отходе. Люди спешили сойти на берег.

Мат снял свой шейный платок, чтобы обвязать его вокруг шеи Белого Клыка. Скотт схватил его за руку.

— Прощай, Мат, старина! Что касается волка, то тебе не придется писать о нем. Ты видишь, я...

— Что? — воскликнул погонщик. — Вы хотите сказать, что...

— Вот именно, убери свой платок. Я напишу тебе о нем.

Дойдя до середины сходен, Мат остановился.

— Он не выдержит климата! — закричал он, оборачиваясь назад. — Остригите его, когда наступит жара.

Сходни втащили на палубу, и «Аврора» отчалила. Видон Скотт махнул рукой на прощание. Затем он обернулся и наклонился к стоявшему рядом с ним Белому Клыку.

— Да ворчи же теперь, черт возьми, ворчи! — сказал он, глядя его покорную голову и почесывая прижатые уши.

ГЛАВА II

НА ЮГЕ

Белый Клык сошел с парохода в Сан-Франциско. Он был поражен. Совершенно бессознательно, не рассуждая об этом, он постоянно отождествлял могущество с божественностью. И никогда еще белые люди не казались ему такими могущественными богами, как теперь, когда он шел по грязным улицам Сан-Франциско. Знакомые ему бревенчатые срубы сменились громадными постройками. Улицы так и кишели опасностями: повозки, экипажи, автомобили, огромные лошади, тащившие нагруженные лотовые телеги, сновали взад и вперед, а чудовищные электрические трамваи, несшиеся с шумом и грохотом посреди улиц, издавали резкие звуки, напоминавшие ему крик рыси в северных лесах.

Все это было проявлением могущества. И над всем этим стоял человек, наблюдая и управляя по своему усмотрению этим сложным миром и, как всегда, утверждая свою власть над неодушевленными предметами. Все это произвело на Белого Клыка ошеломляющее впечатление. Он был поражен. Страх овладел им. Как в былое время, будучи еще маленьким щенком, он почувствовал всю свою слабость и ничтожество, наткнувшись в лесу на палатку Серого Боб-

ра, так и теперь, в полном расцвете сил, он снова проникся сознанием своей беспомощности. И богов здесь было такое множество! У него кружилась голова от сновавшей вокруг него толпы. Шум улиц оглушал его. Этот грохот и непрерывное движение приводили его в неопишное изумление. Теперь больше, чем когда-нибудь, он чувствовал свою зависимость от хозяина, за которым шел по пятам, ни на секунду не теряя его из виду.

Белому Клыку довелось только мельком увидеть шумный город, но он сохранил о нем тяжелое воспоминание, преследовавшее его по ночам как страшный кошмар. Затем хозяин посадил его на цепь в товарном вагоне, среди ящиков и сундуков. Здесь распоряжался коренастый смуглый бог, бросавший с большим шумом во все стороны чемоданы и сундуки. Он втаскивал их через открытую дверь и складывал в кучу или выкидывал тем же путем другим белым богам, ожидавшим свои вещи снаружи.

И тут, среди этого багажа, хозяин покинул Белого Клыка. По крайней мере, так он думал, пока не разыскал чутьем два его брезентовых мешка; тогда, сразу успокоившись, он принялся сторожить их.

— Хорошо, что вы пришли, — проворчал бог товарного вагона, когда час спустя Видон Скотт появился у дверей. — Ваша собака не позволяет мне прикоснуться к вашим вещам.

Белый Клык вышел из вагона. Он был поражен. Кошмарный город исчез. Вагон был для него не более как комнатой в доме, и когда он входил туда, вокруг него расстился город. За этот промежуток времени город исчез. Городской шум больше не тревожил его ушей. Перед ним раскинулся веселый деревенский пейзаж, залитый солнцем и дышащий миром и спокойствием. Но ему некогда было долго раздумывать над этой переменой, и он принял ее, как принимал до сих пор все непонятные ему проявления могущества богов. Таковы были их пути.

На вокзале ждал экипаж. Мужчина и женщина подошли к хозяину. Руки женщины обвили его шею, это

было очевидно враждебное действие. В следующее мгновение Видон Скотт вырвался из объятий и схватил Белого Клыка, моментально превратившегося в злобного демона.

— Ничего, мама, — говорил Скотт, крепко держа Белого Клыка и успокаивая его. — Он решил, что вы хотите меня обидеть, а этого он не мог допустить. Ничего! Ничего! Он скоро поймет.

— А пока мне будет позволено любить моего сына только в отсутствие его собаки, — засмеялась мать, заметно побледнев от страха.

Она взглянула на ощетинившегося Белого Клыка, который враждебно рычал и злобно смотрел на нее.

— Ему придется научиться, как вести себя, и притом немедленно, — сказал Скотт. Он ласково заговорил с собакой, пока та не успокоилась, и затем крикнул властно: — Ложись! Слышишь? Ложись!

Он прошел уже с хозяином эту науку и, хотя неохотно, но все же повиновался.

— Теперь подойдите, мама.

Скотт раскрыл ей свои объятия, но не спускал глаз с Белого Клыка.

— Лежать, — крикнул он, — смирно!

Белый Клык, ощетинившись, молча наблюдал за повторением странной церемонии, готовый каждую секунду вскочить. Но от объятий женщины никакого вреда для его хозяина не произошло, так же как и от объятий другого чужого бога. Затем чемоданы были отнесены в коляску; за ними последовали чужие боги и, наконец, сам любимый хозяин. Белый Клык бежал за коляской, то отставая немного, то бросаясь к лошадям, чтобы напомнить им, что он тут — на страже интересов своего бога, которого они так быстро несли по земле.

Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по обсаженной с обеих сторон ореховыми деревьями аллее. По бокам ее раскинулись лужайки, на которых там и сям росли крепкие ветвистые дубы. Невдалеке, резко

отличаясь от яркой зелени молодой травы, виднелись обожженные солнцем золотисто-желтые скошенные луга, а позади высились холмы с раскинувшимися на их склонах пастбищами. В конце аллеи на пригорке стоял дом с многочисленными окнами и широким крыльцом.

Белому Клыку не представилось возможности осмотреть все это. Не успела коляска въехать в аллею, как на него накинута охваченная справедливым возмущением остроногая широкоглазая овчарка. Она встала между ним и хозяином, загораживая ему дорогу. Белый Клык ошетинился и без всякого предупреждения бросился в атаку, но тотчас же остановился. Он остановился так резко и неожиданно, что почти присел на задние ноги. Овчарка была сукой, а закон волков не позволяет самцам нападать на сук. Он не мог кинуться на нее иначе, как насилуя свой инстинкт.

Но овчарка смотрела на дело по-иному. Будучи сукой, она не обладала таким инстинктом, и, наоборот, ее порода заставляла ее испытывать особенно сильную ненависть к волкам. Белый Клык был для нее волком, наследственным хищником, нападающим на стада с тех пор, как выгнанные на пастбища овцы были впервые поручены присмотру одного из ее предков. И поэтому, когда он отскочил от нее, избегая столкновения, она кинулась на него. Он невольно зарычал, почувствовав ее зубы на своем плече, но не сделал никаких попыток причинить ей вред. Он отскочил в сторону, стараясь увильнуть от нее. Он нырял во все стороны, то поворачиваясь, то отбегая, но все напрасно. Овчарка неизменно торчала перед ним, загораживая ему путь.

— Колли, сюда! — раздался окрик чужого человека из коляски.

Видон Скотт засмеялся.

— Оставьте, папа! Это хорошая дисциплина. Белому Клыку придется многому научиться, и лучше всего, если он начнет учиться сразу. Он скорее привыкнет.

Карета продолжала катиться, а Колли по-прежнему загораживала дорогу Белому Клыку. Он пробовал обойти ее,

отстав от коляски и пустившись бежать по лугам, но она бежала по внутреннему меньшему кругу и везде встречала его двумя рядами оскаленных белых зубов. Он перебежал дорогу, стараясь обогнать ее с другой стороны, но она снова опередила его.

Коляска между тем уносила хозяина. Белый Клык видел, как она мелькала между деревьями. Положение становилось критическим. Он еще раз попробовал догнать коляску кружным путем, но Колли не отставала от него. Вдруг он обернулся и, прибегнув к своему старому боевому приему, ударом плеча сбил овчарку с ног. Опрокинутая на полном бегу овчарка покатила кубарем по земле, цепляясь когтями за гравий, чтобы удержаться, и громким лаем выражая свое возмущение и негодование.

Белый Клык не стал ждать. Дорога была свободна, а это было все, чего он добивался. Колли погналась за ним, продолжая лаять. Но теперь он имел возможность нестись по прямому направлению, а что касается бега, то тут Белый Клык мог кое-чему научить ее. Она бежала, как сумасшедшая, почти в истерике, напрягаясь изо всех сил, предупреждая о каждом прыжке негодующим лаем, а он летел перед ней бесшумно, легко, скользя по земле, точно дух.

Обогнув дом, он наткнулся у входа на коляску, из которой выходил его хозяин. Но в ту же минуту, еще на полном бегу, Белый Клык подвергся нападению с фланга. На него налетела охотничья собака. Он попробовал встретить ее грудью. Но он бежал слишком быстро, а собака была уже чересчур близко. Она толкнула его в бок, и Белый Клык от неожиданности, в силу инерции опрокинулся и покатился по земле. Он сейчас же поднялся на ноги. Вид у него был грозный; с прижатыми ушами, обнаженными клыками и сжатыми ноздрями он кинулся на врага и чуть было не прокусил ему горло.

Хозяин бросился к нему, но он находился далеко, и только вмешательство Колли спасло жизнь охотничьей собаке. В тот момент, как Белый Клык собирался нанести смертельный укус, Колли нагнала его. Ее одурачили, опередили,

опрокинули на песок, и она примчалась, как ураган, оскорбленная, охваченная злобой и инстинктивной ненавистью к первобытному хищнику. Она налетела на Белого Клыка сбоку в ту минуту, когда он собирался прыгнуть, и, в свою очередь, сбила его с ног.

Тут подбежал хозяин и схватил Белого Клыка, пока отец его отзывал собак.

— Нечего сказать, теплый прием оказали здесь бедному одинокому северному волку, — сказал Скотт, стараясь ласковым поглаживанием успокоить Белого Клыка. — За всю свою жизнь он только один раз был сбит с ног, а тут его повалили два раза в какие-нибудь тридцать секунд.

Коляска тем временем отъехала, и из дома вышли новые боги. Некоторые из них держались почтительно, на расстоянии, но две женщины снова совершили враждебный акт, обвинив своими руками шею хозяина. Белый Клык начинал привыкать к этому, так как видел, что хозяин его от этого не страдает, и в звуках, которые производили при этом боги, не было ничего угрожающего. Они сделали попытку приласкать и его, но он предупредил их рычанием, а хозяин сделал то же самое словами. В такие тревожные минуты Белый Клык прижимался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, глядя по голове.

Охотничий пес, получив приказание: «Дик, ложись!», растянулся на ступеньках крыльца и продолжал рычать, злобно посматривая на незваного гостя. Одна из женщин занялась Колли, обнимая и лаская ее, но собака продолжала визжать и выражала беспокойство; она была оскорблена присутствием волка и убеждена, что боги делают большую ошибку, допуская его в дом.

Когда боги начали подниматься по ступенькам крыльца, Белый Клык пошел по пятам своего хозяина. Дик на террасе заворчал, а Белый Клык ответил ему тем же.

— Возьми Колли в дом и оставь обоих псов снаружи, — посоветовал Скотт-отец. — Они подерутся, а потом станут лучшими друзьями.

— В таком случае Белому Клыку придется в знак своей дружбы быть первым лицом на похоронах Дика, — засмеялся хозяин.

Скотт-отец недоверчиво посмотрел на Белого Клыка, затем на Дика и, наконец, на своего сына.

— Ты хочешь сказать, что...

Видон кивнул головой:

— Я хочу сказать, что Дик был бы мертв через минуту, самое большее через две, — он обернулся к Белому Клыку: — Идем, волк. Нам придется держать тебя в доме.

Белый Клык поднялся по ступенькам, распушив хвост и не спуская глаз с Дика на случай новой атаки. В то же время он готовился достойно встретить всевозможные проявления неизвестного, которые могли ожидать его там, внутри этого дома. Но все было спокойно, и как он ни оглядывался, войдя в дом, ничего угрожающего не нашел там. Тогда со вздохом облегчения он улегся у ног хозяина, следя за всем происходящим, каждую минуту готовый вскочить на ноги и защитить свою жизнь от тех ужасов, которые, казалось ему, должны были скрываться под крышей-капканом этого спокойного жилища.

ГЛАВА III

ВЛАДЕНИЯ БОГА

Белый Клык был от природы наделен большой гибкостью, а кроме того, он много путешествовал и понимал, как важно уметь приноравливаться к обстоятельствам. В Сиерра Виста (так называлось имение судьи Скотта) Белый Клык скоро почувствовал себя как дома. Столкновения с собаками прекратились. Они прекрасно знали нравы и обычаи южных богов, и, видя, что Белого

Клыка впускают в дом, они перестали смотреть на него как на врага. Правда, это был волк, но раз боги допускали его присутствие, то им, как собакам этих богов, не оставалось ничего другого, как подчиниться воле своих хозяев.

Дик после нескольких формальностей совершенно примирился с присутствием Белого Клыка, и, если бы это зависело от него, охотно подружился бы с ним, но Белый Клык не признавал дружбы с собаками. Он требовал от них только одного: чтобы они не приставали к нему. Всю свою жизнь он держался в стороне от них и хотел, чтобы так продолжалось и дальше. Заигрывания Дика докучали ему, и он отвергал их рычанием. На Севере он усвоил себе правило не задираť собак своего хозяина и свято продолжал блюсти его. Но он упорно оберегал свое одиночество и настолько игнорировал Дика, что этот добродушный пес в конце концов оставил его в покое и совершенно перестал им интересоваться.

Не так относилась к нему Колли. Повинуясь воле богов, она примирилась с его присутствием, но отнюдь не желала оставлять его в покое. В памяти ее ярко жили бесконечные преступления, совершенные волками по отношению к ее предкам. Этого нельзя было забыть в один день. Все это побуждало ее мстить ему. Она не могла нападать на него в присутствии хозяев, но это не мешало ей отравлять ему жизнь всякими другими способами. Их разделяла вековая вражда, и она постоянно напоминала ему об этом.

Итак, Колли, пользуясь преимуществами своего пола, обижала его. Его инстинкт не позволял ему трогать суку, а ее настойчивость побуждала ее постоянно теревить его. Когда она бросалась на него, он подставлял ей покрытое густой шерстью плечо и с достоинством удалялся. Если она слишком наседала на него, он уходил от нее, описывая круги, подставлял ей плечо и отворачивал голову, глядя перед собой терпеливым скучающим взглядом. Случалось иногда, что укус в заднюю ногу заставлял его искать спасения в позорном бегстве. Но в общем ему почти всегда уда-

валось с честью выйти из неприятного положения. По возможности он игнорировал ее присутствие и старался избегать встречи с ней. Завидя ее, он поднимался и уходил.

Белому Клыку приходилось, кроме того, учиться еще многому другому. Жизнь на Севере была необыкновенно примитивна по сравнению со сложной жизнью на Сиерра Виста. Прежде всего ему пришлось познакомиться с семьей хозяина. Отчасти он был подготовлен к этому. Подобно тому, как Мит-Са и Клу-Куч принадлежали Серому Бобру и делили с ним пищу и кров, точно так же и в Сиерра Виста все домочадцы принадлежали любимому хозяину. Но между теми и другими существовала разница, и разница большая. Сиерра Виста была куда обширнее палатки Серого Бобра. И здесь было гораздо больше народу. Тут были судья Скотт и его жена, две сестры хозяина, Бэт и Мэри, его жена Алиса и двое детей, Видон и Мод, четырех и шести лет. Не было никакой возможности объяснить Белому Клыку степени родства, связывавшего всех этих лиц, да он и вообще не имел о родстве никакого понятия. Но все же он быстро сообразил, что все они принадлежали хозяину. Путем наблюдения, изучая при каждом удобном случае их поступки и слова, а также по интонации их голосов он постепенно научился отличать, кто из них ближе всего сердцу хозяина. И по этому признаку Белый Клык установил свое отношение к ним. То, что ценил хозяин, ценил и он; то, что любил хозяин, становилось предметом его особой заботливости.

Это относилось, главным образом, к обоим детям. Всю свою жизнь он не любил детей. Он ненавидел и боялся их рук, которые причиняли ему немало страданий в те дни, когда он жил среди индейцев. Когда Видон и Мод впервые подошли к нему, он встретил их злобным ворчанием. Шлепок и резкий окрик хозяина заставили его вынести ласки детей, но все же он не переставал ворчать под прикосновением крошечных рук, и в голосе его не слышалось мурлыкающих нот.

Позже он понял, что мальчик и девочка представляли большую ценность для хозяина, и уже не требовалось ни шлепка, ни резкого окрика, чтобы он позволил им гладить себя.

Однако Белый Клык никогда шумно не проявлял своей привязанности. Он покорился детям хозяина и научился переносить их ласки, как переносят болезненную операцию. Когда это становилось ему невмозможным, он вставал и уходил. Позднее он даже полюбил детей, но продолжал относиться к ним с той же сдержанностью. Он не бросался к ним навстречу, а ждал, чтобы они подошли к нему. С течением времени в его глазах даже стала проявляться радость при их приближении и сожаление, когда они покидали его ради других развлечений.

Развитие его совершалось постепенно и потребовало немало времени. Следующее место в сердце Белого Клыка занимал судья Скотт и, вероятно, по двум причинам. Во-первых, его очень ценил хозяин, а во-вторых, он был крайне сдержанным человеком. Белый Клык любил лежать, растянувшись у его ног на крыльце, в то время когда тот читал газеты и изредка награждал волка ласковым взглядом или словом, как бы давая этим понять, что он не забыл о его существовании. Но все это имело для него значение только в отсутствие хозяина. С появлением Видона весь мир переставал существовать для волка.

Белый Клык позволял всем членам семьи баловать и ласкать себя, но никогда не относился к ним так, как к хозяину. Никакая ласка с их стороны не могла вызвать нежного мурлыканья в его горле, и как они ни старались, никому не удалось убедить его прижаться к нему головой. Это выражение абсолютного доверия и преданности он берег только для любимого хозяина. В сущности, он смотрел на всех остальных членов семьи исключительно как на собственность своего бога.

Белый Клык очень быстро научился отличать членов семьи от домашней челяди. Слуги боялись его, хотя он

никогда не нападал на них, считая, что они тоже принадлежат хозяину. Между обеими сторонами установились нейтральные отношения. Они стряпали для хозяина, мыли грязную посуду и делали все то, что в Клондайке делал Мат; словом, они принадлежали дому.

Но и вне дома Белому Клыку пришлось многому научиться. Владения бога были очень обширны, но все же они имели границы, за которыми начиналась общая собственность богов — дороги и улицы. Места, огороженные заборами, составляли владения других богов. Все это управлялось множеством законов и, не зная языка богов, Белый Клык мог усвоить их только на опыте. Он повиновался своим природным инстинктам до тех пор, пока они не заставляли его нарушить какой-либо из законов. После того, как это повторялось несколько раз, он запоминал закон и действовал согласно ему.

Однако ничто так сильно не влияло на него, как шлепки и укоризненные слова хозяина; шлепок, который давал ему хозяин, значил для него больше, чем все побои, полученные им когда-либо от Серого Бобра или Красавчика Смита. Те уязвляли только его тело, дух же его под внешней оболочкой оставался свободным и непобедимым. Удары хозяина были слишком слабы, чтобы причинить боль, но они действовали глубже. Они показывали, что хозяин недоволен им, и от этого страдала его душа.

Вообще же шлепки были очень редки; достаточно было одного слова хозяина, и Белый Клык тотчас же улавливал по звуку его голоса, поступил ли он хорошо или дурно. К нему он приноравливал свое поведение и по нему соразмерял свои действия. Это был его компас, по которому он учился ориентироваться в чужой стране. На Севере единственным домашним животным была собака. Все остальные звери жили в лесу и были законной добычей каждой собаки. Всю свою жизнь Белый Клык добывал себе пропитание среди живых существ, обитающих в лесу. Он не представлял

себе, что на Юге дело обстоит иначе. В этом ему пришлось скоро убедиться в долине Санта-Клара.

Прогуливаясь как-то рано утром около дома, он наткнулся на цыпленка, убежавшего из курятника. Естественным побуждением Белого Клыка было съесть его. Быстрый прыжок, шелканье зубов, отчаянный писк — и несчастный птенец исчез в его пасти. Цыпленок был откормленный и нежный, и Белый Клык, облизывая губы, решил, что это недурное блюдо.

Несколько позже в тот же день он опять встретил цыпленка около конюшни. Один из конюхов бросился на выручку. Он не знал характера Белого Клыка и для защиты вооружился легким хлыстом. При первом ударе хлыста Белый Клык оставил цыпленка и бросился на человека. Дубина могла остановить Белого Клыка, но не хлыст. Спокойно, не увертываясь, принял он второй удар кнута и сделал прыжок, намереваясь вцепиться нападавшему в горло. Конюх успел только крикнуть: «Помогите!» и, выронив кнут, защитил свое горло руками. В результате кисть руки оказалась у него прокушенной до кости.

Конюх страшно испугался: не столько подействовала на него свирепость Белого Клыка, сколько неожиданность, с которой тот напал на него. Продолжая закрывать свое горло раненой и окровавленной рукой, он поспешно отступил к сараю. Но ему пришлось бы плохо, не появившись тут на сцену Колли. Так же как она спасла Дика, она спасла и конюха, бросившись на Белого Клыка с бешеной злобой. Она была права и не обманулась, как эти наивные боги. Все подозрения ее оправдались: Белый Клык был хищником. Знает она эту волчью повадку!

Конюх скрылся в конюшне, а Белый Клык отступил перед острыми зубами Колли, подставляя ей плечо и описывая круг за кругом. Но Колли не оставляла его в покое, как она это делала обычно; наоборот, с каждой минутой злоба ее росла, и Белый Клык, забыв всякую гордость, убежал от нее прямо в поле.

— Он научится не трогать цыплят, — заявил хозяин, — но я не могу дать ему урок, пока не поймаю его на месте преступления.

Два дня спустя преступление повторилось, но в более грандиозном масштабе, чем ожидал этого хозяин. Белый Клык тщательно наблюдал за курятником и внимательно изучал привычки цыплят. Ночью, когда цыплята уселись на насест, он влез на кучу незадолго перед тем сложенных дров и, пробравшись оттуда на крышу курятника, спустился по желобу на землю. Через минуту он очутился в самом курятнике и началась бойня.

Наутро, когда хозяин встал и вышел на крыльцо, ему бросились в глаза пятьдесят белых итальянских кур, уложенных конюхом в ряд. Видон Скотт свистнул сначала от удивления, а затем от невольного восхищения. В глазах смотревшего на него Белого Клыка не было и тени стыда или раскаяния. Он держал себя гордо, как будто совершил что-то достойное похвалы. Он не чувствовал своей вины. Губы хозяина сжались при мысли о предстоящей расправе. Затем он резко заговорил с без вины виноватым, и в голосе его слышен был гнев. Кроме того, он ткнул Белого Клыка носом в убитых кур и несколько раз сильно ударил его.

Белый Клык больше никогда не делал набегов на курятники. Это было запрещено, и он понял это. Спустя некоторое время хозяин взял его с собой на птичий двор. Первым естественным побуждением его при виде живой дичи, бегающей перед самым носом, было броситься и схватить ее. Он чуть было не послушался этого побуждения, но голос хозяина удержал его. Они оставались там более получаса, в течение которого его несколько раз охватывало желание повиноваться своему хищному инстинкту, но тот же голос хозяина удерживал его.

Так он познал этот закон, и прежде чем они вышли из куриного царства, волк понял, что ему надо забыть о самом существовании кур.

— Никогда не удастся исправить хищника, — сказал за завтраком судья Скотт, покачивая головой. Это было ответом на рассказ сына о том, какой урок он дал только что Белому Клыку. — Раз он отведал уже вкус крови... — И судья снова покачал головой.

Но Видон Скотт не соглашался с отцом:

— Вот что я сделаю, — сказал он наконец, — я запрю Белого Клыка на целый день на птичьем дворе.

— Подумай о бедных цыплятах! — возразил отец.

— Мало того, — продолжал сын, — за каждую убитую им курицу я заплачу вам по доллару штрафа.

— Но, папа, и ты должен заплатить штраф, если ты проиграешь, — заметила Бэт.

Мэри и все сидевшие за столом поддержали ее. Судья Скотт кивнул головой в знак согласия.

— Хорошо!

Видон Скотт на минуту задумался.

— А если к концу дня Белый Клык не тронет ни одного цыпленка, то за каждые десять минут, проведенные им в птичнике, вы скажете ему, папа, с самым серьезным видом, как будто вы сидите в суде: «Белый Клык, ты лучше, чем я о тебе думал».

Спрятавшись по углам, семья стала следить за представлением. Но их ожидало разочарование. Убедившись, что хозяин запер его в птичнике и покинул там, Белый Клык улегся и заснул; раз только он проснулся и подошел к корыту напиться воды. На цыплят он не обращал внимания; для него они перестали существовать. В четыре часа он с разбега вскочил на крышу курятника и, спустившись с наружной стороны, важно направился к дому. Он твердо заучил закон. А на террасе в присутствии восхищенной семьи судья Скотт, глядя прямо в глаза Белому Клыку, торжественно повторил шестнадцать раз:

— Белый Клык, ты лучше, чем я о тебе думал.

Белого Клыка сильно смущало бесчисленное множество законов, незнание которых часто навлекало на него кару.

Ему пришлось также заучить, что он не должен трогать цыплят чужих богов. Кроме того, были еще кошки, кролики и индюки; им тоже не следовало причинять вреда. Позади усадьбы, на пастбище, перепел мог безнаказанно выпорхнуть из-под самого его носа. Белый Клык, весь напряженный, дрожа от желания, подавлял свой инстинкт и останавливался как вкопанный. Он повиновался воле богов.

Но однажды на том же пастбище он увидел, как Дик гонялся за кроликом. Сам хозяин присутствовал при этом и не мешал ему. Наоборот, он даже стал подзадоривать Белого Клыка принять участие в охоте. И таким образом Белый Клык узнал, что охота на дикого кролика не запрещается. В конце концов он постиг все законы. Между ним и домашними животными не должно быть вражды. Если дружба невозможна, то вместо нее лучше всего установить нейтральные отношения. Но другие животные — белки, кролики и перепела — были дикими животными, никогда не изъявлявшими покорности человеку. Они являлись законной добычей собак. Боги защищали только домашних животных, не позволяя им враждовать между собой; они оставляли за собой право жизни и смерти над своими подданными и ревниво оберегали это право.

После простоты Севера жизнь в долине Санта-Клара казалась очень сложной. Эта полная хитросплетений цивилизованная жизнь требовала прежде всего величайшего самообладания и сдержанности — нужно было в одно и то же время быть деликатнее летающей в воздухе паутины и тверже стали. Жизнь представлялась Белому Клыку тысячей, и он считал, что должен познакомиться с каждым из этих ликов в отдельности. Особенно ярко он чувствовал это, когда бывал в городке Сан-Хосе. Там ему приходилось бежать за коляской или просто валандаться на улице, когда коляска останавливалась; жизнь тем временем проносилась мимо него, широкая и разнообразная; она постоянно действовала на его чувства, и на каждом шагу требовалось

умение приспособляться и почти всегда подавлять свои инстинкты.

Тут были мясные лавки, где висели туши мяса, но это мясо нельзя было трогать. В домах, где бывал хозяин, жили кошки, которых запрещалось задевать. И повсюду встречались собаки, рычавшие на него, а он не смел нападать на них. В довершение всего по тротуарам ходило множество людей, обращавших на него внимание. Они останавливались и глазели, указывая на него друг другу пальцами, и, что было хуже всего, гладили его по голове и спине. А он должен был выносить эти ненавистные прикосновения. Однако в конце концов он привык к ним и даже сумел преодолеть в себе неловкость и напряженность, которые неизменно вызывали в нем эти ласки. С высокомерным снисходительным видом принимал он знаки внимания, оказываемые ему чужими богами. С другой стороны, в нем было что-то, не допускавшее фамильярности. Погладив его по голове, люди спешили отойти, сами дивясь своей смелости.

Но не все давалось легко Белому Клыку. Следуя за коляской по окраинам Сан-Хосе, он неизменно встречался с мальчишками, которые бросали в него камни. Всякий раз его охватывало большое искушение, но он твердо помнил, что не имеет права поймать и наказать их. Ему приходилось подавлять в себе в этом случае инстинкт самосохранения; с каждым днем он становился более ручным и принаравливался к требованиям цивилизации.

Тем не менее Белый Клык был не совсем доволен этими порядками. У него не было отвлеченных понятий о праве. Но в самой жизни заложено понятие справедливости, и он считал, что несправедливо запрещать ему защищаться от мальчишек, бросавших в него камнями. В эту минуту он забывал, что в условия договора, заключенного им с богами, входила обязанность последних заботиться о нем и защищать его. Но в один прекрасный день хозяин выскочил из экипажа с кнутом в руках и хорошенько отодрал мальчишек,

после чего они уже не бросали в него больше камни, и Белый Клык остался этим вполне удовлетворен.

Ему еще раз пришлось испытать нечто в этом роде. По дороге в город, на перекрестке около трактира, постоянно сидели три собаки, тотчас же бросавшиеся на него, как только он появлялся. Зная его смертоносные приемы борьбы, хозяин неоднократно внушал ему закон, запрещающий драться. В результате Белому Клыку приходилось делать над собой огромные усилия, чтобы спокойно миновать этот перекресток. После первой же атаки рычание Белого Клыка удерживало собак от дальнейших попыток в этом направлении, но они продолжали с лаем бежать за ним, задирая его и всячески досажая. Так продолжалось некоторое время, причем люди, сидевшие в трактире, даже наускивали собак на Белого Клыка. В один прекрасный день они открыто натравили их на него. Хозяин остановил экипаж:

— Возьми их! — крикнул он Белому Клыку.

Но Белый Клык не верил своим ушам. Он посмотрел на хозяина, потом на собак. Затем еще раз — вопросительно и возбужденно — на хозяина. Хозяин кивнул головой:

— Возьми их, старина! Возьми!

Белый Клык не стал ждать. Он повернулся и молча кинулся на врагов. Все три собаки бросились ему навстречу. Послышалось громкое ворчание, рычание и шелканье зубов. Поднявшееся на дороге облако пыли мешало наблюдать за борьбой. Но через несколько минут две собаки уже валялись на дороге, а третья спасалась бегством. Она перепрыгнула канаву, перескочила через забор и понеслась по полю. Белый Клык последовал за ней, скользя по земле быстро и бесшумно, по-волчьи, и, настигнув собаку посередине поля, убил ее.

Этим тройным убийством закончилось его столкновение с собаками. По всей долине распространился слух о его победе, и соседи сами стали следить за тем, чтобы их собаки не приставали к волку-бойцу.

ГЛАВА IV

ГОЛОС КРОВИ

Месяцы проходили за месяцами. На Юге было много пищи, работать совсем не приходилось, и Белый Клык жирел и блаженствовал. Для него это был не только Юг земного шара, но и юг жизни. Человеческая ласка сияла над ним, как золотой диск солнца, и он расцветал, точно посаженное на хорошую почву растение. И все же он отличался от остальных собак. Он знал законы лучше других собак, не знакомых с иной жизнью, и выполнял их в точности; но в нем все же сохранился какой-то намек на притаившуюся жестокость, как будто волк только дремал в нем.

Он никогда не вел дружбы с собаками. Одиноким прожил он свою жизнь и так же хотел жить дальше. Преследования Лип-Липа и всей своры, которым он подвергался в детстве, а позднее жизнь у Красавчика Смита вселили в него отвращение к собакам, и, отвернувшись от своих, он стал лнуть к людям.

Помимо того, все южные собаки относились к нему недоверчиво. При виде его в них просыпался враждебный страх перед хищником, и они встречали его рычанием и ненавистью. Он, в свою очередь, скоро понял, что ему незачем пускать в ход против них свои зубы: ему достаточно было сморщить нос и показать клыки, чтобы заставить съежиться любую собаку.

Но все же одно испытание жизнь послала Белому Клыку: это была Колли. Она не давала ему покоя. Она не так легко подчинялась закону, как он. Она отклоняла все попытки хозяина примирить ее с Белым Клыком, и у бедного волка постоянно звенело в ушах от ее резкого лая и нервного ворчания. Она не могла простить ему убийства цыплят и придерживалась того мнения, что он преисполнен пагубных

намерений. Она считала его преступником и соответственно относилась к нему. Овчарка, словно полицейский, преследовала его по пятам — шел ли он в поле или к конюшням, и стоило ему взглянуть на голубя или цыпленка, как она тотчас же поднимала возмущенный лай. У Белого Клыка был излюбленный способ выражать ей свое презрение: он ложился, клал морду на передние лапы и притворялся спящим. Это всегда смущало ее и заставляло замолчать.

За исключением Колли, все остальное улыбалось Белому Клыку. Он изучил закон, научился владеть собой и приобрел спокойствие, степенность и снисходительность. Ему не приходилось больше жить во враждебной обстановке. Опасности, страдания и смерть не грозили ему. Время, когда страшное неизвестное вечно тяготело над ним, теперь миновало. Жизнь текла ровно и спокойно, и нигде на пути его не встречалось ни врагов, ни ужасов.

Ему не доставало снега. Если бы он мог рассуждать, он сказал бы, что лето, по его мнению, тянется слишком долго. В сильную летнюю жару, страдая от палящего солнца, он скучал по Северу, но, не умея отдать себе отчет в причинах этой скуки, бродил, не находя себе места.

Белый Клык никогда не умел ярко высказывать свои чувства. Ласковое мурлыканье в ворчании и привычка прижиматься головой к хозяину — вот единственные приемы, которыми он выражал ему свою любовь. Однако вскоре ему удалось найти еще один способ.

Он всегда был чувствителен к человеческому смеху. Смех доводил его до бешенства. Но он не мог сердиться на любимого хозяина, и когда тот иногда весело и добродушно смеялся над ним, он приходил в полное замешательство. Он чувствовал, как в нем поднималось прежнее озлобление, но оно тотчас же встречало противодействие в чувстве любви. Нет, злиться он не мог, но все-таки надо было что-нибудь делать. Сначала он попробовал напускать на себя важность, но это только сильнее смешило хозяина, и чем напыщеннее он становился, тем громче звучал смех бога.

Наконец однажды веселость хозяина заразила Белого Клыка, челюсти его слегка разжались, губы чуть-чуть поднялись, и смешливое выражение, в котором было больше любви, чем юмора, появилось в его глазах. Он научился смеяться.

Таким же образом он научился возиться с хозяином, кувыркаться и кататься по полу, подвергаясь шуточным нападениям. В свою очередь он притворялся разъяренным, ерошил шерсть и сердито рычал, злобно щелкая зубами и выказывая самые злостные намерения. Но он никогда не забывался. Зубы его всегда щелкали в воздухе. В конце такой возни, когда шлепки, рычание и щелканье зубов достигали особенного ожесточения, оба внезапно останавливались на расстоянии нескольких шагов друг от друга и обменивались взглядом. И вдруг, так же неожиданно, как солнце над бурным морем, они начинали смеяться. Все это обыкновенно кончалось тем, что хозяин обнимал шею Белого Клыка, а тот в ответ мурлыкал ему свою песнь любви.

Но никто другой не смел возиться с Белым Клыком; он не допускал этого. Он оберегал свое достоинство, и стоило кому-нибудь сделать такую попытку, как его рычание и взъерошенная шерсть тотчас же изгоняли всякую мысль о добродушной возне. Если он разрешал всевозможные вольности своему хозяину, то это отнюдь не значило, что он, наподобие простой собаки, способен расточать свою любовь всем и каждому: он отдал свое сердце целиком одному человеку и не желал разменивать ни себя, ни своей любви.

Хозяин часто ездил верхом, и сопровождать его в этих поездках было одной из главных обязанностей Белого Клыка. На Севере он мог доказать свою верность, работая в хомуте; здесь, на Юге, не было нарт, и собаки не таскали тяжестей. Поэтому Белый Клык доказывал свою верность тем, что неотступно следовал за лошадьёю хозяина. Самая продолжительная прогулка никогда не утомляла его. Он обладал волчьей, легкой, бесшумной, ровной походкой и после пятидесятиверстной прогулки бодро являлся домой впереди лошади.

Верховая езда дала Белому Клыку повод проявить новый талант, и этот талант был замечателен тем, что он проявил его только дважды в жизни. В первый раз это случилось при следующих обстоятельствах. Однажды хозяин пытался приучить горячую чистокровную лошадь открывать и закрывать ворота без того, чтобы всадник слезал с седла. Несколько раз он подъезжал к воротам, стараясь заставить лошадь закрыть их, и каждый раз она пугалась и пятилась назад. Когда же он вонзал в нее шпоры, она падала на передние ноги и начинала усиленно лягаться. Белый Клык с волнением следил за происходившим, но наконец потерял терпение и, кинувшись к голове лошади, громко залаял.

Хотя впоследствии он часто пытался лаять и хозяин поощрял его в этом, удалось ему это еще только раз, и то в отсутствие хозяина. Бешеная скачка хозяина верхом по полю, неожиданно выскочивший из-под ног заяц, испуг и падение лошади вместе с хозяином и полученный последним перелом ноги послужили поводом к этому. Белый Клык бросился было в порыве яростной злобы к горлу лошади, но голос хозяина остановил его.

— Домой, иди домой! — приказал он ему, осмотрев свою ногу. Но Белый Клык не имел намерения покидать его. Хозяин хотел написать записку, но при нем не оказалось ни карандаша, ни бумаги. Он снова приказал Белому Клыку идти домой.

Тот посмотрел на него разумным взглядом, отошел на несколько шагов и вернулся, тихо визжа. Хозяин заговорил с ним ласково, но серьезно, и он, насторожив уши, мучительно старался понять, что от него требуется.

— Не беспокойся, дружище, — говорил бог, — беги домой и расскажи там, что со мной случилось. Домой! Волк, домой!

Белый Клык понимал слово «домой», и хотя смысл остальной речи хозяина остался ему непонятен, он сообразил, что хозяин желает, чтобы он шел домой. Он повернулся и неохотно побежал, затем снова нерешительно остановился и оглянулся.

— Иди домой! — раздалось резкое приказание, и на этот раз он повиновался.

Вся семья сидела на террасе, наслаждаясь вечерней прохладой, когда прибежал запыхавшийся и весь покрытый пылью Белый Клык.

— Видон вернулся, — заявила мать.

Дети встретили Белого Клыка радостными криками и бросились к нему навстречу. Ускользнув от них, он вскочил на террасу, но тут они снова поймали его, загородив ему дорогу стулом. Он зарычал, стараясь пройти. Мать с беспокойством посмотрела в ту сторону.

— Признаюсь, я всегда нервничаю, когда он около детей, — сказала она, — я боюсь, что в один прекрасный день он неожиданно бросится на них.

Злобно зарычав, Белый Клык выскочил из засады, опрокинув мальчика и девочку. Мать позвала их и стала утешать, уговаривая не трогать Белого Клыка.

— Волк всегда останется волком, — заметил судья Скотт, — и доверять ему нельзя.

— Но он не совсем волк, — возразила Бэт, защищая любимца своего брата.

— Это личное мнение Видона, — ответил судья. — Он только предполагает, что в Белом Клыке есть частица собачьей крови, но сам признается, что наверняка он этого не знает. Что же касается его внешнего вида...

Он не успел окончить своей фразы. Белый Клык остановился перед ним, свирепо рыча.

— Убирайся! Извольте лечь, сэр! — приказал судья Скотт.

Белый Клык подошел к жене любимого хозяина. Она вскрикнула от испуга, когда он схватил ее зубами за платье и стал дергать его, пока тонкая материя не разорвалась. К этому времени он успел привлечь к себе всеобщее внимание. Он перестал рычать и стоял, подняв голову и глядя всем в глаза. Горло его судорожно сжималось, не издавая ни звука; он дрожал всем телом от усилий выразить то, что наполнило все его существо.

— Я надеюсь, что он не собирается взбеситься, — сказала мать Видона, — я уже говорила Видону, что боюсь, как бы жаркий климат не оказал вредного влияния на обитателя Севера.

— Уверяю вас, что он старается заговорить, — вдруг объявила Бэт.

В ту же минуту Белый Клык, как бы обретя дар речи, вдруг громко залаял.

— Что-то случилось с Видоном, — решительно заявила его жена.

Все разом поднялись, а Белый Клык сбежал с крыльца, оборачиваясь на бегу, чтобы удостовериться, что за ним следуют. Во второй и последний раз в жизни он залаял, и его поняли.

После этого случая все жители Сиерра Виста стали относиться к Белому Клыку с гораздо большей симпатией, и даже конюх, которому он прокусил руку, уверял, что он очень умный пес, хотя и волчьей породы. Судья Скотт придерживался того же мнения и доказывал ко всеобщему неудовольствию, что Белый Клык несомненно чистокровный волк, подкрепляя свою мысль измерениями и описаниями, которые он черпал из энциклопедических словарей и книг по естественной истории.

Время шло, а солнце продолжало согревать своими лучами долину Санта-Клара. Но когда дни стали короче и началась вторая зима, Белый Клык сделал странное открытие. Зубы Колли стали менее острыми. В ее игривых укусах чувствовалась какая-то мягкость, они перестали вызывать боль. Он забыл, что она отравляла ему жизнь, и когда она заигрывала с ним, он старался ответить ей тем же, что делало его только смешным.

В один прекрасный день, гоняясь за Белым Клыком по пастбищу, она завлекла его до самого леса. Это было в тот самый час, когда его хозяин собирался ехать верхом. И Белый Клык знал об этом. Оседланная лошадь стояла у крыльца. Белый Клык остановился в нерешительности. Но вдруг его

охватило нечто более сильное, чем все выученные им законы и все усвоенные привычки, это нечто оказалось даже сильнее любви к хозяину, сильнее склонности к одиночеству, и когда, в момент его нерешительности, Колли ущипнула его и отбежала, он повернулся и последовал за ней. В этот день хозяин его катался один. А в лесу рядышком бежали Белый Клык и Колли, как много лет назад мать его Кича бежала со старым Одноглазом по молчаливому северному лесу.

ГЛАВА V

ДРЕМЛЮЩИЙ ВОЛК

Приблизительно в описываемое нами время все газеты были полны подробностей о смелом побеге преступника из Сан-Квентинской тюрьмы. Это был ужасный человек. Он родился чудовищем, а общество не позаботилось о том, чтобы исправить его. У общества тяжелая, грубая рука, и этот человек мог служить прекрасным доказательством этого. Это был зверь в образе человека, и такой страшный, что его справедливее было бы причислить к хищникам.

В тюрьме он оказался неисправим. Никакими наказаниями нельзя было сломить его злую волю. Он готов был скорее умереть, борясь до последнего вздоха, чем жить, подвергаясь побоям. Чем свирепее он становился, тем более жестоко поступало с ним общество, а это еще больше увеличивало его свирепость. Смирительная рубашка и побои были неподходящими средствами для исправления Джима Холла, но именно это обращение применялось к нему всегда, начиная с того времени, когда он еще маленьким мальчиком слонялся на окраинах Сан-Франциско и представлял собою мягкую глину, которой окружающая его среда могла придать любую форму.

Во время третьего своего заключения Джим Холл столкнулся с надзирателем, который был почти таким же зверем, как и он. Надзиратель обращался с ним бесчеловечно, занимал начальство ложными доносами на него и постоянно его преследовал. Разница между ними заключалась в том, что у надзирателя была связка ключей и револьвер, а у Джима Холла — только руки и зубы. Однажды он бросился на надзирателя и вцепился в его горло зубами, как хищный зверь.

После этого Джима поместили в отделение для неисправимых. Он оставался там три года. Пол, стены и потолок камеры были железные. Он никогда не покидал камеры, не видел неба и солнечного света. День был для него сумерками, а ночь — черной тишиной. Он был заживо погребен в железной могиле. Он не видел человеческого лица, не слышал человеческого голоса. Когда ему просовывали пищу в окошечко камеры, он рычал, как зверь. Он ненавидел весь мир. Обычно он целыми сутками изрыгал в проклятиях свою злобу ко всей вселенной, но иногда неделями и месяцами не издавал ни звука, прислушиваясь к тому, как тишина въедалась в его душу. Это было страшилище, которое может представиться только больному воображению.

И вдруг ночью он убежал. Начальство тюрьмы отказывалось верить этому; однако камера его была пуста, и на пороге ее лежало тело убитого надзирателя. Путь беглеца по тюрьме был отмечен еще двумя мертвыми телами сторожей, которых он, во избежание шума, задушил руками.

Он снял оружие с убитых им надзирателей и, вооруженный с головы до ног, бежал в горы. Голова его была оценена очень высоко, и жадные фермеры вышли на него с ружьями, потому что ценой его крови можно было освободить землю от залога или послать сына в университет. Добровольцы из городских жителей присоединились к ним. По окровавленным следам его бежала, таким образом, целая свора. А кроме того, за ним гнались кровавые псы, которых общество содержало для своей защиты, — полицейские

и детективы. К их услугам был весь аппарат власти — телеграф, телефон и специальные поезда.

Иногда они сталкивались с ним и дрались или удирали от него через затянутые колючей проволокой изгороди — и то и другое к удовольствию людей, читавших отчеты об этом в утренних газетах. Раненые и убитые, доставлявшиеся в город после таких столкновений, сменялись новыми любителями охоты на человека.

Но вдруг Джим Холл пропал, точно в воду канул. Сыщики тщетно старались напасть на его след. Вооруженные люди задерживали безобидных фермеров, и тем приходилось потом доказывать, кто они такие, а люди, желавшие во что бы то ни стало получить кровавую премию, несколько раз находили тело Джима Холла.

В Сиерра Виста газеты читались скорее с беспокойством, чем с интересом. Женщины были напуганы. Судья Скотт подсмеивался над ними, но напрасно, так как Джим Холл сидел на скамье подсудимых как раз в последние дни службы Скотта и был приговорен именно им. А Джим Холл во всеуслышание поклялся в зале суда, что настанет день, когда он отомстит судье, приговорившему его.

На сей раз Джим Холл был прав. Он был неповинен в том преступлении, за которое его теперь осудили. Это был «оговор». Он был оговорен и посажен в тюрьму за преступление, которого он не совершил. Приняв во внимание его прежнюю двукратную судимость, судья Скотт осудил его и на этот раз: он приговорил его на пятьдесят лет.

Судья Скотт не мог знать всех обстоятельств и не подозревал, что он невольно принимал участие в полицейской интриге, что свидетелями обвинения были подставные лица и что Джим Холл был невиновен в приписываемом ему преступлении. А Джим Холл не знал, что судья Скотт не был посвящен в эту тайну. Он думал, что тот действовал заодно с полицией, когда совершалась эта чудовищная несправедливость. И вот, когда судья Скотт приговорил его к пятидесяти годам тюремного заключения, Джим Холл, полный

ненависти к несправедливо отвергнутому его обществу, стал так неистовствовать, что потребовалась помощь нескольких полисменов, чтобы успокоить его. Судья Скотт был для него воплощением несправедливости, и на судью он излил все проклятия и угрозы своей будущей мести. Затем он отправился в свою живую могилу... и исчез из нее.

Обо всем этом Белый Клык не имел ни малейшего представления. Но между ним и Алисой, женой хозяина, существовала тайна. Каждую ночь, после того как все в Сиерра Виста ложились спать, она вставала и выпускала Белого Клыка в огромную переднюю. Белый Клык не был комнатной собакой, и ему не разрешалось ночевать в доме, а потому рано утром, пока все еще спали, она приходила и выпускала его во двор.

Однажды, в тихую ночь, когда все спали, Белый Клык проснулся и остался спокойно лежать. Медленно втянув воздух, он почувствовал чужого бога. До ушей его долетал шум от движений этого бога. Белый Клык не издал злобно-го рычания. Это было не в его привычке. Чужой бог двигался бесшумно, но Белый Клык следовал за ним еще бесшумнее; ведь на нем не было одежды, трение которой о тело могло производить шорох. Он шел совершенно тихо. В лесах, где он охотился за пугливой дичью, он изучил все преимущества неожиданного нападения.

Чужой бог остановился у самой лестницы и стал прислушиваться. Белый Клык замер в ожидании. Лестница эта вела к любимому хозяину и к самым дорогим его сердцу существам. Белый Клык ошетинился и ждал. Нога чужого бога поднялась, и он начал взбираться по лестнице.

И тут Белый Клык бросился на него, без рычания и без предупреждения. Сильным прыжком он отделился от земли и вскочил на спину чужому богу: упираясь передними ногами в его плечи, он в то же время вцепился зубами в его затылок. Он провисел на нем с минуту и успел оттащить его назад, после чего оба с грохотом покатались на пол. Белый Клык отскочил, но когда чужой бог попробовал

встать, он опять бросился на него. Вся Сиерра Виста проснулась в ужасе. Судя по шуму, доносившемуся снизу, можно было предположить, что дерется, по меньшей мере, несколько десятков чертей. Послышались револьверные выстрелы, раздался раздирающий душу человеческий крик, бешеное рычание, треск сломанной мебели и звон разбитого стекла.

Потом все стихло. Борьба продолжалась не более трех минут. Наверху лестницы столпились все обитатели дома. Снизу, как из темной пропасти, доносилось странное бульканье, напоминавшее звук лопающихся на поверхности воды пузырей воздуха. Иногда это бульканье сменялось шипением, но вскоре и оно смолкло. Никакого шума не доходило больше из темноты, за исключением тяжелого дыхания какого-то существа, жадно ловившего воздух. Видон Скотт повернул выключатель, и яркий свет залил лестницу и переднюю. Затем он и судья Скотт с револьверами в руках осторожно спустились вниз. Но осторожность была уже излишней. Белый Клык сделал свое дело. Посреди обломков мебели, закрыв лицо рукой, лежал на боку человек. Видон Скотт наклонился над ним, отвел руку и повернул лицо к свету. Огромная рана на горле ясно говорила о том, как он был убит.

— Джим Холл, — сказал судья Скотт, и отец с сыном переглянулись.

Затем они подошли к Белому Клыку. Он тоже лежал на боку. Глаза его были закрыты, но он чуть-чуть приподнял веки, чтобы взглянуть на хозяина, когда тот наклонился к нему, и слегка пошевелил хвостом, тщетно стараясь помахать им. Видон Скотт погладил его, и из горла собаки вырвалось ласковое ворчание, но это было чуть слышное ворчание, которое скоро смолкло. Веки Белого Клыка закрылись, и тело вытянулось на полу.

— Кончается, бедняга, — пробормотал хозяин.

— Это мы еще посмотрим, — заявил судья, бросаясь к телефону.

— Откровенно говоря, на выздоровление у него один шанс против тысячи, — объявил хирург, провозившись над Белым Клыком добрых полтора часа.

Начинался рассвет, и от пробивавшейся в окно зари электрический свет потускнел. За исключением детей, вся семья была в сборе в ожидании приговора врача.

— Одна задняя лапа сломана, — говорил он. — Три ребра также, и одно из них пробило легкое. Очень сильная потеря крови. Весьма возможны внутренние повреждения. На него наверное вскочили ногами, я не говорю уже о трех огнестрельных ранах. Я был оптимистом, когда сказал, что на выздоровление есть один шанс против тысячи; один против десяти тысяч, так будет правильнее.

— Но мы должны сделать все, чтобы помочь ему использовать этот шанс! — воскликнул судья Скотт. — Не стесняйтесь с расходами. Используйте для него рентгеновские лучи, делайте что хотите. Видон, телеграфируй немедленно в Сан-Франциско доктору Никольсу; вы понимаете, я не хочу вас обидеть, но необходимо сделать все.

Хирург снисходительно улыбнулся.

— Разумеется, я понимаю. Он заслуживает самых тщательных забот. Он вполне достоин того, чтобы за ним ухаживали, как за больным ребенком. И не забывайте того, что я вам сказал относительно температуры. Я зайду в десять часов.

За Белым Клыком установили прекрасный уход. Предложение судьи нанять для него сиделку было с негодованием отвергнуто сестрами Видона, взявшими на себя эту роль.

И Белый Клык выиграл у судьбы ставку, опираясь на единственный шанс против десяти тысяч, как выразился хирург.

Врач заблуждался вполне добросовестно. Всю свою жизнь он имел дело с изнеженными цивилизованными существами, потомками таких же изнеженных и цивилизованных поколений. По сравнению с Белым Клыком это были хрупкие слабые создания, не умевшие цепляться за жизнь. Белый

Клык вышел прямо из пустыни, где все слабые погибают рано и где никому нет пощады. Ни отец, ни мать, ни все предыдущие поколения не знали слабости. Железное сложение и кипучая жажда жизни, за которую он цеплялся всеми своими физическими и духовными силами, — вот какое наследие получил Белый Клык.

Прикованный к одному месту и лишенный возможности двигаться из-за опутавших его повязок и бинтов, он провел несколько недель в непрерывном сне. В уме его проносился целый ряд картин прежней жизни на Севере. Все прошлое воскресло в его памяти. Ему казалось, что он снова живет в берлоге с Кичей, изъявляет покорность Серому Бобру и спасается от Липа-Липа и своры щенков.

Вот он бежит один по лесу, охотясь за дичью во время долгих месяцев голодовки; вот он несется впереди запряжки, погоняемой Мит-Са, и слышит голос Серого Бобра, кричащего: «Ра, Ра!», когда в узком проходе запряжке приходится складываться наподобие веера. Вот он опять у Красавчика Смита, борется со всевозможными собаками. В такие минуты он визжал и ворчал, и окружающие понимали, что он видит тяжелые сны.

Но особенно настойчиво преследовал его один кошмар: стучащие и грохочущие чудовища — электрические трамваи, рев которых напоминал ему крик огромных рысей. Ему казалось, что он лежит в кустах, ожидая, когда спустится с дерева белка. И когда он кидался к ней, она превращалась в вагон электрического трамвая, грозный и жуткий, поднимавшийся над ним, как гора, со стуком и грохотом извергая снопы света. То же было и с коршуном, которого он заманивал из небесной синевы. Спускаясь к нему, он тоже превращался в вездесущий вагон трамвая. Или еще: он видел себя в клетке у Красавчика Смита. Кругом стояли люди, пришедшие поглядеть на борьбу. Он не спускал глаз с двери, ожидая появления противника. И вдруг на него снова надвигался трамвайный вагон. Это повторялось тысячи раз, и каждый раз этот кошмар одинаково пугал его.

Настал, наконец, день, когда все бинты и повязки были сняты. Это был радостный день для всех обитателей Сиерра Виста, собравшихся вокруг больного пса. Хозяин потрепал уши Белого Клыка, а тот ответил ему привычным ласковым ворчанием. Жена хозяина назвала его Святым Волком, и это имя с восторгом встречено было всеми женщинами.

Он попробовал было встать на ноги, но после нескольких неудачных попыток свалился от слабости. Он пролежал так долго, что мускулы его совсем утратили упругость. Он немало стыдился своей слабости, как будто считал, что наносит этим какой-то ущерб своим хозяевам. Вот почему, сделав героические усилия, он наконец поднялся на ноги, качаясь из стороны в сторону.

— Святой Волк! — в один голос воскликнули женщины. Судья Скотт торжествующе взглянул на них.

— Вы сами подтверждаете мои слова. Я ни минуты не сомневался в этом. Никакая собака не могла бы сделать того, что сделал он. Он — волк.

— Святой Волк, — поправила его жена.

— Да, Святой Волк, — согласился судья, — и отныне я буду называть его так.

— Ему придется снова учиться ходить, — заметил хирург. — Пусть начнет сейчас же. Это не повредит ему. Вы ведите его во двор.

И Белый Клык вышел, как король, окруженный всеми обитателями Сиерра Виста. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, прилег отдохнуть.

Затем все шествие двинулось дальше. Понемногу мускулы Белого Клыка приобретали утраченную гибкость и силу, и кровь все энергичнее прилиwała к ним. Так дошли до конюшни: здесь лежала Колли, а вокруг нее резвились, нежась на солнце, несколько толстых щенков.

Белый Клык удивленно взглянул на них. Колли зарычала на него, и он остановился на почтительном расстоянии. Хозяин подтолкнул к нему носком сапога одного из ползавших щенят. Волк подозрительно ошетинился, но хозяин

дал ему понять, что опасаться нечего. Колли, придерживаемая одной из женщин, ревниво глядела на Белого Клыка и рычала: она, в свою очередь, предупреждала, что страхи его не напрасны.

Щенок подполз к Белому Клыку. Тот насторожил уши и с любопытством взглянул на него. Затем носы их встретились, и он почувствовал на своей губе маленький тепленький язычок щенка. Белый Клык, сам не зная почему, вдруг высунул язык и лизнул морду щенка.

Крики одобрения богов и аплодисменты приветствовали это проявление отцовской нежности. Волк был изумлен и обвел их вопросительным взглядом. Но тут слабость снова одолела его, и он прилег на бок, склонив голову и по-прежнему наблюдая за щенком. Остальные щенки, к ужасу Колли, тоже подползли к нему, и он разрешил им влезть на себя и покувыркаться. Вначале, смущенный аплодисментами, он держался несколько напряженно и натянуто, как это бывало с ним раньше, но вскоре, под влиянием веселья щенков, резвившихся вокруг него, эта неловкость исчезла, и он продолжал лежать, с терпеливым видом полузакрыв глаза и греясь на солнце.

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ



ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Потоком времени не все поглощено;
Жизнь прожита, но облик ее вечен.
Пусть золото игры в волнах погребено —
Азарт игры как выигрыш отмечен.

Два путника шли, тяжело хромая, по склону холма. Один из них, шедший впереди, споткнулся о камни и чуть не упал. Двигались они медленно, усталые и слабые, и напряженные их лица выражали ту покорность, которая является результатом долгих страданий и перенесенных лишений. К плечам их были привязаны тяжелые мешки. Головные ремни, проходящие по лбу, придерживали ношу на шее. Каждый путник нес в руках ружье.

Они шли согнувшись, выдвинув вперед плечи, уставившись взглядом в землю.

— Если бы только у нас были два патрона из тех, что мы спрятали в нашей яме, — сказал второй человек.

Его голос звучал тускло. Он говорил без всякого чувства. Первый, прихрамывая, переходил пенящийся между скал ручей — вода его была мутная, молочно-известкового цвета — и ничего ему не ответил.

Второй путник вошел в воду вслед за первым. Они не сняли обуви, хотя вода была ледяная до такой степени, что их ноги болезненно немели.

В некоторых местах вода доходила до колен, и они оба шатались и теряли равновесие.

Путник, идущий сзади, поскользнулся о камень. Он чуть было не упал, но с большим усилием выпрямился, болезненно вскрикнув. Его голова кружилась, и он выставил правую руку, как бы ища опоры в воздухе.

Удержав равновесие, он двинулся вперед, но зашатался и снова чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего товарища, даже не повернувшего головы.

Он стоял неподвижно в течение минуты, как бы что-то обдумывая. Затем крикнул:

— Послушай, Билл, я вывихнул себе ногу!

Билл шел, шатаясь, по известковой воде. Он не обернулся. Человек, стоявший в ручье, посмотрел вслед уходящему. Его губы немного дрожали, и видно было, как двигались над ними темно-рыжие усы. Он пытался смочить губы языком.

— Билл! — снова крикнул он.

Это была мольба сильного человека, очутившегося в беде. Но Билл не повернул головы. Человек смотрел, как его спутник уходит шатающейся походкой, нелепо прихрамывая и качаясь взад и вперед. Билл поднимался по отлогому склону низкого холма и подходил к мягкой линии окаймляющего его неба. Говоривший смотрел на уходящего товарища, пока тот не перевалил через вершину и не исчез за холмом. Тогда он перевел взгляд на окружающий ландшафт и медленно охватил взором мир. Только он — этот мир — остался ему теперь после ухода Билла.

Солнце неясно обозначалось вблизи горизонта, почти скрытое за туманом и паром, поднимающимися из долины. Эти туманные облака казались густыми и плотными, но были бесформенны и не имели очертаний.

Путник, опираясь на одну ногу, вынул часы.

Было четыре часа, и так как стоял конец июля или начало августа — точно он не знал числа, — солнце должно было находиться на северо-западе. Он посмотрел на запад: где-то там, за пустынными холмами, лежало Великое Медвежье озеро. Он знал также, что здесь Полярный круг проходит через проклятую область бесплодных равнин Канады. Ручей, в котором он стоял, был притоком Медной реки, что течет к северу и вливается в заливе Коронации в Северный Ледовитый океан. Он никогда не бывал там, но видел эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Он снова охватил взглядом окружающий пейзаж. Невеселое зрелище. Кругом обрисовывалась мягкая линия неба. Всюду поднимались невысокие холмы. Ни деревьев, ни кустов, ни огады — ничего, кроме бесконечной и страшной пустыни, вид которой заставил его содрогнуться.

— Билл, — прошептал он несколько раз. — Билл!

Он опустился посреди молочной воды, как будто окружающая ширь теснила его неодолимой и суровой своей властью и сокрушала ужасом своей обыденности. Он задрожал, словно в сильной лихорадке, пока ружье не выпало из его рук и с плеском не ударилось о воду. Это как будто пробудило его. Подавляя свой страх, он стал шарить в воде, пытаясь найти ружье. Он придвинул ношу к левому плечу, чтобы облегчить тяжесть для поврежденной ноги. Затем он начал осторожно и медленно, корчась от боли, продвигаться к берегу.

Он не остановился. С отчаянием, граничившим с безрассудством, не обращая внимания на боль, он спешил по направлению к холму, за которым исчез его товарищ. Его фигура выглядела еще более нелепой и странной, чем облик ушедшего путника. Снова в нем поднималась волна страха, и преодоление его стоило ему величайших усилий. Но он справился с собой и снова, отодвинув мешок еще дальше к левому плечу, продолжал путь по склону холма.

Дно долины было болотисто. Толстый слой мха, подобно губке, впитывал в себя воду и удерживал ее близко к поверхности. Вода эта проступала из-под ног путника на каждом шагу. Ноги тонули в мокром мху, и он с большим усилием освобождал их из топи. Он выбирал себе дорогу от одного открытого места к другому, стараясь идти по следу того, кто прошел тут раньше. След этот вел через скалистые площадки, подобные островам в этом мшистом море.

Хотя он был один, дороги не терял. Он знал, что придет к месту, где сухой карликовый ельник окаймляет берег маленького озера, называвшегося на языке этой страны «Тичиничили», или «Озеро Низких Стволов». В это озеро втекал небольшой ручей, вода которого не была молочной,

подобно воде других ручьев этой местности. Он помнил хорошо, что вдоль этого ручья рос тростник. Он решил следовать по его течению до того места, где течение раздваивается. Там он перейдет ручей и найдет другой, текущий к западу. Он направится вдоль него, пока не дойдет до реки Дизы, куда впадает этот ручей. Здесь он найдет яму для провизии — в потайном месте, под опрокинутой лодкой, с наваленной на нее грудой камней. В этой яме лежат заряды для его пустого ружья, рыболовные принадлежности, маленькая сетка для лова — одним словом, все приспособления для охоты и добывания пищи. Он найдет там также немного муки, кусок свиного сала и бобы.

Там Билл будет ожидать его, и они вместе отправятся на лодке вниз по ДIZE к Великому Медвежьему озеру. Они будут плыть по озеру к югу, все южнее и южнее, пока не достигнут реки Мэккензи. Оттуда они снова двинутся к югу. Таким образом они уйдут от наступающей зимы, от ее льдов и холода. Они дойдут, наконец, до Поста Компании Гудзонова залива, где растут высокие и густые леса и где пищи сколько угодно.

Вот о чем думал путник, продолжая продвигаться. Напряжению его тела соответствовало такое же усилие его мысли, пытающейся убедиться в том, что Билл его не оставил, что он, наверно, будет ждать его у ямы. Этой мыслью он должен был себя успокаивать. Иначе — идти было бесцельно и надо было ложиться на землю и умирать. Мысль его усиленно работала. Наблюдая, как неясный шар солнца медленно опускался к северо-западу, он все снова и снова вспоминал малейшие подробности начала его бегства к югу, вместе с Биллом, от настигавшей их зимы. Снова и снова он мысленно перебирал запасы провизии, спрятанной в яме. Вспоминал он все время и запасы Поста Компании Гудзонова залива. Он не ел два дня, а перед этим долго, очень долго недоедал. Часто он наклонялся, срывал бледные ягоды кустарника, клал их в рот, жевал и глотал. Эти ягоды — семя, заключенное в капсуле с безвкусной жидкостью. На вкус это семя

очень горько. Человек знал, что ягоды совершенно непита- тельны, но терпеливо продолжал жевать. В девять часов он ушиб большой палец ноги о каменную глыбу, пошатнулся и свалился на землю от усталости и слабости. Он лежал неко- торое время без движения, на боку. Затем высвободился из ремней своего дорожного мешка и с трудом принял сидячее положение. Было еще не совсем темно. В свете длящихся сумерек он ощупью старался отыскать между скалами об- рывки сухого мха. Собрав кучу, он зажег огонь — теплящий- ся, дымный огонь — и поставил на него кипятить котелок.

Он развернул свою поклажу и стал считать спички.

Их было шестьдесят семь. Для верности он три раза их пересчитал. Он разделил их на небольшие пакеты, которые завернул в непромокаемую вощеную бумагу и положил одну пачку в пустой кисет для табака, другую — за подкладку измятой шляпы, третью — под рубашку у тела. Сделав это, он вдруг поддался паническому страху, снова развернул их и пересчитал. И снова насчитал шестьдесят семь.

Он высушил обувь у огня. Его мокасины разлезались на мокрые лоскуты. Шерстяные носки были сплошь в дырках, а ноги — изранены и окровавлены. Лодыжка горела от выви- ха. Он осмотрел ее и нашел, что она распухла и стала величи- ной с колено. Он оторвал длинную полосу от одного из своих двух одеял и туго завязал ногу. Другими полосками он обернул ноги, пытаясь заменить этим мокасины и носки. Затем выпил кипящую воду из котелка, завел часы и полез под верхнее одеяло. Он спал мертвым сном. Но недолго было темно. Сол- нце встало на северо-востоке. Вернее, заря забрезжила в этом месте, ибо солнце осталось скрытым за серыми облаками.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он глядел прямо вверх в серое небо и знал, что голоден. Повернувшись на локте, он внезапно вздрогнул от раздавшегося вблизи громкого фырканья и увидел карибу, рассматривающего его с живым любопытством. Животное находилось на расстоянии не более пятидесяти футов от него. Мгновен- но и остро он ощутил вкус оленьего филе и увидел его

шипящим над огнем. Машинально взял неразряженное ружье, взвел курок и нажал на спуск. Олень фыркнул и отскочил. Его копыта гремели, когда он бежал по скалам.

Путник выругался и отбросил ружье. Он громко застонал, пытаясь встать на ноги. Это была тяжелая и медленная работа. Его суставы напоминали ржавые шарниры. Они двигались с трудом, задерживаемые трением связок. Чтобы согнуть какой-нибудь член, требовалось огромное усилие воли. А после того, как он встал окончательно на ноги, целая минута пошла на то, чтобы выпрямиться.

Он вполз на небольшое возвышение и обозрел местность. Не было ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого моря мхов, где изредка выделялись такие же серые скалы, серые озерки и серые ручьи. Не было даже намека на солнце. Он не имел понятия о том, где находится север, и забыл дорогу, по которой накануне вечером пришел в это место. Но он знал, что не потерял пути. Скоро он придет в Страну Низких Стволов. Он чувствовал, что она лежит где-то налево, недалеко — быть может, сейчас же за соседним низким холмом.

Он вернулся, чтобы уложить свою поклажу для путешествия. Затем удостоверился в существовании трех отдельных пачек спичек, хотя не пересчитывал их. Но он колебался, раздумывая при виде плоского мешка из лосиной кожи. Его размеры были невелики, и он мог покрыть его обеими руками. Но он знал, что мешок весит пятнадцать фунтов — столько же, сколько вся остальная поклажа. Это беспокоило его. Он отложил мешок и стал свертывать поклажу. Но скоро взор его вернулся к кожаному мешку, и он снова за него схватился, бросив вызывающий взгляд на окружающую местность, словно упрекая пустыню в желании украсть его добро. Когда же он встал на ноги, с тем чтобы двинуться дальше, и пошел вперед, тяжело ступая, мешок был включен в ношу на его спине.

Он двигался влево, изредка останавливаясь, чтобы собирать ягоды с кустов. Его нога окоченела, и прихрамывание стало более заметным. Но боль эта была незначительна в сравнении с болью в животе. Голод мучил его с такой остротой, что он

не мог удерживать в голове направление, ведущее в Страну Низких Стволов. Ягоды не ослабляли этих мук и в то же время своей едкостью болезненно раздражали полость рта.

Он вышел в долину и вспугнул там несколько птармиганов¹, сидевших на скалах и на кустах. Они поднялись, хлопая крыльями, издавая звуки «кер-кер-кер». Он бросал в них камни, но попасть не мог. Тогда он положил свою поклажу на землю и начал к ним подкрадываться, подобно тому как кошка подкрадывается к воробью. Острые скалы ранили ноги, и колени его оставляли за собой на земле кровавый след. Но боль эта была несравнима с мучениями голода. Он полз по мокрому мху, и одежда его пропитывалась водой, леденившей члены. Его голод был так мучителен, что он ничего этого не замечал. Но птармиганы удалялись все дальше и дальше, и наконец их крик стал для него словно насмешкой. Он проклинал их и кричал, подражая их «кер-кер-кер».

Наконец он дополз до одной птицы, которая, вероятно, спала. Он не видел ее, пока она не вылетела из своего убежища в скалах и не порхнула мимо его лица. Он пытался схватить ее, и в руке остались три пера из ее хвоста. Глядя вслед улетающей птице, он остро и мучительно ее ненавидел. Затем вернулся к прежнему месту и навьючил на себя мешок.

В течение дня он вышел в долину, где дичи было еще больше. Стадо северных оленей — их было больше двадцати — прошло мимо, дразня его своей близостью. Он ощущал сумасшедшее желание бежать за ними и был почти уверен, что сможет их настигнуть. Чернобурая лисица бежала ему навстречу, неся в зубах птармигана. Путник закричал. Это был страшный крик, и лисица испуганно метнулась в сторону, но птармигана не бросила.

Поздно, после полудня, он шел вдоль ручья, молочного от извести, пробегающего между редкими зарослями тростника. Крепко ухватившись за тростник у самого его корня,

¹ Птицы из породы тетеревов, зимой меняющие свою черную или коричневую окраску на белую.

он вытащил нечто вроде молодой луковицы, размером не больше кровельного гвоздя. Она была нежна, и зубы с наслаждением в нее вонзились. Но волокна корня были крепки и пропитаны водой. Как и ягоды, тростник был непитателен. Путник отбросил свою поклажу и на четвереньках вполз в заросли, вырывая луковицы и перетирая их зубами, подобно травоядному животному.

Он очень устал и часто хотел лечь и заснуть. Но его подгонял голод, — гораздо острее, чем желание достичь Страны Низких Стволов. Он искал лягушек в лужах и рыл ногтями землю, отыскивая червей, хотя знал, что так далеко на севере не водятся ни лягушки, ни черви.

Он тщетно искал в каждой луже. Наконец, уже в сумерках, он нашел в одной из луж одинокую рыбу — небольшого пискаря¹. Он погрузил в воду руку до плеча, но рыба увильнула. Тогда он опустил обе руки и поднял со дна мелоизвестковый ил. В своем возбуждении он упал в лужу и вымок до пояса. Но вода стала слишком мутной, чтобы в ней можно было разглядеть рыбу, и он вынужден был ждать, пока ил уляжется.

Преследование продолжалось, пока вода снова не стала мутной. Но он не мог ждать. Он отстегнул от своего мешка ведро и стал вычерпывать воду из лужи. Сперва он вычерпывал, яростно плеща на себя водой и выливая ее на такое небольшое расстояние, что она текла обратно в лужу. Тогда он стал работать более внимательно, пытаясь оставаться хладнокровным, хотя сердце его колотилось и руки дрожали. Через полчаса в луже воды не осталось. Но рыбы не было. Он нашел скрытую щель между камнями, через которую она ушла в соседнюю большую лужу... А из этой лужи нельзя было бы вычерпать воду в течение суток. Знай он только об этой щели, он мог бы закрыть ее камнем в самом начале — и поймал бы рыбу.

¹ Пискарь (пискун, вьюн) — род рыбы из подсемейства вьюновых. Живет в озерах и реках с илистым дном; при высыхании воды зарывается в ил и может долго просуществовать вне воды. Не следует смешивать пискаря с пескарем, обитателем чистых проточных вод, рыбой из семейства карповых.

Так думал он и опустил, съжившись, на мокрую землю. Сперва он плакал вполголоса, а затем громко, словно обращаясь с жалобой к беспощадной пустыне. И долго еще потом он всхлипывал без слез.

Он зажег костер и согрелся тем, что пил горячую воду. Затем, как и накануне, устроил себе ночлег на сухой каменной площадке, осмотрел, сухи ли спички, и завел часы. Одежда была мокрая и липкая. Его нога болезненно ныла. Но он сознавал только, что голоден. Он спал тревожно и видел во сне нескончаемые пиры и празднества, видел тонкие яства.

Проснулся он простуженным и больным. Солнца не было. Серая земля и серое небо еще больше потемнели. Дул сырой ветер, и первые снежинки покрывали белеющим покровом вершины холмов.

Воздух вокруг него сгушался и белел в то время, как он раскладывал костер и кипятил воду. Это был не то снег, не то дождь: хлопья падали большие и мокрые. Сперва они таяли, как только прикасались к почве, но их становилось все больше и больше, белый покров постепенно расстилался кругом. Снег тушил огонь и портил собранный путником запас сухого мха.

Это послужило сигналом для отправки в путь. Он двинулся с поклажей на спине. Он не знал, куда идет. Его больше не заботила мысль о Стране Низких Стволов, и он перестал думать о Билле и о яме под перевернутой лодкой около реки Дизы. Он помнил только одно, и это был глагол «есть». Он сходил с ума от голода. Он не обращал внимания на направление своего пути, стараясь только держаться вдоль дна долины. Он прокладывал себе путь через мокрый снег к ягодам на кустах и шел, ощупывая тростники и вырывая их корни. Но последние были совсем безвкусны. Он нашел какую-то кислую траву и съел все ее побеги. Но ее почти не было видно, так как это оказалась ползучая поросль, исчезающая под тонким покровом снега.

В этот вечер он не разводил огня и остался без горячей воды. Он лег спать под одеяло и спал беспокойным голод-

ным сном. Снег превратился в холодный дождь. Он несколько раз просыпался и ощущал его капли на своем лице.

Проглянул день — серый день без солнца. Дождь перестал. Острота голода исчезла. Чувствительность, поскольку она вызывала стремление насытиться, была истощена. Осталась тупая, тяжелая боль в желудке, но это не особенно ему мешало. Он стал рассудительней и был снова озабочен мыслью о Стране Низких Стволов и складе у реки Дизы.

Он разорвал остатки одного из своих одеял и обмотал ими израненные ноги. Затем снова перевязал больную ногу и приготовился продолжать путь. Осматривая поклажу, он долго раздумывал над плоским мешком из лосиной кожи, но в конце концов захватил его с собой.

Под действием дождя снег растаял, и только вершины холмов продолжали белеть. Показалось солнце. Ему удалось определить по компасу направление, и он знал теперь, что потерял дорогу. Быть может, в блужданиях последних дней он подался слишком далеко влево. Поэтому он ударился вправо, с тем чтобы уравновесить возможное отклонение от правильного пути.

Хотя муки голода уже потеряли остроту, он был очень слаб и сознавал это. Он вынужден был часто останавливаться для отдыха и в это время жевал ягоды и корни тростника. Язык его был сух и распух, казалось, он покрылся тонким пухом. Во рту было горько. Сердце также причиняло ему много хлопот. Когда он ступал несколько шагов, оно начинало сильно биться, а затем словно прыгало вверх и вниз в мучительных перебоях, от которых ему трудно дышалось и кружилась голова.

В середине дня в большой луже он нашел двух пискарей. Вычерпать воду оказалось нереально, но теперь он был хладнокровнее, и ему удалось поймать их в жестяное ведро. Они были не длиннее мизинца, но он уже не ощущал особенного голода. Тупая боль в животе постепенно стала исчезать. Казалось, что желудок его дремлет. Он съел рыб сырыми, заботливо разжевывая их, ибо еда теперь была

делом простого благоразумия. Есть он не хотел, но знал, что должен есть, чтобы жить.

Вечером он поймал еще трех пискарей. Он съел двух и оставил третьего про запас для завтрака. Солнце высушило клочки мха, и он смог согреться горячей водой. В этот день он сделал не больше десяти миль. За следующий день, двигаясь только тогда, когда ему позволяло сердце, он одолел не более пяти миль. Но желудок не причинял ему ни малейшего беспокойства. Он собрался спать. Страна была неведома.

Все чаще встречались карibu, попадались и волки. Нередко их вой проносился по пустыне, и раз он увидел впереди трех крадущихся волков. Еще одна ночь прошла. Утром, будучи более рассудительным, он развязал ремень, связывавший плоский мешок из лосиной кожи. Из него высыпался золотой песок и выпали слитки. Он разделил золото на две части и спрятал одну из них на выступе скалы, завернув слитки в кусок одеяла. Другую часть он положил обратно в мешок. Оторвав полосы единственного оставшегося одеяла, он обернул ими свои ноги. Он все еще цеплялся за ружье, так как в яме у реки Дизы находились заряды.

День был туманный. В нем снова проснулся голод. Он был очень слаб, а голова кружилась так сильно, что временами он переставал видеть. Теперь он часто спотыкался и падал. Раз, споткнувшись, он свалился прямо над гнездом птармигана. В гнезде было четыре птенчика, накануне вылупившихся из яйца, — маленькие комочки трепещущей жизни, буквально на один глоток. Он жадно съел их, запихивая живыми в рот и раздавливая зубами, как яичную скорлупу. А мать с криком летала вокруг него. Он тщетно пытался сшибить ее ружьем. Затем стал бросать в нее камнями и случайным ударом перебил крыло. То перепархивая, то волоча разбитое крыло, она пыталась спастись.

Цыплята только обострили его аппетит. Он неловко подпрыгивал на своей больной ноге, бросая в птицу камни и дико крича; затем замолкал, продолжая за ней гнаться, падая

и терпеливо поднимаясь или протирая глаза руками, когда голова его слишком кружилась. Охота увлекла его на болотистое место на дне долины, где он увидел на мокром мху следы человека. Это не были его следы — он хорошо это видел. Должно быть, здесь проходил Билл. Но остановиться он не мог, так как птица убегала все дальше. Он сначала ее поймает, а затем расследует это дело.

Птармигана он загнал. Но и его силы иссякли. Судорожно двигаясь, птица лежала на боку. И он лежал на боку, шагах в десяти от нее, задыхаясь и не имея сил, чтобы поползти к ней. Когда же он оправился, она тоже собралась с силами и упорхнула в то время, когда его жадная рука уже готовилась ее схватить. Долго продолжалось преследование. Но наступила ночь, и птица спаслась. Он споткнулся от слабости и упал лицом вниз, с мешком на спине. Падая, он разрезал себе щеку. Долгое время он не двигался. Затем перевернулся на спину, завел часы и лежал так до утра.

Еще один туманный день. Половина одеяла ушла на обмотки для ног. Он не нашел следов Билла. Впрочем, это не имело значения. Голод гнал его слишком властно. Он только спрашивал себя, не потерялся ли и Билл в этой пустыне. К полудню ему неведомо стало тащить свою ношу. Снова он разделил золото, высыпав на этот раз половину прямо на землю. Днем он выбросил остальную часть и оставил только половину одеяла, жестяной котелок и ружье.

Начались галлюцинации. Ему казалось, что у него остается один нетронутый заряд: лежит, случайно не замеченный, в затворе ружья. В то же время он знал, что затвор пуст. Но галлюцинация ежеминутно возобновлялась. Устав бороться с ней, он открыл затвор — и нашел его пустым. Разочарование его было так же велико, как если бы он в самом деле твердо надеялся найти патрон.

Это повторялось много раз, и он то и дело открывал затвор, чтобы убедиться, что в нем нет заряда. Временами его мысль блуждала в еще более фантастических грезах. Он шел, точно автомат, а в это время странные идеи и представления копо-

шились, словно черви, в его мозгу. Впрочем, эти уходы в область нереального длились недолго: снова и снова муки голода возвращали его к действительности. Раз он внезапно пробудился от такого сна наяву и увидел зрелище, которое едва не заставило его упасть в обморок. Перед ним стояла лошадь! Он не верил своим глазам и усиленно стал протирать их, чтобы отогнать густой туман, окутавший его зрение. Постепенно он разобрал, что это не лошадь, а большой бурый медведь. Зверь глядел на него с воинственным любопытством.

Человек инстинктивно поднял ружье на половину расстояния до плеча, и только несколько секунд спустя к нему вернулась способность соображать. Он опустил ружье и вынул из ножен у бедра охотничий нож, попробовал пальцем его лезвие и убедился, что оно отточено. Он бросится на медведя и убьет его! Но сердце его начало отбивать угрожающее: тук-тук-тук. Затем — ряд перебоев, и он почувствовал, будто железный обруч сжимает его лоб и туман овладевает его мозгом.

Его смелость стала исчезать, сменяясь волной страшного испуга. А что если зверь нападет на него — такого слабого, почти беззащитного?

Он выпрямился и принял возможно более внушительную позу, держа нож и глядя прямо в глаза медведю. Медведь неловко подвинулся на несколько шагов, встал на задние лапы и зарычал. Если бы человек побежал, он бросился бы за ним. Но человек не бежал: его обуяло мужество страха. Он тоже издал яростный крик, и в голове его билась неизбывная любовь к жизни и звучал неодолимый страх, столь неразрывно связанный с этой любовью.

Медведь слегка отступил, рыча, но явно боясь этого таинственного существа, стоящего перед ним твердо и бесстрашно. Человек не двигался; он застыл как изваяние, и только когда медведь скрылся и опасность миновала, им овладел припадок нервной дрожи, и он свалился в изнеможении на мокрый мох.

Но вскоре, собравшись с силами, он двинулся дальше, охваченный новым страхом. Теперь он боялся уже не смерти от недостатка пищи, но был одержим ужасной мыслью,

что звери разорвут его раньше, чем голод истощит последнюю частицу его жизненной силы. Вокруг бродили волки. Их вой слышался отовсюду, наполняя воздух угрозой; от этой угрозы, в своем начинающемся безумии, он слабо отмахивался руками, словно отталкивал от себя колеблемый ветром тент палатки.

Волки то и дело приближались по двое и по трое, пересекая путь, каким он шел. Но они все же держались от него на достаточном расстоянии — видимо, их было немного. Они привыкли охотиться за карибу, который оказывает мало сопротивления, и с опаской относились к человеку — странному животному, ступающему на задних ногах и способному, быть может, защищаться когтями и зубами.

К вечеру он дошел до места, где лежали кости, недавно оставленные волками. Их добычей был молодой карибу — час назад он был еще жив. Путник осмотрел кости, начисто обглоданные и вылизанные, розоватые — клеточная ткань, видимо, еще не отмерла. Неужели и он превратится в эту грудку костей до конца дня? Так вот что такое жизнь?! Умереть — разве это не значит уснуть? В смерти — великое успокоение и мир. Так почему же он не хочет умереть?

Но он недолго философствовал. Он присел на мху, высасывая из костей соки, еще сохранившиеся в клетках. Сладкий вкус мяса, тонкий и неуловимый, как воспоминание, выводил его из себя. Ломая зубы, он принялся разгрызать кости, затем стал разбивать их камнем и истолок их в порошок, который проглотил. Второпях он ударял себя по пальцам и порой недоумевал, почему не чувствует боли.

А затем наступили ужасные дни со снегом и дождем. Он уже не знал, когда устраивает стоянку и когда снимается с лагеря. Шел он и по ночам и днем, отдыхал везде, где ему случалось падать; и когда жизнь вновь вспыхивала, полз дальше. Сознательно он уже не боролся. Жизнь — сама жизнь, не желавшая умирать, — гнала его вперед. Он уже больше не страдал. Его нервы притупились, онемели, а в сознании проплывали жуткие видения и сладостные сны.

На ходу он сосал и жевал истолченные кости карибу, которые собрал и унес с собою. Он не переходил больше через холмы и ущелья, но машинально шел вдоль большого потока, протекавшего по дну широкой неглубокой долины. Но он не видел ни воды, ни долины. Он ничего не воспринимал, кроме своих видений. Душа и тело его как будто шли — вернее, ползли рядом, — оставаясь разъединенными и связанными одной тонкой нитью.

Он проснулся в полном сознании, лежа на спине на выступе скалы. Солнце ярко сияло. Неподдалеку слышалась поступь карибу. В уме его проносились смутные воспоминания о дожде, ветре и снеге, но он не знал, боролся ли с бурей два дня либо две недели.

Он лежал некоторое время без движения, отогревая на солнце свое изможденное тело. Хороший день, думал он. Может быть, ему удастся определить свое местонахождение? Под ним, внизу, текла широкая и спокойная река. Он не знал ее и удивился. Медленно проследил он взглядом ее течение, выходящее изгибами между пустынными, голыми холмами; холмы эти выглядели более оголенными и низкими, чем виденные им ранее. Медленно и внимательно, без возбуждения и даже без обычного интереса он следил за течением этой незнакомой реки и увидел, что она вливается в яркое и блестящее море. Это не произвело на него особенного впечатления. Галлюцинация или мираж, подумал он, вероятнее всего, галлюцинация — следствие его расстроенного душевного состояния! И словно в подтверждение он увидел корабль, стоявший на якоре в открытом море. На мгновение он закрыл глаза и затем снова раскрыл. Странно — видение не исчезало! Но как перед тем он знал, что не могло быть зарядов в пустом затворе ружья, — так и теперь был уверен в призрачности моря: кораблей в сердце пустыни быть не могло. И вдруг он услышал за собой странное сопение и как бы задыхающийся кашель. Медленно, очень медленно, едва двигаясь от слабости и окования, он перевернулся на другую сторону. Вблизи ничего не было видно, но он терпеливо ждал. Снова раздались сопе-

ние и кашель, и в нескольких десятках шагов он увидел между двумя скалами серую голову волка. Острые уши его, однако, не стояли приподнятыми вверх, как обычно у волков, глаза выглядели мутными и налились кровью, а голова уныло и безнадежно была опущена. Животное все время мигало на солнечном свете и казалось больным. В то время как он на него смотрел, оно снова засопело и закашляло.

«Это, по крайней мере, — действительность», — подумал он и повернулся в другую сторону, чтобы убедиться, что галлюцинации уже нет. Но море все еще блестело вдали, и корабль был ясно виден. «Неужели это в самом деле действительность?» Он закрыл глаза и некоторое время размышлял. И вдруг понял. Он шел не на север, а на восток, уходя от реки Дизы и двигаясь в направлении Долины Медных Рудников. Этот широкий и медленный поток — Медная река. Мерцающее море — Ледовитый океан. Корабль — китоловное судно, зашедшее далеко на восток из устья реки Мэккензи. Оно стояло на якоре в заливе Коронации.

Он вспомнил карту, виденную им когда-то в конторе Компании Гудзонова залива, и все стало для него ясным и понятным.

Он обратился к делам, не терпящим отлагательств. Обмотки оказались сношенными, и ноги его превратились в бесформенные куски мяса. Одеяло он уже потерял; ружья и ножа тоже не было. Он потерял где-то шапку с пачкой спичек в подкладке. Но спички на его груди сохранились сухими в табачном кисете и в пакете из вошеной бумаги. Он посмотрел на часы. Они показывали четыре часа и все еще шли. Очевидно, он их машинально заводил.

Спокойствие и хладнокровие не покидали его. Несмотря на чрезвычайную слабость, боли он не ощущал. И голоден не был. Мысль о еде не особенно его тревожила, и сознания он не терял. Оторвав кусок ткани от брюк снизу до колен, он обмотал его вокруг ног. Каким-то образом ему удалось сохранить жестяной котелок. Он сознавал, что ему предстоит тяжелый путь к кораблю, и решил сперва напиться горячей воды.

Его движения были медленны, и он дрожал, как в лихорадке. Решившись встать, чтобы идти собирать сухой мох, он обнаружил, что не может подняться. Он повторил попытку — так же безуспешно — и затем удовольствовался тем, что пополз на руках и ногах. Пришлось проползти мимо больного волка. Животное неохотно отодвинулось, облизывая губы ослабевшим языком. Он заметил, что язык этот был не красный, как обычно, а желто-бурый и покрыт каким-то сухим налетом.

Выпив котелок горячей воды, путник нашел, что может не только стоять, но даже двигаться — так, впрочем, как мог бы передвигаться и умирающий. Уже ежеминутно он был вынужден отдыхать. Его поступь была слабой и неверной, а его движения похожи на движения больного волка. Шел он медленно, и когда темнота скрыла мерцающее море, оказалось, что за весь день он прошел только четыре мили.

Ночью он не раз слышал кашель больного волка и мычание оленей.

Он знал, что больной волк тащится по его следу, надеясь, что человек умрет первым. Утром он увидел зверя, наблюдавшего за ним жадным и голодным взглядом. Зверь полулежал-полустоял, с хвостом между ногами, как несчастная, брошенная собака, и дрожал от холода, безжизненно скаля зубы, когда человек обратился к нему хриплым шепотом.

Взошло яркое солнце, и путник, шатаясь и падая, шел все утро к кораблю. Погода была исключительная. То было короткое индейское лето Дальнего Севера. Оно могло длиться неделю и в любой день исчезнуть.

После полудня путник напал на след. Это был след человека, который уже не мог идти, а тащился на четвереньках. Путник сообразил, что это мог быть Билл, но думал об этом без особенного интереса. Он не испытывал любопытства, ибо давно уже потерял способность ощущать и чувствовать настоящего. Он стал нечувствителен к боли. Желудок и нервы его заснули. Но трепетавшая в нем жизнь неустанно гнала его вперед. Он чувствовал себя совершенно изможденным,

а жизнь не сдавалась. Подстегиваемый ею, он продолжал есть ягоды, ловить пискарей, пить горячую воду и с опаской следил за идущим по пятам волком. Скоро след тащившегося впереди человека пресекся и он наткнулся на несколько свежеебглоданных человеческих костей. Вокруг них сырой мох сохранил следы волчьей стаи, а на мху лежал плоский мешок из лосиной кожи — точь-в-точь такой же, как и его. Мешок был разорван острыми зубами. Он поднял его, хотя мешок был слишком тяжел. Билл нес его до конца! Ха-ха! Вот когда можно было посмеяться! Он — оставленный позади — выживет и понесет мешок к мерцающему морю! Его смех звучал хрипло и жутко — подобно карканью ворона. Больной волк присоединился к нему унылым воем. Но человек вдруг замолк. Как может он смеяться над Биллом, когда это, лежащее здесь, — Билл? Эти кости розово-белые и чистые — Билл!..

Он отвернулся. Да, конечно, Билл его бросил. Но все же он не возьмет золота и не будет сосать его костей. Впрочем, подумал он, Билл это сделал бы, случись все наоборот.

Он подошел к луже воды, наклонился над ней, ища пискарей, и вдруг отдернул голову, как будто его ужалили. В воде он увидел свое собственное отражение — такое страшное, что он был потрясен. В луже плескались три пискаря, но она была слишком велика, чтобы можно было вычерпать из нее воду. После нескольких неудачных попыток поймать их котелком он оставил это намерение. Был он так слаб, что боялся упасть в воду и утонуть. Поэтому и не решался довериться реке и продолжать путешествие на каком-нибудь странствующем бревне, выброшенном на песчаный берег.

За этот день расстояние между ним и кораблем уменьшилось приблизительно на три мили. В следующий день — на две, ибо он уже мог только ползти, подобно тому как полз Билл. В конце пятого дня корабль находился еще в семи милях от него, а он не в силах был делать больше одной мили в день. Но индейское лето все еще держалось, и он продолжал ползти, временами падая от слабости и перекачиваясь с бока на бок. Все время за собой он слышал кашель

и сопение больного волка. Колени человека превратились — так же, как и его ноги — в сырое мясо, и хотя он завертывал их в куски рубашки, оторванные от ее спины, они оставляли за собой на мху и на камнях красный след. Раз, обернувшись, он увидел, что волк жадно лижет этот кровавый след, и он вдруг понял, что ждет его, если... если он не поймает этого зверя! И тогда разыгралась одна из самых страшных трагедий: больной ползущий человек, больной прихрамывающий волк — два живых существа — тащились, умирающие, через пустыню, охотясь друг на друга.

Если бы волк был здоров — пожалуй, было бы легче. Но мысль о том, что он послужит пищей для этого отвратительного полумертвого существа, была ему противна. Он стал разборчив. Он снова начал галлюцинировать, и проблески сознания становились все реже и короче.

Раз он проснулся от сопения у самого его уха. Волк неловко отпрыгнул, теряя устойчивость и падая от слабости. Это было нелепо, почти смешно, но отнюдь его не забавляло. Впрочем, он не боялся. Ему было уже не до этого. Но мысль его оставалась ясной, и, лежа, он обдумывал положение. Корабль был не более как в четырех милях от него. Он видел его явственно, протерев глаза для того, чтобы смахнуть расстилавшийся туман. Он видел также парус небольшой лодки, прорезывающей воду блестящего моря. Но ему уже не проползти этих четырех миль! Сознание этого давало ему своего рода спокойствие. Он знал, что не может проползти даже одной мили. И все же он страстно хотел жить. Было бы бессмысленно умереть после всего того, через что он прошел! Он не мог примириться с такой судьбой. Умирая, он отказывался умереть. То было явное безумие: находясь в самих когтях смерти, он бросал ей вызов и вступал с ней в решительную схватку!

Он закрыл глаза и стал тщательно собираться с силами, пытаясь не отдаваться смертельной слабости, постепенно охватывавшей — подобно нарастающему приливу — все его существо. Эта смертельная усталость была в самом деле похожа на морской прилив. Она двигалась, приближалась

и постепенно затопляла сознание. Иногда он чувствовал себя почти затопленным ею, и ему удавалось осиливать беспомощность только моментами. В результате какого-то странного душевного процесса воля его напрягалась, и он мог сопротивляться наступающему его забвению.

Терпение волка поражало. Но не менее поразительно было терпение человека. Полдня он лежал без движения, борясь с забвением. По временам томление нарастало в нем, и он снова начинал галлюцинировать. Но все время — и бодрствуя и в полубезытии — он прислушивался к хриплому дыханию вблизи себя.

Вдруг он перестал его слышать. Он медленно очнулся от сна и почувствовал, что чей-то язык лижет его руку. Он ждал. Зубы, схватившие его тело, медленно сжимались; давление их постепенно увеличивалось. Волк напрягал последние силы, чтобы вонзить зубы в добычу, которую он так давно поджидал. Но человек тоже долго ждал, и укушенная рука схватила волка за челюсть. Медленно — волк едва-едва боролся, а рука слабо его держала — другая рука тоже потянулась, чтобы схватить зверя. Через несколько минут человек всем своим весом опрокинулся на зверя. Руки были слишком слабы, чтобы задушить волка, но он прижался лицом к пушистому горлу, и рот его был полон шерсти. Через полчаса человек почувствовал в своем горле какую-то теплую струю. Это не было приятно... Словно растопленный свинец вливался ему в желудок. Он глотал, напрягая всю свою волю. Затем он перевернулся на спину и заснул.

На борту китобойного судна «Бедфорд» находилась научная экспедиция. С палубы кто-то заметил на берегу странное существо. Оно двигалось по песку к воде. Определить, что это за существо, члены экспедиции не могли и, будучи любознательными, сели в лодку и отправились к берегу. Там они увидели некое существо — правда, еще живое, но которое едва ли можно было назвать человеком. Слепое и без сознания — оно извивалось по земле, точно громадный

червяк. Большинство его движений было безрезультатно, но оно все же проявляло большое упорство. Извиваясь и перекатываясь, оно подвигалось вперед со скоростью приблизительно нескольких десятков футов в час.

Три недели спустя человек лежал на постели китобойного судна «Бедфорд» и со слезами, струящимися по исхудалому лицу, рассказывал, кто он и что пережил. Он говорил несвязно о своей матери, о солнечной местности в Южной Калифорнии, о доме среди апельсиновых рощ и цветов.

Через несколько дней он сидел за столом с учеными и офицерами корабля. Он наслаждался видом большого количества поданных блюд, ревниво следя за тем, как исчезала пища. Каждый съедаемый кусок он провожал взглядом, полным глубокого сожаления. Его преследовал страх, что запасы провизии иссякнут. Он был в здравом уме, но за едой ненавидел этих людей и постоянно расспрашивал повара, юнгу, капитана про запасы провизии. Они его успокаивали бесчисленное число раз. Но он не верил и подглядывал в кладовую, чтобы лично удостовериться в услышанном.

Стало заметно, что человек этот полнеет. Он становился толще с каждым днем. Ученые качали головами и строили теории. Они ограничили его порции за столом, но, несмотря на это, он все полнел, словно надувал под своей одеждой.

Матросы смеялись. Они знали, в чем тут дело. И когда ученые стали за ним следить, они тоже узнали. Они увидели, как он крадется после завтрака и, подобно нищему с протянутой рукой, спрашивает матроса. Матрос смеется и дает ему кусок морского сухаря. Тот жадно его схватывает, любит им, как скупец золотом, и прячет за пазуху. То же он проделывал и с подачками других матросов.

Ученые не показали виду. Они оставили его в покое, но незаметно осмотрели его постель. Она была кругом обложена сухарями, и в матрасе оказались сухари, каждый уголок и щель были забиты крошками. И при этом он был в здравом уме. Он только принимал меры против возможного голодания. Он должен выздороветь от этой навязчивой идеи, гово-

рили ученые. И в самом деле, он выздоровел раньше даже, чем якорь «Бедфорда» загремел в бухте Сан-Франциско.

БУРЫЙ ВОЛК

Трава была еще покрыта росой, и она несколько задержалась, чтобы надеть калоши. Выйдя из дому, она нашла мужа, погруженного в созерцание распускающегося миндального бутона. Она окинула ищущим взором высокую траву и местность вокруг фруктовых деревьев.

— Где же Волк?

— Он только что был здесь. — Уолт Ирвин мигом оторвался от поэтических и метафизических раздумий, вызванных чудом органического развития цветка, и посмотрел вдаль. — Я видел, как он гнался за кроликом.

— Волк! Волк! Сюда! Волк!.. — закричала Мэдж. Они миновали расчищенную полянку и пошли по лесной тропинке, украшенной восковыми колокольчиками манзаниты.

Ирвин всунул в рот мизинцы обеих рук и помог ей резким свистом.

Закрыв уши ладонями, она сделала гримасу.

— Однако для поэта, нежно настроенного, ты умеешь издавать довольно-таки некрасивые звуки. Мои барабанные перепонки... знаешь, они полопались. Ты свистишь громче, чем...

— Орфей?

— Нет, я хотела сказать, чем уличный бродяга, — заключила она строго.

— Поэзия не мешает быть практичным. Мне, по крайней мере, она не мешает. Я ведь не являюсь тем легкомысленным гением, который не способен продавать свои перлы журналам.

Он принял шутливо-напыщенный вид и продолжал:

— Я не певец чердаков, но и не салонный соловей. Почему? Да потому, что я практичен. Песнями я богат, а их я могу превращать, конечно, обменивая, в домик, увитый цветами,

в прекрасный горный луг, в рощищу... Наконец, во фруктовый сад из тридцати семи деревьев, в длинную грядку ежевики да в две короткие грядки земляники, не говоря уже о четверти мили журчащего ручья. Я — торгош красоты, продавец песен, и о пользе я не забываю. Нет, моя дорогая Мэдж, я не забываю. Я пою песни и, благодаря издателям журналов, превращаю их в дыхание западного ветра, шепчущего в наших рощах, и в журчание струй и ручейков между мшистых камней. И от журчащих струй и дыханий ветерка зарождается песнь: то снова моя песнь возвращается ко мне. Она не та, какую я пел, она другая, но вместе с тем она та же самая, но только чудесно преображенная...

— О, если бы все твои превращения были так удачны! — засмеялась она.

— Назови хоть одно неудачное.

— Эти два великолепных сонета, которые ты превратил в корову, оказавшуюся потом по дойности худшей в округе.

— Она была прекрасна... — начал он.

— Но она не давала молока, — прервала его Мэдж.

— Но она была красива, не правда ли? — настаивал он.

— Вот тут-то и видно, что не всегда красота приносит пользу. А вот и Волк.

В чаще, покрывающей склон холма, раздался треск сухостоя, и вслед за этим в сорока футах над ними, на краю скалистой стены, показалась волчья голова. Передние лапы Волка сдвинули камешек, и с настороженными ушами и неподвижными глазами он наблюдая падение камня, пока тот не ударился о землю у их ног. Тогда он перевел на них взгляд, оскалил зубы и словно ухмыльнулся.

— Волк! Волк, хороший Волк! — звали его мужчина и женщина.

При звуке их голосов собака прижала уши, и голова ее как будто ластилась под невидимой рукой.

Они смотрели, как она лезла обратно в чашу, и продолжали идти. Несколько минут спустя на повороте дороги, где спуск был не так крут, Волк присоединился к ним. Он сдер-

жанно проявлял свои чувства. После того как мужчина потрещал его около ушей, а женщина приласкала, он вырвался и помчался вперед по тропинке — скоро он был уже далеко. Он бежал без усилий, совсем по-волчьи, скользя по земле.

Сложением и тяжестью он походил на крупного волка. Но окрас говорил, что волком он не был. Окрас выдавал в нем собаку — бурый, темно-коричневый, с красноватым оттенком. Спина и плечи были темно-бурыми, светлея на боках, а живот был темно-желтым. Белые пятна на горле, на лапах и над глазами казались грязноватыми, ибо в них также проглядывал бурый оттенок. Глаза его напоминали топазы.

И женщина, и мужчина одинаково любили эту собаку: быть может, отчасти это было связано с теми усилиями, каких стоило им завоевать ее расположение. Когда собака впервые странным образом попала в их горный домик, приручение ее оказалось далеко не легким делом. Голодная, с израненными ногами, она прибежала неизвестно откуда и тотчас же изловила кролика под самыми их окнами. Затем она потащила вниз и заснула у ручья, около кустиков ежевики. Когда Ирвин подошел, чтобы осмотреть гостя, тот на него злобно зарычал; такая же встреча ждала Мэдж, когда она спустилась, чтобы предложить ему, в знак мира, большую тарелку моченого в молоке хлеба.

Гость этот оказался очень необщительной собакой и отвергал все их попытки сближения, не позволяя себя тронуть, всякий раз угрожающе скаля зубы и ошетинивая шерсть. И все же собака осталась. Она ночевала у ручья и съедала пищу, которую они ей приносили, предварительно удостоверившись, что они отошли на достаточное расстояние. Очевидно, она оставалась у них только потому, что находилась в необычайно жалком физическом состоянии. Когда же она немного поправилась, то сразу исчезла.

Тем бы все и кончилось, если бы Ирвин вскоре не поехал по делам в северную часть штата. Проезжая в поезде на границе между Калифорнией и Орегоном, он посмотрел случайно в окно и вдруг увидел своего необщительного

гостя, бегущего вдоль дороги подобно бурому волку. Собака бежала, усталая, но неутомимая, покрытая пылью и грязью от двухсотмильного пробега.

Ирвин был очень импульсивен, как настоящий поэт. Он сошел с поезда на следующей станции, купил у мясника мяса и поймал бродягу в окрестностях города. Обратный путь был совершен в багажном вагоне, и таким-то образом Волк вторично вернулся в горный коттедж. Здесь он был на привязи в течение недели и обласкан обоими супругами. Но ласка их оставалась вынужденно осторожной. Далекий и чуждый, как пришелец с другой планеты, Волк отвечал рычанием на их нежные слова. Он никогда не лаял. За все время его пребывания у них они никогда не слышали его лая.

Приручить его было нелегко. Но Ирвин любил такого рода задачи. Он заказал металлическую пластинку с надписью: «Возвратите Уолту Ирвину. Глэн-Эллен, Округ Сонома, Калифорния». Эта пластинка была привинчена к ошейнику, надетому на шею собаки. Затем ее отпустили, после чего она немедленно исчезла. День спустя была получена телеграмма из Мендосинского округа. За двадцать часов собака пробежала сто миль к северу и все еще бежала, когда ее поймали.

Она вернулась со скорым поездом из Уэльс-Фарто, была привязана в течение трех дней; на четвертый ее освободили, и она снова убежала. На этот раз она достигла Южного Орегона раньше, чем ее поймали и вернули. Всегда, как только ей давали свободу, собака убегала, и всегда — в северном направлении. Как будто какая-то навязчивая идея гнала ее к северу. Ирвин назвал это «инстинктом дома», истратив гонорар за целый сонет на уплату за возвращение собаки из Северного Орегона.

В другой раз бурому страннику удалось пробежать всю Калифорнию, Орегон и большую часть Вашингтона, раньше чем его вернули. Путешествовал он с замечательной скоростью. Поев и отдохнув, собака, как только ее освобождали, пускалась изо всех сил бежать через обширные пространства. В первый день она могла пробежать полтора ста миль. Затем двигалась с ежедневной скоростью приблизительно в сто

милль — и так вплоть до поимки. Она всегда возвращалась и всегда уходила свежей и сильной, пробиваясь на север, гонимая каким-то непонятным влечением.

Но, наконец, после года тщетных попыток к бегству, она примирилась с неизбежностью и стала жить в коттедже, где в первый день задушила кролика и заснула у ручья. Но даже после этого долгое время прошло, пока она позволила новым своим хозяевам себя погладить. Это было великой победой, ибо они одни могли ее трогать. Ни один из гостей в коттедже подойти к ней не мог. Глухое ворчание раздавалось при приближении каждого незнакомца. Если бы кто-нибудь имел смелость подойти ближе, обнажались зубы, а ворчание превращалось в столь свирепое и злобное рычание, что даже испытанные храбрецы поспешно отступали.

Собаки фермеров боялись ее, ибо знали рычание собак, но никогда еще не слышали рычания волка.

Ничего не известно было хозяевам коттеджа о прошлом этой собаки. Они знали только, что к ним она пришла с юга, но ровно ничего не знали о ее прежнем владельце, от которого она, по-видимому, убежала. Миссис Джонсон — их ближайшая соседка и поставщица молока — уверяла, что эта собака из Клондайка. Ее брат искал золото в этой ледяной стране, и она считала себя авторитетом во всем, что касалось этого вопроса.

Они не спорили с ней. Концы ушей Волка, видимо, были когда-то отморожены, и так сильно, что вылечить их было уже нельзя. Вместе с тем он походил на снимки с собак Аляски, помещаемые в журналах и газетах. Уолт и Мэдж часто обсуждали его прошлое и старались угадать, руководствуясь тем, что они слышали и читали, какова была его жизнь на Севере. Они знали, что Север все еще его привлекает. Ночью они слышали по временам, как он тихо скулит. Когда же дул северный ветер и ударял легкий морозец, им овладевало сильнейшее беспокойство, и он поднимал жалобный вой, похожий на волчий. Но он никогда не лаял. И никакими способами нельзя было заставить его залаять.

Они долго спорили о том, кому из них принадлежит собака. Каждый предъявлял на нее права, указывая на признаки ее преданности ему. Но мужчина, по-видимому, имел преимущество. Главным образом потому, что он был мужчиной. Было ясно, что Волк не имел никакого опыта общения с женщинами. Он их не понимал и никогда не мог примириться с юбками Мэдж. Их шелест всегда внушал ему беспокойство, а в ветреный день она не могла даже подойти к нему.

Но с другой стороны — именно Мэдж его кормила. В ее распоряжении была кухня, и только по ее милости Волку разрешалось переступить священные пределы. Это позволило ей заслужить его расположение, несмотря на препятствие, заключавшееся в ее одежде. Но тогда Уолт постарался приучить Волка лежать у его ног, пока он писал; он потратил на ласки и уговаривания немало времени, но в конце концов все-таки игру выиграл. Его победа объяснилась в основном тем, что он был мужчиной. Мэдж, однако, уверяла, что если бы Уолт по-настоящему занимался превращением песен — вместо того чтобы приручать Волка, — они смогли бы приобрести за это время еще четверть мили журчащего ручья.

— Пора бы мне получить известие об этих триолетах, — сказал Уолт после пятиминутного молчания, продолжая идти по тропе. — В почтовом отделении, наверное, будет чек, и мы превратим его в великолепную гречневую муку, в кленовый сироп и в новую пару галош для тебя.

— И в великолепное молоко великолепной коровы миссис Джонсон, — добавила Мэдж. — Ведь завтра первое число.

Уолт слегка нахмурился, но затем его лицо повеселело, и он ударил рукой по боковому карману.

— Ничего, у меня здесь в кармане чудесная новая корова — первая дойная корова Калифорнии.

— Когда ты написал это? — живо спросила она. Но тут же добавила с укором: — И мне даже не показал!

— Я оставил это стихотворение с тем, чтобы прочесть его тебе на пути в почтовое отделение, как раз вот в таком мес-

течке, — отвечал он, указывая на сухое бревно, где можно было усесться.

Небольшой ручеек вытекал из густых папоротниковых зарослей, скользил по мшистому камню и перебежал дорогу у их ног. Из долины поднималась звонкая песня жаворонка. Вокруг путников, порхая из солнечных просторов в тенистые места, мелькали большие желтые бабочки.

Во время чтения рукописи на дороге под ними послышались тяжелые шаги. Уолт только что окончил чтение стихов и обратился за одобрением к жене, когда незнакомец показался на повороте тропинки. Он был без шапки и сильно вспотел. Одной рукой он вытирал себе лицо платком, в другой держал новую шляпу и крахмальный воротничок, снятый с шеи. Был он крепкого сложения, и казалось, что от его мускулов вот-вот треснет его костюм, купленный, видимо, готовым.

— С жарким днем! — приветствовал его Уолт. Он пользовался каждым случаем, чтобы установить хорошие отношения с сельскими жителями.

Человек остановился и кивнул.

— Я не особенно привык к жаре, — отвечал он, как бы извиняясь. — Скорее больше привык к температуре на нуле.

— Ее вы не найдете в западной стране, — засмеялся Уолт.

— Да, но я ведь не для этого пришел. Я пытаюсь найти свою сестру. Быть может, вы знаете, где она живет. Ее имя Джонсон — миссис Вильямс Джонсон.

— Вы ее брат из Клондайка? — живо воскликнула Мэдж. — Мы о нем так много говорили!

— Да, это я, — ответил он сдержанно. — Мое имя Миллер. Скифф Миллер. Я бы хотел сделать ей сюрприз.

— Вы идете правильно, только свернули на тропинку. — Мэдж встала, чтобы показать ему дорогу, идущую около четверти мили вдоль ущелья. — Вы видите этот хвойный лес? Идите по тропинке, она несколько сворачивает направо. Это приведет вас вскоре прямо к ее дому.

— Благодарю вас, — сказал он. Он хотел тронуться, но, казалось, прирос к земле. Он глядел на Мэдж с восхище-

нием, которое не пытался даже скрыть. Вместе с тем было видно, что это приводит его в смущение.

— Мы хотели бы, чтобы вы нам рассказали про Клондайк, — сказала Мэдж. — Нельзя ли нам прийти как-нибудь, когда вы будете у вашей сестры? А еще лучше — не придете ли вы с ней к нам пообедать?

— Благодарю вас, — проговорил он как бы машинально. Затем, овладев собою, прибавил: — Я не могу долго оставаться. Я должен снова ехать на Север. Видите ли, я заключил контракт с правительством по доставке почты.

Мэдж выразила сожаление. Он сделал новую тщетную попытку уйти, но не мог оторвать своих глаз от ее лица. В своем восхищении он даже пересилил смущение, и теперь, в свою очередь, Мэдж вспыхнула и почувствовала себя неловко.

И как раз в тот момент, когда Уолт готовился что-нибудь сказать, чтобы помочь выйти из затруднительного положения, Волк вышел из кустов и предстал перед ними.

Рассеянность Скиффа Миллера сразу пропала. Красивая женщина мгновенно исчезла из поля его зрения. Он смотрел только на собаку, и изумление было написано на его лице.

— Черт возьми! — произнес он медленно и значительно. Он уселся на бревно, предоставляя Мэдж стоять рядом. При звуке его голоса уши Волка отогнулись, и он радостно оскалил зубы. Затем медленно подбежал к незнакомцу, понюхал его руки и стал лизать их.

Скифф Миллер погладил голову собаки и медленно и значительно повторял:

— Черт меня возьми!.. Извините, — тотчас же поправился он, обращаясь к Мэдж. — Я несколько удивлен, вот и все.

— Мы тоже удивлены, — ответила она. — Мы никогда не видели раньше, чтобы Волк подошел к незнакомцу.

— Вы назвали его Волком? — спросил тот.

Мэдж утвердительно кивнула.

— Я не понимаю, однако, его отношения к вам. Может быть, это потому, что вы из Клондайка. Он ведь клондайкская собака.

— Да, — сказал Миллер рассеянно. Он взял Волка за переднюю лапу, поднял ее и осмотрел пальцы. — Что-то мягкие, — заметил он. — Он давно не возил.

— Послушайте, — не удержался Уолт, — замечательно, как он позволяет вам с собой обращаться!

Скифф Миллер поднялся, позабыв свое недавнее смущение при виде Мэдж, и спросил резким деловым тоном:

— Давно она у вас?

Но как раз в этот момент собака, ластившаяся к Миллеру, залаяла. Это был взрыв лая — короткий и радостный, но несомненный лай.

— Это ново для меня, — заметил Скифф Миллер.

Уолт и Мэдж с удивлением глядели друг на друга. Чудо совершилось — Волк залаял.

— Смотрите, он лает, но это в первый раз, — сказала Мэдж.

— Да, я тоже впервые слышу его лай, — подтвердил Миллер.

Мэдж улынулась. Человек этот, очевидно, был шутник.

— Конечно, — сказала она, — ведь вы его видите всего пять минут.

Скифф Миллер быстро на нее взглянул, как бы стараясь угадать, что она хотела этим сказать.

— Я думал, что вы поняли, — сказал он медленно. — Я думал, вы поняли при виде того, как она со мной обходится. Это моя собака. Ее зовут не Волком, а Бурым.

Уолт сразу занял оборонительную позицию.

— Откуда вы знаете, что это ваша собака? — спросил он.

— Потому что она моя, — был ответ.

— Голословное заявление, — резко сказал Уолт.

Скифф Миллер со своей обычной медлительностью посмотрел на него и затем, показывая кивком на Мэдж, спросил:

— Откуда вы знаете, что она ваша жена? Вы можете ответить: «Потому что она моя». И я ведь тоже могу сказать, что это голословно. Собака — моя. Я вырастил и воспитал ее и потому думаю, что могу знать. Я вам это докажу.

Скифф Миллер обратился к собаке:

— Бурый!.. — Его голос прозвучал громко и повелительно, и при этом окрике уши собаки отогнулись, словно от ласки. — Ги! — Собака плавно повернула направо. — Ну, теперь вперед! — И собака сразу приостановила свое круговое движение и пошла прямо, послушно останавливаясь, когда он приказывал.

— Я могу сделать это также и свистом, — сказал Скифф Миллер с гордостью. — Она была у меня вожак.

— Но вы не возьмете ее с собой? — спросила Мэдж с дрожью в голосе.

Человек утвердительно кивнул.

— Назад, в этот ужасный Клондак, в этот мир страданий? Он кивнул и прибавил:

— О, там вовсе не так уж плохо. Посмотрите на меня. Мне кажется, я достаточно здоров.

— Но для собак! — продолжала Мэдж. — Лишения, тяжелый труд, голод, мороз... О, я читала об этом и знаю!

— Я чуть его раз не съел, — мрачно заметил Миллер, — если бы я не убил в тот день лося, был бы ему капут.

— Я умерла бы скорее! — воскликнула Мэдж.

— Ну, здесь-то все обстоит иначе, — объяснил Миллер. — Вы не должны здесь есть собак. Но когда вы попадаете туда, вы начинаете рассуждать иначе. Ведь вы никогда там не были и потому ничего в этом не понимаете.

— Ну, вот именно, в этом-то и дело, — доказывала она, — в Калифорнии не едят собак. Почему бы вам его не оставить здесь? Он счастлив. Он никогда не будет нуждаться в пище, вы это видите. Он никогда не будет страдать от холода и лишений. Здесь его ласкают. Нет дикости ни в людях, ни в природе. Больше он никогда не узнает бича. Что же касается погоды, здесь никогда не бывает снега.

— Зато нестерпимая жара летом, — засмеялся Скифф Миллер.

— Но вы не отвечаете, — продолжала возбужденно Мэдж. — Что вы ему можете предложить в вашей жизни на Севере?

— Пищу, когда она у меня есть.

— А когда нет?

— Когда нет — не едят.

— А работа?

— Работы всегда много! — крикнул Миллер нетерпеливо. — Работа без конца, и голод, и мороз... вот что Бурый получит, когда пойдет со мной. Но он это любит. Он привык к этому. Он знает эту жизнь — родился там и вырос, а вы ничего в этом не понимаете. Вы не знаете, о чем говорите. Собака — из того края и только там будет счастлива.

— Собаку не отдадим, — сказал Уолт решительно. — А потому — что толку в дальнейшем споре...

— Что такое? — спросил Скифф Миллер, нахмурившись и покраснев.

— Я сказал, что не отдам собаки, и дело с концом... Не верю я, что она ваша. Вы, быть может, когда-нибудь и видели Волка, да, пожалуй, ездили на нем вместе с его владельцем. А то, что он подчиняется обычным приказаниям аляскинской возки, вовсе еще не доказывает, что он ваш. Любая собака с Аляски вас бы слушалась. Но с аляскинской точки зрения, Волк, по-видимому, собака очень ценная, и потому-то вы и хотите заполучить ее в собственность. Во всяком случае вам еще придется доказать, что эта собака ваша.

Скифф Миллер спокойно и хладнокровно оглядел поэта с ног до головы, как бы оценивая его сложение. Только румянец на его лбу еще более обозначился, и громадные мускулы, казалось, напряглись, выпирая из-под черного сукна его платья. Затем лицо клондайкского обитателя приняло презрительное выражение, и он сказал внушительно:

— Я не вижу ничего, что могло бы мне помешать сейчас же взять собаку.

Уолт покраснел, и мускулы его рук также напряглись. Но его жена опасно вмешалась.

— Быть может, мистер Миллер прав, — сказала она. — Я боюсь, что он прав. Волк как будто в самом деле его знает и во всяком случае отвечает на кличку Бурый. Он сразу с ним подружился, и ты знаешь, что он никогда раньше ни

с кем так не обходился. Затем вспомни, как он лаял. Он прямо ликовал от радости. Отчего? Несомненно оттого, что нашел мистера Миллера.

По виду Уолта заметно было, что он также потерял надежду.

— Пожалуй, ты права, Мэдж, — сказал он. — По-видимому, Волк — не Волк, а Бурый и должен принадлежать мистери Миллеру.

— Может быть, мистер Миллер продаст его? — предложила она. — И мы сможем его купить.

Скифф Миллер покачал головой. Он отбросил свою воинственность и, казалось, готов был в свою очередь проявить великодушие.

— У меня пять собак, — объяснил он, выискивая самый лучший довод, чтобы смягчить свой отказ. — Бурый был их вожак. Они были лучшей сворой по всей Аляске. Ничто их не брало. В девяносто восьмом году я отказался продать их за пять тысяч долларов. Тогда собаки высоко ценились. Но не это было причиной такой высокой оценки. Уж очень хороша была свора. И Бурый был лучше всех. В ту зиму я отказался взять за него тысячу двести. Я не продал его тогда и не продам сейчас. Кроме того, я очень его люблю. Три года я его искал. Я почти заболел от огорчения, когда узнал, что Бурого украли, — дело не в потере денег, а в том, что дьявольски я к нему привязан, извините за выражение. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел его у вас. Думал, что мне снится. Видите ли, я его выкормил. Каждую ночь я укладывал его спать. Мать-то у него околела, и я поил его сгущенным молоком по два доллара за жестянку, в то время как сам пил кофе без молока. Он никогда не знал другой матери, кроме меня. Он постоянно сосал мой палец, сосал, как маленький дьявол. Вот этот самый палец.

Скифф Миллер был слишком взволнован, чтобы продолжать свою речь. И он выставил палец, приговаривая: «Вот этот самый палец». Казалось, это должно было окончательно доказать его право собственности на собаку и его чувство привязанности к ней.

Он все еще глядел на свой вытянутый палец, когда Мэдж заговорила:

— Но собака... Вы не подумали о собаке!

Скифф Миллер смотрел на нее в недоумении.

— Подумали ли вы о ней? — повторила она.

— Я не понимаю, о чем вы говорите?

— Может быть, и собака имеет право на выбор, — продолжала Мэдж. — Быть может, и у нее есть свои вкусы и желания. Вы не считаетесь с ней. Вы не даете ей выбора. Вы не подумали, что она может предпочесть Калифорнию Аляске. Вы считаетесь только с собственным желанием, а с ней поступаете, как с мешком картофеля или охапкой сена.

Такая постановка вопроса была несколько неожиданной, и она, по-видимому, произвела впечатление на Миллера. Он задумался, и Мэдж воспользовалась его нерешительностью.

— Если вы в самом деле любите ее, вы должны быть счастливы тем, что дает счастье ей.

Скифф Миллер продолжал размышлять про себя, и Мэдж бросила радостный взгляд на мужа. На лице его она прочла горячее одобрение.

— Что же думаете вы? — внезапно спросил житель Клондайка. Она, в свою очередь, не поняла.

— Что вы хотите сказать? — спросила она.

— Думаете ли вы, что Бурый захочет остаться в Калифорнии?

Она утвердительно кивнула головой:

— Я в этом уверена.

Скифф Миллер снова принялся размышлять, но на этот раз вслух, внимательно осматривая при этом живой предмет спора.

— Бурый был хорошим работником. Он много для меня поработал. Он никогда не ленился и великолепно обучал свежие своры. У него голова на плечах. Он все может сделать — только говорить не умеет. Он понимает то, что вы ему говорите. Посмотрите на него сейчас. Он знает, что мы разговариваем о нем.

Собака лежала у ног Скиффа Миллера, положив голову на лапы. Глаза ее, казалось, следили за собеседниками, по мере того как они поочередно говорили.

— Он еще много может поработать. Он будет годен еще много лет. И я действительно привязан к нему. Я люблю его, дьявольски люблю!

Несколько раз вслед за этим Скифф Миллер открывал рот и закрывал, но ничего не говорил. Наконец он сказал:

— Вот что я сделаю. Ваши замечания, — обратился он к Мэдж, — в самом деле справедливы. Собака хорошо работала и, пожалуй, заслужила отдых и имеет право выбирать. Во всяком случае, дадим ей решать. Что бы она ни решила, пусть так и будет. Вы оба оставайтесь сидеть здесь. Я прощаюсь с вами и пойду. Если она захочет со мной идти, пусть идет. Я не позову ее, и вы не зовите. — Он внезапно с подозрением посмотрел на Мэдж: — Только должна быть честная игра. Без уговариваний, когда я поверну спину.

— Мы будем честны... — начала Мэдж.

— Я знаю манеры женщин, — прервал ее Скифф Миллер. — Их сердца мягки. Когда женщина растрогана, она способна подтасовать карты, подсматривать и лгать как черт, извините, за выражение. Я говорю о женщинах вообще.

— Я не знаю, как благодарить вас, — произнесла Мэдж с дрожью в голосе.

— Я не вижу пока оснований для благодарности, — ответил он. — Бурый еще не решил. Вам все равно, если я пойду медленно? Это только справедливо, потому что уже за сто ярдов меня не будет видно...

Мэдж согласилась и прибавила:

— Я вам обещаю, что мы ничего не предпримем, чтобы повлиять на него.

— Ну, в таком случае я пошел, — сказал Скифф Миллер тоном уходящего собеседника.

Уловив изменение в его голосе, Волк быстро поднял голову и еще быстрее вскочил. И в то время, как мужчина и женщина обменивались рукопожатием, он поднялся на

задние лапы, поставив передние ей на бедро. В то же время он лизал руки Скиффа Миллера. Когда последний подал руку Уолту, Волк повторил то же самое. Он опирался всем телом на Уолта и лизал руки обоих мужчин.

— Это не праздник. Во всяком случае, это не праздник, — были последние слова жителя Клондайка. Он повернулся и медленно пошел вверх по тропинке.

Волк наблюдал за ним на расстоянии двадцати футов, как будто ожидая, что тот повернет обратно. Затем с глухим воем он бросился за ним, нагнал его, поймал его руку зубами и мягко пытался его остановить.

Ничего не добившись, Волк прибежал обратно к месту, где сидел Уолт Ирвин, поймал зубами его рукав и пытался потащить его за уходящим человеком.

Недоумение Волка быстро возрастало. Он хотел быть в двух местах одновременно — со старым и новым хозяином, в то время как расстояние между ними росло. Он возбужденно бросался из стороны в сторону, нервно прыгал, подбегая то к одному, то к другому в мучительной нерешительности, не зная сам, чего хочет, желая сохранить обоих и не будучи в состоянии выбрать. Он резко повизгивал и тяжело дышал.

Внезапно он сел на задние лапы и поднял нос кверху, открывая рот все шире и шире. Вслед за этим из горла его вылетел низкий звук, еле уловимый для человеческого уха. Все это была прелюдия к вою.

Но как раз когда должен был раздаться вой, рот собаки закрылся, и она снова посмотрела внимательно на уходящего человека. Затем Волк повернул голову и так же внимательно взглянул на Уолта. Вопрошающий взгляд его остался без ответа. Собака не встретила ни одного знака внимания, не слышала ни одного слова, которое могло бы разрешить ее сомнение.

Вид старого хозяина, приближавшегося к повороту, казалось, окончательно смутил Волка. Он вскочил на ноги и завизжал. Затем, словно пораженный новой мыслью, он обратил свое внимание на Мэдж. До этой минуты она для него

вроде бы не существовала. Но теперь, когда он, видимо, потерял обоих хозяев-мужчин, у него оставалась будто она одна. Он подошел к ней и положил голову ей на колени, уткнувшись носом в ее руку, — любимый его способ добиться ее расположения. Затем он отбежал от нее и стал игриво вертеться, то поднимаясь на задние лапы, то опуская передние на землю. Весь он был в движении — от умоляющих глаз и прижатых ушей до виляющего хвоста, и этим он как бы хотел выразить мысль, которую иначе не мог высказать.

Но и это пришлось оставить. Он был удручен холодностью этих людей, которые никогда раньше не были так невнимательны к нему. Он не получал от них никакого ответа, ни поддержки. Они не обращали на него внимания. Они как будто умерли. Волк повернулся и снова молча посмотрел на старого хозяина, уже поворачивающего за угол. Через мгновение он должен был вовсе скрыться из виду. Но Скифф Миллер ни разу не обернулся. Он шел вперед медленно и твердо, будто совершенно не заинтересованный в том, что происходило за его спиной.

Так он дошел до поворота и исчез из виду. Волк ждал, что он снова появится. Он ждал долгое время, молча, неподвижно, как бы обратившись в камень, но камень, словно одухотворенный волей. Он издал короткий лай и затем ждал. Потом он повернулся и побежал к Уолту Ирвину, понюхал его руку и затем тяжело опустился к его ногам, наблюдая пустую тропинку, там, где она вела к повороту.

Маленький ручей, падающий с мшистого камня, журчал все громче. Не было других звуков, кроме пения жаворонков в лугах. Большие желтые бабочки медленно пролетали сквозь полосы солнечного света и терялись в тени. Мэдж с торжеством взглянула на мужа.

Однако через несколько мгновений Волк поднялся на ноги. Решимость и сознание обозначились в каждом его движении. Он не посмотрел ни на мужчину, ни на женщину. Его глаза были прикованы к тропинке. Он решил, и они это знали. И они знали, что для них испытание только началось.

Он побежал рысью, и Мэдж невольно сжала губы, готовясь его позвать, но удержалась. Она посмотрела на мужа и встретила его строгий взгляд. Затем она разжала губы и громко вздохнула.

Мелкая рысь Волка перешла в быстрый бег. Он бежал все быстрее и быстрее и ни разу не обернулся. Его волчий хвост был выпрямлен. Он круто повернул за угол тропинки — и исчез.

ИСТОРИЯ КИША

Давно-давно, в незапамятное время жил некто Киш у берегов Полярного моря. Был он первым человеком в своей деревне и умер, всеми оплакиваемый. Он жил так давно, что только старики помнят его имя и историю его жизни — историю, которую они слышали от отцов и дедов. Они расскажут ее своим детям, а потом она перейдет к детям их детей и так из века в век. А слушать эту повесть о Кише, о том, как он поднялся к власти и почету из самой бедной хижины в деревне, лучше всего тогда, когда проносятся над ледяными полями северные метели, когда в воздухе кружатся снежные вихри и ни один человек не смеет высунуться из дома.

Живым мальчиком был Киш, так начинается повесть, — здоровым и сильным. Он видел тринадцать солнц, — так считали в деревне. Ибо каждую зиму солнце оставляет землю в темноте, а на будущий год новое солнце возвращается, чтобы снова давать тепло и освещать лица людей. Отец Киша был смелым охотником. Пытаясь в голодное время спасти жизнь своих одноплеменников, он погиб, охотясь на полярного медведя. Он вступил с медведем в рукопашную, и тот смял его под себя. Зверь был очень жирный, и народ был спасен.

Киш — он был единственным сыном этого охотника — остался один со своей матерью, но люди забывчивы — и ско-

ро из памяти их изгладился подвиг его отца. А затем забыли и Киша с матерью, и они вынуждены были жить нищенски и в жалкой хижине.

Но вот однажды вечером, на совете в большой хижине Клош-Квана, главы племени, Киш показал, какая кровь течет в его жилах. Он показал себя мужчиной. С достоинством взрослого человека он поднялся и ждал, когда прекратится шум.

— Это верно, что нам выдается наша доля мяса, — сказал он. — Но мясо это старое и жесткое и в нем много костей.

Охотники — и седовласые и молодые — были изумлены. Ничего подобного раньше не случалось. Ребенок выступал как взрослый человек и говорил им прямо в лицо такие вещи!

Но Киш продолжал говорить твердо и серьезно:

— Я говорю это, потому что знаю, что мой отец, Бок, был великим охотником. Говорят, что Бок приносил домой больше мяса, чем любой из охотников, и собственными руками распределял его и смотрел, чтобы последний старик и старуха получили справедливую долю.

Охотники кричали:

— Прогоните ребенка! Пошлите его спать. Не смеет он так разговаривать с мужчинами и стариками!..

Он спокойно ждал, пока волнение улеглось.

— У тебя жена, Уг-Глок, — сказал он, — и ты за нее говоришь. А ты, Муссук, имеешь также мать — и выступаешь за обоих. Моя же мать никого не имеет, кроме меня. Вот почему я за нее и вступаюсь. Я повторяю: Бок умер, так как был слишком храбр. И потому справедливо, чтобы я — его сын — и Икега — моя мать и его жена — не терпели нужды в мясе, пока оно имеется у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал.

Он сел, внимательно прислушиваясь к возмущенным возгласам, вызванным его словами.

— Мальчишка смеет так говорить на совете! — шамкал старый Уг-Глок.

— Могут ли сосунки нас учить? — спросил громко Муссук. — Я — мужчина, и могу ли я быть посмешищем для каждого мальчишки, который просит мяса?

Гнев их дошел до белого каления. Они приказали ему идти спать, пригрозили, что он вовсе будет лишен мяса, и обещали крепко высечь за дерзость. Глаза Киша засверкали, и темный румянец залил его щеки. Он вскочил на ноги.

— Слушайте меня! — крикнул он. — Никогда больше не буду я выступать на совете, никогда, пока вы сами не придете ко мне и не будете упрасивать: «Киш, говори! Мы хотим этого!» Так вот вам мое последнее слово. Бок, мой отец, был великим охотником. Я — его сын — пойду и также стану охотиться, чтобы добыть себе мяса. И пусть знают все: раздел того, что я убью, будет справедлив. И ни вдова, ни слабый старик не будут плакать ночью от голода, в то время как сильные мужчины стонут в великих муках обжорства. И в будущем да будет стыдно сильным мужчинам, которые объедаются! Так сказал я, Киш.

Насмешки и бранные возгласы проводили его до порога хижины. Но на его лице была написана решительность, и он шел вперед, не глядя по сторонам.

На следующий день он пошел вдоль берега. Заметили, что он несет лук и большой запас стрел с костяными наконечниками. Через плечо было перекинута отцовское охотничье копьё. Много смеялись и говорили по этому поводу. Случай был из ряда вон выходящий. Мальчики в этом возрасте никогда не отправлялись охотиться, в особенности одни. Многие поэтому качали головами и делали зловещие предсказания, а женщины с сожалением глядели на Икегу, лицо которой стало грустным и серьезным.

— Он скоро вернется, — утешали они ее.

— Пусть идет, — говорили охотники. — Это будет для него хорошим уроком. Он скоро вернется, и тогда речь его будет другой — робкой и вежливой.

Но прошел день, а за ним другой. На третий — разразилась сильная буря, а Киш все не появлялся. Икега рвала на себе волосы и покрывала лицо сажей в знак горя и скорби. Женщины осыпали мужчин упреками за то, что они своим дурным обращением послали мальчика на смерть. Мужчины

ничего не отвечали, готовясь, когда буря утихнет, идти на поиски за телом.

Но на следующий день, ранним утром, Киш вернулся в деревню. И шел он далеко не смущенный. Он нес на плечах свежее мясо убитого зверя, и поступь его была торжественна, а слова звучали гордо.

— Вы, мужчины, идите с собаками и санями по моему следу, — сказал он. — Там, через день пути, вы найдете на льду много мяса — медведицу и двух полугодовалых медвежат.

Икега была несказанно обрадована, но он встретил ее радость по-мужски.

— Идем, Икега, дай мне есть. И потом я лягу спать. Я очень устал.

Он прошел в хижину и, поев, заснул. Спал он двадцать часов подряд.

Сперва в деревне было много сомнений и споров. Опасно убить медведя, но трижды — нет, в три раза трижды — опасней убить медведицу с медвежатами. Мужчины поверить не могли, что мальчик Киш — один — совершил такой подвиг. Но женщины рассказывали про свежее мясо, которое он принес на спине, и это должно было убедить сомневающихся. Наконец они пустились в путь. «Даже если он действительно убил этих зверей, — ворчали они, — то уж во всяком случае не позаботился разрезать туши». А на Севере это необходимо сделать немедленно — в противном случае мясо замерзнет так, что его не берет самый острый нож. Положить же на сани трехсотфунтового медведя в замерзшем состоянии и везти его по неровному льду — не легкое дело. Но, придя на место, они, вопреки своим сомнениям, нашли добычу и увидели также, что Киш вынул внутренности и разрезал туши на четыре части, как образцовый охотник.

С той поры Киш повел себя загадочно, и загадочность эта день ото дня становилась все таинственней. Во вторую свою охоту он убил молодого медведя — почти взрослого, а в следующий раз — громадного самца и медведицу. Он

обычно уходил на три или четыре дня, но иногда оставался на льду целую неделю. Он всегда отказывался от спутников, и все не переставали изумляться.

— Как он это делает? — спрашивали они друг друга. — Он никогда не берет с собой собак, а собака на охоте очень нужна...

— Почему ты охотишься только на медведя? — однажды решился спросить его Клош-Кван. Но Киш дал ему надлежащий ответ:

— Всем известно, что на медведе больше мяса.

В деревне поговаривали о волшебстве.

— Он охотится вместе со злыми духами, поэтому-то охота всегда удачна.

— Может быть, это не злые, а добрые духи? — говорили другие. — Отец его был великим охотником. Может быть, с ним охотится отец и обучает его пониманию, терпению и другим качествам охотника. Кто знает?

Так или иначе, но его успехи продолжались, и менее удачливые охотники были постоянно заняты доставкой его добычи. Что же касается раздела добычи — в этом он всегда был справедлив. Подобно отцу своему, он следил за тем, чтобы последний старик и старуха получили равную со всеми долю. Себе же он оставлял ровно столько, чтобы удовлетворить свои потребности. Вот поэтому, а также и потому, что он был охотником смелым и сильным, Киш стал пользоваться почетом и даже внушать своим соплеменникам страх. Шли разговоры о назначении его главой племени после Клош-Квана. Ввиду же совершенных им подвигов современники хотели видеть его снова на заседаниях совета, но он там не появлялся, а им совестно было просить.

— Я хочу построить себе новую хижину, — сказал однажды Киш Клош-Квану и кое-кому из охотников. — Мне нужна большая иглу¹, где Икега и я смогли бы удобно расположиться.

— Хорошо, — кивали они головой в знак одобрения.

¹ Индейская хижина.

— Но у меня нет свободного времени. Мое занятие — охота, и оно отнимает все мое время. Будет справедливо, если мужчины и женщины, которых я кормлю, построят мне иглу.

И хижина была выстроена, а размерами она превосходила даже иглу Клош-Квана. Киш и его мать переехали в нее, и Икега, впервые после смерти Бока, зажила в довольстве. Она не только была материально обеспечена, но, в знак внимания к ее удивительному сыну и положению, какое он ей создал, на нее все стали смотреть как на первую женщину в деревне. Женщины посещали ее, спрашивали ее советов и приводили ее изречения в спорах между собой и со своими мужьями.

Но загадочность чудесной охоты Киша не переставала всех занимать. А раз Уг-Глок даже бросил ему в лицо обвинение в волшебстве.

— Мы думаем, — сказал Уг-Глок многозначительно, — что ты имеешь дело со злыми духами и потому твоя охота удачна.

— Разве мясо нехорошее? — был ответ Киша. — Или кто-нибудь в деревне заболел, поевши его? Знаешь ли ты что-нибудь о моем волшебстве или же просто гадаешь из-за снедающей тебя зависти?

И Уг-Глок отошел посрамленный, а женщины смеялись ему вслед.

Но однажды вечером на совете, после долгого обсуждения, решили проследить за Кишем, когда он отправится на охоту, чтобы научиться его способам охоты. Поэтому в следующую его экспедицию двое юношей — одни из лучших охотников Бим и Баун — последовали за ним, стараясь идти так, чтобы он их не заметил. Через пять дней они вернулись с расширенными зрачками и языками, дрожащими от нетерпения рассказать то, что увидели. Наскоро был собран совет, и в иглу Клош-Квана Бим приступил к своему рассказу.

— Братья, — начал он, — как было нам приказано, мы шли по следу Киша, шли со всей осторожностью, так что он об этом не знал. В середине первого дня он встретил большого медведя-самца. Это был очень большой медведь.

— Больше не бывает, — поддержал Баун и продолжал рассказ. — Но медведь не хотел драться и, повернувшись, стал уходить по льду. Мы видели это, спрятавшись за скалы на берегу. Медведь шел по направлению к нам, и за ним шел Киш, без всякого страха. Он кричал на медведя, ругал его крепкими словами и махал руками и производил большой шум. Тогда медведь рассердился, встал на дыбы и зарычал. Но Киш пошел прямо к медведю.

— Да, — продолжал Бим. — Киш прямо шел на медведя. Медведь бросился на него, и Киш побежал. Но, убегая, он уронил на лед маленький шарик. Медведь остановился, понюхал и затем проглотил шарик. Киш же продолжал бежать и ронять маленькие круглые шарики, и медведь продолжал их глотать.

Послышались недоверчивые возгласы, а Уг-Глок открыто заявил, что не верит.

— Мы это видели собственными глазами, — утверждал Бим.

— Да, собственными глазами, — продолжал Баун. — И это длилось, пока медведь вдруг не выпрямился и не стал громко реветь от боли и бешено колотить лапами. Киш же продолжал бежать от него, оставаясь все время на достаточном расстоянии. Но медведь его не замечал, так как сильно страдал от той боли, какую причинили его внутренностям маленькие шарики.

— Да, в его внутренностях была нестерпимая боль, — прервал Бим. — Он царапал себя и прыгал по льду, как игривый щенок; по тому, как он рычал и метался, было ясно, что это не игра. Никогда не видел я такого зрелища.

— Никогда не было такого зрелища, — повторял Баун, — и к тому же это был огромный медведь.

— Волшебство, — сказал Уг-Глок.

— Не знаю, — отвечал Баун. — Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Спустя немного медведь ослабел и утомился, так как был очень тяжел и сильно скакал. Он пошел по береговому льду, качаясь из стороны в сторону,

и временами садился и выл. А Киш шел за медведем, а мы за Кишем; и так в течение всего дня и трех других дней. Медведь ослабел и не переставал реветь от боли.

— Это волшебство, — вскричал Уг-Глок. — Несомненно, это волшебство.

— Может быть.

Бим сменил Бауна:

— Медведь блуждал, двигаясь то сюда, то туда, возвращаясь вперед и назад и кружась по своему следу, и в конце концов вернулся к тому месту, где Киш впервые его встретил. Теперь он был так слаб, что едва полз. Тогда Киш подошел к нему и копьём добил его до смерти.

— И тогда? — спросил Клош-Кван.

— Мы оставили Киша в то время, как он снимал с медведя шкуру, и прибежали, чтобы сообщить об этой охоте.

После полудня женщины притащили тушу медведя, а мужчины продолжали заседать в совете. Когда Киш пришел, к нему послали, чтобы позвать на совет. Но он ответил, что устал и голоден, а хижина его достаточно велика и в ней может поместиться много народу.

Любопытство было так сильно, что весь совет, с Клош-Кваном во главе, отправился в иглоо Киша. Он ел, но встретил их с почетом и усадил их соответственно положению каждого. Икега была горда и вместе с тем смущена, но Киш держался совершенно спокойно.

Клош-Кван рассказал про то, что сообщили Бим и Баун, и строго закончил:

— Киш, ты должен объяснить, как ты охотишься. Это волшебство.

Киш посмотрел на них и улыбнулся.

— Нет, Клош-Кван, — сказал он, — не мальчику заниматься чародейством. Я ничего не знаю о колдовстве. Я только придумал средство убивать медведя без труда, вот и все. Это ум, а не волшебство.

— И каждый может сделать то же самое?

— Да, каждый.

Молчали долго. Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.

— И... и... ты нам расскажешь, Киш? — спросил Клош-Кван дрожащим голосом.

— Да, я вам расскажу. — Киш кончил высасывать мозг из кости и встал на ноги. — Дело совсем простое. Смотри!

Он достал тонкий кусок китового уса и показал его. Концы были остры, как иглы. Он свернул ус так, что тот исчез в его руке. Затем разжал ее, и ус с силой выпрямился. Потом он поднял кусок тюленьего жира.

— Вот так, — сказал он. — Ты берешь маленький кусок тюленьего жира и делаешь в нем отверстие. Туда всовываешь китовый ус, туго свернутый, и покрываешь другим куском жира. Затем ты выносишь его на воздух, где он замерзает и превращается в круглый шарик. Медведь проглатывает шарик, жир тает, китовый ус выпрямляется, медведь чувствует боль и начинает метаться взад и вперед. Когда ему делается очень плохо, ты убиваешь его копьем. Это совсем просто.

Уг-Глок сказал: «О!», а Клош-Кван протянул: «А!» — каждый сказал по-своему, и все поняли.

Такова история Киша, жившего давно у края Полярного моря. Не колдовство, а ум помог ему оставить самую жалкую хижину и стать первым человеком в своей деревне.

Рассказывают, что, пока он жил, племя его благоденствовало; и ни одна вдова, ни одно слабое существо не плакали ночью от голода.

ПУТЬ ЛОЖНЫХ СОЛНЦ

Ситка Чарлей курил и глядел задумчиво на иллюстрацию, вырезанную из «Полицейской Газеты» и прикрепленную к стене. В течение получаса разглядывал он картину, и в течение всего этого получаса я незаметно за ним наблюдал. Что-то происходило в его уме, и я знал,

что, во всяком случае, его мысли заслуживают интереса. Он жил деятельной жизнью и видел многое на своем веку. Он совершил самое большое чудо — отказался от собственного народа и, насколько это вообще возможно для индейца, обратился, по всему своему складу, в белого человека. Сам он, повествуя об этой перемене, говорил, что сел у наших огней и сделался одним из наших. Он никогда не учился читать и писать, но обладал богатым запасом слов. Еще более замечательной была точность, с какой он воспринял взгляды белых людей и отношение их ко всем вещам.

Мы напали на эту покинутую хижину после дня тяжелого пути. Собаки были накормлены; обеденная посуда вымыта; постели приготовлены. Мы наслаждались тем приятным часом, который наступает на аляскинском пути ежедневно, но лишь раз в течение дня. Это час, когда усталый путник перед тем, как улечься, выкуривает свою вечернюю трубку.

Кто-то из прежних обитателей хижины украсил ее стены иллюстрациями, вырезанными из журналов и газет. Эти-то картины и привлекли внимание Ситки Чарлея с момента нашего прихода, два часа назад.

Он напряженно изучал их, переходя от одной к другой и снова возвращаясь к прежним. Лицо его было озадачено.

— Ну? — прервал я наконец молчание.

Он вынул трубку изо рта и сказал просто:

— Я не понимаю.

Затем снова закурил и снова вынул трубку, чтобы указать ею на картину из «Полицейской Газеты».

— Эта картина... что она значит? Я не понимаю.

Я посмотрел на рисунок. Человек с преувеличенно злым лицом падал навзничь на пол, прижимая руки театральным жестом к сердцу. Над ним, с лицом не то падшего ангела, не то Адониса¹, стоял другой человек с дымящимся после выстрела револьвером в руке.

¹ Адонис — один из любимцев Венеры, страстный охотник. В переносном смысле — красавец.

— Один человек убивает другого, — ответил я, чувствуя, что и я разделяю его недоумение и нуждаюсь в объяснении.

— Почему? — спросил Ситка Чарлей.

— Я не знаю, — признался я.

— В этой картине только конец, — сказал он. — Она не имеет начала.

— Это — жизнь, — сказал я.

— Жизнь имеет начало, — возразил он.

Я не знал, что сказать. В это время его глаза остановились на соседней иллюстрации. Это была репродукция чьей-то картины «Леда и Лебедь»¹.

— Эта картина, — сказал он, — не имеет ни начала, ни конца. Я не понимаю картины.

— Посмотри на ту картину, — сказал я, показывая на третий рисунок. — Она имеет смысл. Скажи мне, что она означает?

Он несколько минут изучал рисунок.

— Маленькая девочка больна, — сказал он наконец. — На нее смотрит доктор. Они всю ночь не ложились, смотри — в лампе нет масла. Первые лучи утреннего света входят в окно. Это очень опасная болезнь, может быть, она умрет. Поэтому доктор смотрит так сурово. Это ее мать. Это очень опасная болезнь, потому что голова матери лежит на столе и она плачет.

— Откуда ты знаешь, что она плачет? — прервал я его. — Ты не видишь ее лица. Может быть, она спит.

Ситка взглянул на меня, словно внезапно удивившись, а затем внимательно посмотрел на картину.

Очевидно было, что он не обдумал своего впечатления.

— Может быть, она спит, — повторил он. Он внимательно изучал изображение. — Нет, она не спит. Плечи показывают, что она не спит. Я видел плечи плачущей женщины. Мать плачет. Это — очень опасная болезнь.

— И ты понимаешь картину? — воскликнул я.

¹ Леда, по греческой мифологии, — жена спартанского царя, соблазненная Зевсом, принявшим вид лебедя.

Он покачал головой и спросил:

— Маленькая девочка — она умрет?

В свою очередь я молчал.

— Умрет она? — повторил он. — Ты — художник. Может быть, знаешь.

— Нет, я не знаю, — признался я.

— Это — не жизнь, — категорически заявил он. — В жизни девочка умрет или выздоровеет. В жизни что-нибудь случится. На картине ничего не случится. Нет, я не понимаю картины.

Он был явно разочарован. Он хотел понять все, что понимают белые люди, и здесь — в этом вопросе — ему это не удавалось. Я чувствовал вместе с тем, что в его вопросах был вызов. Он хотел во что бы то ни стало заставить меня разъяснить ему мудрость картины.

Нужно сказать, что у него были поразительные способности мыслить образами. Он видел жизнь в образах, чувствовал ее в образах, обобщал посредством образов. Но он не понимал образов, выраженных при помощи красок и линий другими людьми.

— Картина — кусок жизни, — сказал я. — Мы рисуем жизнь так, как ее видим. Представь себе, Чарлей, что ты идешь по тропе. Ночь. Ты видишь хижину. Окно освещено. Ты смотришь в окно в течение одной или нескольких секунд, ты видишь что-то и затем продолжаешь путь. Быть может, ты увидел человека, который писал письмо. Ты видел что-то, не имевшее ни начала ни конца. Ничего не случилось. И все же ты видел кусок жизни. Ты запомнил его. Этот кусок жизни — словно картина в твоей памяти. Окно — рамка картины.

Он, видимо, заинтересовался, и я знал, что в то время как я говорил, он представил себе окно и, заглянув, видел человека, пишущего письмо.

— Есть одна картина, которую ты нарисовал. Я ее понимаю, — сказал он. — Это правдивая картина. В ней много смысла. Она в твоём домике в Даусоне. Это стол игры в «фа-

раон». За столом люди играют. Игра идет большая. Играют без ограничения ставки.

— Почему ты знаешь, что играют без ограничения? — спросил я с интересом. Я был рад услышать беспристрастное суждение о моей работе такого человека, который знал только жизнь, а не искусство, и был исключительно художником действительности. К тому же я очень гордился этой картиной. Я назвал ее «Последняя ставка» и считал, что это одно из лучших моих произведений.

— На столе нет золота, — пояснил Ситка Чарлей. — Люди играют на марки. Это значит, что нет ограничений. Один человек играет желтыми марками. Может быть, одна желтая фишка стоит тысячу долларов, а может быть — и две. Другой играет красными. Может быть, каждая из этих — пять тысяч долларов, а может быть — тысячу. Это очень большая игра. Все ставят очень высоко. Почему я это знаю? Ты нарисовал банкмета с румянцем на лице (я был в восторге). Ты нарисовал понтера¹ наклоненным к столу. Почему он наклонился вперед? Почему его лицо так напряженно? Почему его глаза так блестят? Почему банкмету жарко — у него на лице румянец? Почему все так молчаливы — и человек с желтыми марками, и человек с белыми марками, и человек с красными? Почему никто не разговаривает? Потому что игра на большие деньги. Потому, что это — последняя ставка.

— Но почему ты думаешь, что это последняя ставка? — спросил я.

— Король вышел, семерка открыта, — отвечал он. — Никто не ставит на другие карты. Все другие карты ушли. Все думают об одном. Все теряют с королем, выигрывают с семеркой. Может быть, банк потеряет двадцать тысяч, может быть — выиграет. Да, я понимаю эту картину.

— И, однако, ты не знаешь окончания! — воскликнул я, торжествуя. — Это последняя ставка, но не все карты от-

¹ Понтер — в азартной игре — ставящий на карту известную сумму против банкмета.

крыты. И на картине они никогда не будут открыты. Никто не узнает никогда, кто выиграет и кто проиграет.

— И люди будут сидеть там и молчать, — сказал он с каким-то страхом. — И понтер будет наклоняться вперед, и румянец будет на лице у банкмета. Это — странная вещь! Всегда будут они там сидеть, всегда! И карты никогда не будут открыты.

— Это картина, — сказал я. — Это жизнь. Ты сам видел нечто подобное.

Он посмотрел на меня в раздумье и затем очень медленно протянул:

— Да, ты говоришь — здесь нет конца. Никто никогда не узнает конца. И, однако, это правда. Я видел это. Это — жизнь.

Долгое время он молча курил, обдумывал смысл и значение картин у белых людей и, проверяя их на жизненных фактах, несколько раз кивал головой и несколько раз кряхтел. Затем высыпал пепел из трубки, заботливо наполнил ее и после некоторого раздумья снова зажег.

— Я тоже видел в жизни много картин, — начал он, — не нарисованные картины, а виденные глазами. Я смотрел на них так же, как через окно на человека, пишущего письмо. Я видел много обрывков жизни, и все эти обрывки были без начала, без конца, без смысла.

Внезапно изменив свое положение, он устался прямо на меня и стал внимательно разглядывать.

— Скажи, — сказал он, — ты — художник. Как нарисовал бы ты то, что я видел, картину без начала и с непонятным для меня концом? Северное сияние служило ей свечой и Аляска — рамкой.

— Это большое полотно, — заметил я.

Но он не обратил внимания на мои слова. Картина, казалось, была у него перед глазами.

— Много можно дать названий этой картине, — сказал он. — Но я назову ее «Путь Ложных Солнц», так как в ней на небе рядом с настоящим было два ложных солнца. Это было давно, лет семь назад, в конце 1897 года. Тогда я в пер-

вый раз увидел эту женщину. У меня была на озере Линдерманн очень хорошая лодка из Петерборо. Я приехал с Чилькутского прохода с двумя тысячами писем для Даусона. Тогда я перевозил почту. В это время все стремились в Клондайк. Много людей путешествовало на собаках. Многие рубили деревья и строили лодки. Скоро река должна была замерзнуть. Было много снега в воздухе, много снега на земле; на озере был лед, на реке — там, где водовороты, — тоже лед. С каждым днем было все больше и больше снега, больше льда. Через день, или через три дня, или через шесть дней можно было ожидать, что река станет. Тогда всем придется передвигаться пешком. А Даусон находился в ста милях: прогулка, значит, была большая. Лодка же плывет очень быстро. Поэтому все хотели ехать на лодке. Каждый обращался ко мне, говоря: «Чарлей, за двести долларов возьми меня в свою лодку», «Чарлей, я дам четыреста долларов». Я же говорил: «Нет!» Все время говорил: «Нет! Я перевозю почту».

Утром я достиг озера Линдерманн. Я шел всю ночь и очень устал. Я сварил завтрак, поел и затем спал три часа на берегу. Когда я проснулся, было десять часов. Падал снег. Дул ветер, очень сильный ветер. Рядом со мной, на снегу, сидит женщина. Белая женщина, молодая, очень красивая, может быть, двадцати лет, может быть — двадцати пяти. Она смотрит на меня. Я смотрю на нее. Она, вероятно, очень устала. Она не танцовщица. Я это хорошо вижу. Она — порядочная женщина и очень устала.

«Вы — Ситка Чарлей, — говорит она. Я встаю я свертываю одеяла, чтобы снег в них не попал. — Я еду в Даусон, — продолжает она. — Я еду в вашей лодке. Сколько?»

Я не хочу никого брать в свою лодку. Но мне не хочется сказать «нет». Поэтому я говорю: «Тысяча долларов!» Я говорю это в шутку, чтобы женщина не могла со мной поехать. Это лучше, чем сказать «нет». Она смотрит на меня пристально. Затем спрашивает: «Когда вы едете?» Я говорю ей. Тогда она заявляет, что даст мне тысячу долларов.

Что я могу сказать? Я не хочу брать эту женщину, но я ведь сказал, что она может ехать за тысячу долларов. Я удивлен. Может быть, она тоже шутит? Поэтому я говорю: «Покажите мне тысячу долларов». И тогда эта женщина — эта молодая женщина, совсем одинокая на тропе золотоискателей — вынимает тысячу долларов в зеленых бумажках. Я смотрю на деньги, смотрю на нее. Я говорю: «Нет, моя лодка очень маленькая. В ней нет места для багажа». Она смеется. Она говорит: «Я опытная путешественница. Вот мой багаж!» Она толкает ногой в снег маленький узел. В нем две шубы, зашитые в парусину, и внутри несколько платьев. Я поднимаю поклажу. Она весит, может быть, тридцать пять фунтов. Я очень удивлен. Она берет ее из моих рук и говорит: «Давайте отправляться!» Она несет узел в лодку. Что я могу сказать? Я кладу одеяла в лодку. Мы отправляемся.

Вот так-то я впервые увидел эту женщину. Ветер был попутный. Я поднял маленький парус. Лодка шла очень быстро, летела, как птица, по большим волнам. Женщина очень боялась. «Для чего вы приехали в Клондайк, если боитесь?» — спрашиваю я. Она смеется резким смехом. Она все еще боится и к тому же очень устала. Я провожу лодку между порогами озера Беннет. Вода очень опасная, и женщина кричит от страха. Мы спускаемся по озеру Беннет. Ветер сильный — совсем буря. Много снега и льда. Но женщина очень устала, она засыпает.

В эту ночь мы разбиваем стоянку у Мыса Ветров. Женщина сидит у огня и ужинает. Я смотрю на нее. Она красива. Она причесывается. У нее много волос коричневого цвета; иногда они делаются золотыми, как огонь костра. Когда она поворачивает голову, они вспыхивают, как пламя. Глаза ее большие и карие, иногда темные, как свеча за занавеской, иногда твердые и блестящие, как расколотый лед, освещаемый солнцем. Когда она смеется — как бы мне это сказать, — я знаю, что в такой момент белому человеку, наверное, хочется ее поцеловать. Она никогда не делает черной работы. Ее руки мягки, как руки ребенка. Она вся мягкая, как ма-

ленький ребенок. Она не худая — она круглая, как ребенок; ее руки, ноги, мускулы круглы и мягки, как у ребенка. Ее талия тонкая, и когда она стоит, когда она ходит, — я не знаю, как это выразить, — на нее приятно смотреть. Я сказал бы, что она построена правильно, как хорошая лодка. Именно так. Когда она движется — как будто хорошая лодка скользит по спокойной воде или прыгает по сердитым волнам с белыми хлопьями. Приятно на нее смотреть.

Почему она одна в Клондайке — одна, с такими большими деньгами? Я не знаю. На следующий день я спрашиваю ее. Она смеется и говорит: «Ситка Чарлей, это не твое дело. Я даю тебе тысячу долларов, чтобы привезти меня в Даусон. Это все, что тебя касается». День спустя я спрашиваю, как ее зовут. Она смеется: «Мое имя — Мэри Джонс». Я не знаю ее имени, но я хорошо знаю, что ее имя не Мэри Джонс.

Очень холодно в лодке, и она плохо себя чувствует из-за холода. Иногда ей хорошо, и она поет. Ее голос, как серебряный колокольчик, и я чувствую себя добрым, совсем таким, как тогда, когда иду в церковь в миссии Святого Креста. Когда она поет, я чувствую себя сильным и гребу, как дьявол. Затем она смеется и спрашивает: «Чарлей, думаешь ли ты, что мы доедем до Даусона раньше, чем вода станет?» Иногда она сидит в лодке и думает о чем-то далеком и ее глаза становятся пустыми. Она не видит ни Ситки Чарлея, ни льда, ни снега. Она — далеко. Она очень часто так задумывается. Иногда, когда она так думает, ее лицо делается нехорошим. Оно похоже на сердитое лицо, на лицо человека, когда он хочет убить другого.

Последний день до Даусона был очень труден. Уже на реке появился лед с берега. Я не мог грести. Лодка примерзла ко льду. Нельзя было выйти на берег. Было очень опасно. Мы все время шли вниз по Юкону среди льдов. Ночью был большой шум ото льда. Затем лед остановился, лодка остановилась, все остановилось. «Сойдем на берег», — говорит женщина. Но я говорю: «Лучше подождать». Скоро все опять понеслось вниз по течению. Много снега. Я не вижу. В один-

надцать часов ночи опять все стало. В час ночи снова все понеслось. В три часа снова все стало. Лодку выбрасывает словно скорлупу, но под ней лед, и она не тонет. Я слышу вой собак. Мы ждем. Мы спим. Мало-помалу наступает утро. Нет больше снега. Все стало, но мы в Даусоне. Лодка остановилась как раз в Даусоне. Ситка Чарлей приехал с двумя тысячами писем, больше никто приехать не мог. Река стала.

Женщина наняла хижину на горе, и целую неделю я ее не видал. Затем, однажды, она приходит ко мне. «Чарлей, — говорит она. — Хочешь для меня поработать? Ты будешь вести собак, устраивать стоянки, ездить со мной». Я отвечаю, что зарабатываю довольно, перевозя письма. Она говорит: «Чарлей, я дам тебе больше денег». Я объясняю ей, что на приисках чернорабочий получает пятнадцать долларов в день. Она говорит: «Это четыреста пятьдесят в месяц». А я говорю: «Ситка Чарлей — не чернорабочий». Тогда она говорит: «Я понимаю, Чарлей. Я дам тебе семьсот пятьдесят долларов в месяц». Это хорошая цена, и я соглашаюсь для нее работать. Я покупаю для нее собак и сани. Мы едем вверх по Клондайку, по Бонанце и Эльдorado; переходим к Индейской реке, к Серной Бухте, в Доминиону; возвращаемся к Золотому Дну и к Золотому Изобилию, и затем назад, в Даусон. Все время она что-то ищет, а я не знаю, чего. «Что вы ищете? — спрашиваю я. Она смеется. — Вы ищете золото?» — спрашиваю я. Она смеется и говорит: «Это не твое дело, Чарлей!» После этого я никогда больше не спрашиваю.

Она носит у пояса маленький револьвер. Иногда в пути она учится стрелять. Я смеюсь. «Почему вы смеетесь, Чарлей?» — спрашивает она. «Для чего вы играете с этим, — говорю я, — ведь это детская игрушка». Когда мы возвращаемся в Даусон, она просит меня купить ей хороший револьвер. Я покупаю «Кольт-44». Он очень тяжелый, но она все время носит его у пояса.

В Даусоне появляется мужчина. Откуда он пришел, я не знаю. Только я знаю, что он — че-ча-квас, то, что мы называем неженка. Его руки мягки так же, как ее. Он ни-

когда не выполняет тяжелой работы. Он весь мягкий. Сперва думаю — это ее муж. Но он слишком молод. И на ночь они ставят две кровати. Ему, быть может, двадцать лет. У него глаза голубые, светлые волосы и маленькие белокурые усы. Его зовут Джон Джонс. Может быть, он — ее брат. Я не знаю. Я больше не спрашиваю, только мне кажется, что его имя не Джон Джонс. Некоторые люди называют его мистер Гирван. Я не думаю, чтобы это было его имя. Я не думаю, что ее имя — мисс Гирван, как называют ее некоторые. Я думаю — никто не знает их имен.

Раз, ночью, я сплю в Даусоне. Он будит меня. Он говорит: «Приготовьте собак. Мы отправляемся». Я не спрашиваю ни о чем, впрягаю собак, и мы едем. Мы едем вниз по Юкону. Ноябрьская ночь. Очень холодно — шестьдесят пять градусов ниже нуля. Они — неженки. Мороз кусает. Они устают. Они тихо плачут.

Я предлагаю остановиться и устроить ночлег. Но они говорят, что поедут дальше. И после этого я три раза советую разбить лагерь и отдохнуть, но они каждый раз отвечают, что едут дальше. Тогда я молчу.

И вот изо дня в день повторяется то же самое. Они оба — неженки. Они коченеют, и им делается больно. Они не понимают, как надо носить мокасины, и ноги их очень болят. Они хромают. Они шатаются, как пьяные. Они тихо плачут. И все время говорят: «Вперед, вперед! Едем дальше!»

Они как будто сошли с ума. Они все время едут дальше и дальше. Почему? Я не знаю. Только они все едут дальше. Что они ищут? Я не знаю. Они здесь не за золотом. Они не больны золотой горячкой. Кроме того, они тратят очень много денег. Но я больше не спрашиваю. Я тоже еду вперед, потому что я силен и привычен к дороге, и мне хорошо платят.

Мы доезжаем до Серкл-Сити. Там нет того, что они ищут. Я думаю — теперь, может быть, мы отдохнем и дадим передохнуть собакам. Но мы не останавливаемся ни на один день. «Едем, — говорит женщина мужчине, — едем дальше». И мы едем дальше. Мы оставляем Юкон. Мы проезжаем

водораздел налево и поворачиваем в страну Тана-Нау. Там новые прииски. Но того, что мы ищем, там нет, и мы возвращаемся в Серкл-Сити.

Путь очень трудный. Декабрь уже кончается, и дни короткие. Холодно, очень холодно. Раз утром термометр показывает семьдесят ниже нуля. «Лучше сегодня не ехать, — говорю я. — Мороз прихватит края наших легких. Мы будем сильно кашлять и будущей весной можем заболеть воспалением легких». Но они — че-ча-квасы. Они не понимают трудностей пути. Они — словно мертвые от усталости, но говорят: «Едем дальше». Мы едем дальше. Мороз кусает их легкие, и они начинают сухо кашлять. Они плачут, и слезы сбегают по их щекам. Когда жарится сало, они должны убегать от огня и полчаса кашлять. Они слегка отмораживают себе щеки, кожа их становится черной и очень болезненной. Мужчина отмораживает себе большой палец так, что кончик едва не отваливается; он должен надеть толстые варежки, чтобы отогреть руку. Когда мороз сильно щиплет и пальцу очень холодно, он снимает варежку и кладет руку между ногами, вплотную к телу, чтобы согреть палец.

Мы насилу добираемся до Серкл-Сити, и даже я, Ситка Чарлей, утомлен. Это — канун Рождества. Я танцую, пью, веселюсь. Завтра — Рождество, и мы отдохнем. Но не тут-то было. Пять часов утра в день Рождества. Я спал два часа. Мужчина стоит у моей постели. «Идем, Чарлей, — говорит он, — запрягай собак. Мы едем!»

Кажется, я говорил, что уже перестал задавать вопросы. Они платят мне семьсот пятьдесят долларов в месяц. Они — мои хозяева. Если они скажут мне: «Идем, Чарлей, поедем в ад», — я запрягу собак, щелкну бичом и поеду в ад. И так, я запрягаю собак, и мы отправляемся вниз по Юкону. Куда мы едем? Они не говорят. Они только говорят: «Дальше! Дальше!..»

Они очень устали. Они проехали сотни миль и совершенно не понимают, как на Севере ездят. К тому же их кашель очень усилился. Этот сухой кашель заставляет сильных мужчин ругаться, а слабых — плакать. Но они едут дальше. Они

никогда не дают собакам отдохнуть. Всюду они покупают новых собак. В каждом лагере, на каждой почтовой станции, в каждой индейской деревне они отпускают усталых собак и впрягают свежих. У них много денег, и они тратят их без конца. Они — сумасшедшие? Иногда я так думаю, ибо в них сидит дьявол, который гонит их вперед. Что они стараются найти? Это не золото. Они никогда не копаются в земле. Я долго думаю. И наконец я прихожу к убеждению, что они ищут человека. Но какого человека? Мы его не видим. Они вроде волков, идущих по следу, чтобы убить. Но они странные волки — слабые волки, волчата, не понимающие, как надо идти по следу. Ночью, во сне, они громко плачут, стонут и жалуется на боль и усталость. А днем они шатаясь идут по тропе и тихо плачут. Они — странные волки.

Мы проезжаем форт Юкон. Мы переезжаем форт Гамильтон. Мы проезжаем Минук. Январь на исходе. Дни очень коротки. В девять часов светает. В три часа темнеет. Очень холодно. И даже я, Ситка Чарлей, утомлен. Неужели они будут так ездить без конца? Я не знаю. И всегда я ищу на тропе то, что они стараются найти. Мало людей на тропе. Иногда мы едем целых сто миль и не встречаем следа жилья. Тишина. Ни одного звука. Иногда идет снег, и мы подобны блуждающим призракам. А иногда ясно, и в полдень солнце на мгновение выглядывает из-за южных холмов. Северное сияние вспыхивает на небе. Солнце, окруженное ложными солнцами. Воздух полон морозной пыли.

Я, Ситка Чарлей, — сильный человек. Я вырос на тропе и провел на ней всю мою жизнь. И все же эти волчата меня утомили. Я худ, как голодная кошка. С радостью ложусь я в постель, а утром встаю усталый. И все-таки мы всегда выступаем еще задолго до рассвета, и сумерки застают нас всегда в пути.

Что за волчата! Если я худ, как голодная кошка, то они худы как кошки, которые никогда не ели и уже подохли. Их глаза глубоко ушли в глазные впадины. Они блестят иногда лихорадочным огнем, а иногда они мутны и туманны,

как глаза мертвеца. Их щеки провалились, словно пещеры в скалах. И кожа на щеках почернела и отморожена. Иногда женщина по утрам шепчет: «Я не могу встать, я не могу двинуться. Дай мне умереть!» Мужчина же стоит рядом с ней и говорит: «Едем дальше!» И они едут дальше. А иногда мужчина не может встать, и женщина говорит: «Едем дальше!» И всегда они отправляются дальше. Вперед и вперед.

На некоторых торговых станциях мужчина и женщина получали письма. Я не знаю, что было в этих письмах. Но это был след, по которому они шли, — эти письма. Раз индеец дал им письмо. Я поговорил с ним незаметно. Он рассказал мне, что получил письмо от человека с одним глазом, который быстро едет вниз по Юкону. Вот и все. Но я узнал, что волчата идут за одноглазым человеком.

Наступил февраль. Мы прошли тысячу пятьсот миль и приближаемся к Берингову морю. Метель. Путь очень труден. Мы прибываем в Анвиг. Я не видел, но убежден, что они получили письмо в Анвиге, потому что очень возбуждены. Они говорят: «Скорей, скорей... едем дальше!» Я отвечаю, что надо купить провизию. Но они хотят ехать быстро и налегке. Они говорят, что мы найдем провиант в хижине Чарли Мак-Кеона. Из этого я узнаю, что они хотят идти широкой боковой тропой, потому что Чарли Мак-Кеон живет у Черной Скалы на этой тропе.

Раньше чем отправиться, я говорю две минуты с анвигским священником. Да, мимо проехал человек с одним глазом, и движется он очень быстро. И я знаю, что они ищут одноглазого человека. Мы выезжаем из Анвига с маленьким запасом провианта, едем быстро и налегке. Мужчина и женщина словно сошли с ума. По утрам мы выступаем еще раньше, а вечером едем еще дольше. Я иногда ожидаю, что эти два волчонка умрут, но они не умирают. Они едут все дальше и дальше. Когда сухой кашель начинает их душить, они прижимают руки к животу и, сидя в снегу, кашляют, кашляют, кашляют. Они не могут ходить, не могут говорить. Десять минут, а не то так и целые полчаса они кашляют,

затем выпрямляются, с замерзшими от кашля слезами на лицах, и говорят все те же слова: «Едем дальше!»

Даже я, Ситка Чарлей, сильно устал и думаю, что семьсот пятьдесят долларов — очень дешевая плата за такую работу. Мы сворачиваем на боковую тропу, эта тропа не убита. Волчата держат нос по следу и говорят: «Спешим! — все время они говорят: — Спешим! Скорее, скорее!» Собакам тяжело. У нас мало еды; мы не можем их хорошо кормить, и они слабеют. Несмотря на это, они должны везти без передышки. Женщина их жалеет, и часто из-за них слезы навертываются у нее на глазах. Но дьявол сидит в ней и не позволяет ей остановиться и дать отдохнуть собакам.

Скоро мы настигаем человека с одним глазом. Он лежит со сломанной ногой на снегу около тропы. Из-за ноги он не мог разбить настоящей стоянки и три дня лежал на снегу, поддерживая огонь. Когда мы находим его, он ругается. Ругается, как черт. Никогда не слышал я такой ругани. Я рад. Теперь, думаю я, они нашли то, что искали, и мы отдохнем. Но женщина опять говорит: «Едем! Скорее!»

Я удивлен. Но одноглазый человек говорит: «Не обращайтесь на меня внимания. Дайте мне вашу провизию. Вы найдете завтра еду в хижине Мак-Кеона. Пошлите Мак-Кеона за мной. Но поезжайте дальше». Вот еще один волк — старый волк, — и он тоже думает только об одном — ехать дальше, все дальше. И мы даем ему нашу провизию, которой остается у нас немного, рубим дрова для костра, берем самых сильных собак и едем. Мы оставляем одноглазого человека лежать, и он умер там на снегу, так как Мак-Кеон за ним не пришел. Я не знаю, кто был этот человек и почему он там очутился. Но я думаю, что мужчина и женщина ему, как и мне, хорошо заплатили, чтобы он для них работал.

В этот день и ночь у нас не было никакой пищи. Весь следующий день мы ехали очень быстро и ослабели от голода. Скоро мы подошли к Черной Скале, которая возвышается на пятьсот футов над тропой. День кончался. Уже сгустилась темнота, и мы не могли найти хижину Мак-Кеона.

Мы спали голодные и утром приступили к поискам хижины. Ее там не оказалось, и это было очень странно, так как все знали, что Мак-Кеон живет в хижине у Черной Скалы. Мы были недалеко от морского берега, где ветер дует очень сильно и падает много снега. Всюду были снежные холмы: снег был нанесен ветром. У меня возникла одна мысль, и я стал разрывать эти холмы. Скоро я нашел стены хижины и открыл дверь. Я вошел и увидел, что Мак-Кеон мертв. Быть может, он умер две или три недели тому назад. Он заболел и не мог оставить хижину. Ветер завалил ее снегом. Чарли съел весь свой провиант и умер. Я искал в его кладовой и еды не нашел.

«Едем дальше!» — воскликнула женщина. Глаза у нее были голодные, и рукой она держалась за сердце, как будто внутри у нее что-то болело. Стоя там, она качалась взад и вперед, как дерево на ветру. «Да, едем дальше», — сказал мужчина. Его голос звучал глухо, как карканье старого ворона, и он, казалось, сошел с ума от голода. Его глаза были, как огненные угли, и тело его раскачивалось из стороны в сторону. Казалось, что и душа его тоже мечется. Я тоже сказал: «Едем дальше». Ибо эти слова, которые хлестали меня тысячу пятьсот миль, ввелись, наконец, мне в душу. И я думаю, что я также сошел с ума. К тому же нам оставалось только продвигаться дальше, ведь у нас не было пищи. И мы отправились, не задумываясь о судьбе человека с одним глазом.

По этой боковой тропе мало ездят. Иногда, в течение двух или трех месяцев никто не пройдет по ней. Вся тропа была завалена снегом, и казалось, что этой дорогой никогда не шли. Целый день дул ветер и падал снег, и целый день мы ехали, пока наши желудки не стали ныть от голода и мы совсем не ослабели. Наконец, женщина начала спотыкаться и падать. Затем и мужчина. Я не падал, но мои ноги отяжелели, и я много раз спотыкался.

Это была последняя ночь февраля. Я убил трех белых птармиганов из револьвера женщины, и мы снова несколько окрепли. Но собаки не были накормлены. Они пытались съесть свою упряжь из оленьей и моржовой кожи, и я дол-

жен был отогнать их палкой и повесить упряжь на дерево. Всю ночь они выли и дрались вокруг дерева. Но мы не обращали на это внимания. Мы спали как убитые и утром встали, как мертвые встают из могилы, и пошли по тропе.

В это первое мартовское утро я увидел наконец признаки того, за чем охотились волчата. Была ясная и холодная погода. Солнце дольше оставалось на небе, а ложные солнца сияли по обеим его сторонам. Воздух блестел морозной пылью. Снег перестал падать на тропу, и я увидел свежие следы собак и саней. В санях едет, по-видимому, один человек, и видно, что он слаб. Он тоже не имел достаточно пищи. И волчата замечают свежий след. Они очень возбуждены. «Спешим! — говорят они и все повторяют: — Спешим! Скорее! Чарлей, скорее!»

Но спешить мы не можем. Мужчина и женщина все время спотыкаются и падают. Когда они пытаются ехать на санях, собаки тоже падают — они слишком слабы. К тому же так холодно, что если волчата сядут на сани, то непременно замерзнут. Очень легко замерзнуть голодному человеку. Когда женщина падает, мужчина помогает ей встать. А иногда женщина поднимает мужчину. Но скоро, падая, они оба не могут встать, и я должен помогать им. Иначе они не встанут и умрут на снегу. Это трудная работа, и я очень устаю. Они совсем выбились из сил и очень тяжелы. К тому же я должен управлять собаками. Наконец, я тоже валяюсь в снег, и некому помочь мне встать. Но я встаю сам, помогаю им и понукаю собак двинуться вперед.

В эту ночь я застрелил только одного птармигана, и мы очень голодны. И в эту же ночь мужчина говорит мне: «В котором часу мы завтра отправляемся, Чарлей?» Его голос звучит как голос привидения. Я отвечаю: «Мы все равно отправляемся в пять часов. — Смеюсь и говорю с горечью: — Ведь вы — уже мертвый человек». Но он шепчет: «Завтра мы отправляемся в три часа».

И мы в самом деле пускаемся в путь в три часа, так как я их слуга и исполняю их приказания. Ясно и холодно, нет

ветра. Когда светает, мы видим далеко вперед. Очень тихо. Мы ничего не слышим, кроме биения наших сердец. В этой тишине их хорошо слышно. Мы — словно лунатики, бродящие во сне. Мы блуждаем во сне, пока не падаем. Тогда мы знаем, что должны встать, и снова видим тропу и слышим стук своего сердца. Иногда, идя вот так, я вижу странные сны, мне приходят на ум странные мысли. Зачем живет Ситка Чарлей, спрашиваю я себя. Зачем Ситка Чарлей так работает, голодает, мучится? Потому что получает семьсот пятьдесят долларов в месяц — ведь это глупый ответ. И однако — это ответ. Потом я никогда в своей жизни не обращал внимания на деньги. Потому что с этого дня в меня вошла большая мудрость. Словно яркий свет осенил меня, и я ясно увидел, что человек живет не ради денег, но ради счастья, которое не может быть ни подарено, ни куплено, ни продано и стоит дороже золота всего мира.

Утром мы приходим к месту ночной стоянки человека, который едет впереди нас. Вид брошенной стоянки говорит о том, что человек страдает от голода и слабости. На снегу разбросаны куски одеял и парусины, и я понимаю, что произошло. Его собаки съели свою упряжь, и он сделал новую упряжь из своих одеял. Мужчина и женщина смотрят пристально на эти следы, и я чувствую, глядя на них, что мороз пробирает меня по коже. Их глаза горят нездоровым блеском от утомления и голода. Их лица похожи на лица людей, умерших от голода, а их отмороженные щеки чернеют. «Идем вперед», — говорит мужчина. Но женщина кашляет и падает на снег. Это сухой кашель от мороза, захватившего легкие. Она кашляет долго. Затем, словно выползая из могилы, она с трудом встает на ноги. Слезы замерзли на ее щеках, и она дышит тяжело, со свистом, но говорит: «Идем вперед!»

Мы отправляемся дальше. Мы идем как во сне в этой тишине и не испытываем страданий. Падая, мы как будто пробуждаемся и видим снег и горы и свежий след человека, едущего впереди. И тогда мы снова начинаем страдать. Мы приходим к месту, где перед нами расстилается широкое

открытое пространство, и на снегу, впереди, мы видим того, кого ищем. На расстоянии мили от нас по снегу двигаются черные точки. Мои глаза мутны, и я собираюсь с силами, чтобы рассмотреть. Я вижу одного человека с собаками и санями. Волчата также видят. Они уже не могут говорить и только шепчут: «Вперед, вперед, скорее!»

Они падают, но встают и идут дальше. У человека, едущего впереди, часто рвется упряжь из одеял, и он вынужден останавливаться и чинить ее. Наша упряжь в порядке, так как я вешал ее на деревья каждую ночь. В одиннадцать часов человек находится за четверть мили от нас. Он очень слаб. Мы видим, что он часто падает в снег. Одна из его собак не может идти дальше. Он перерезает упряжь, чтобы освободить ее. Но он не убивает собаки. Когда мы проходим мимо лежащей собаки, я убиваю ее топором; убиваю я также и одну из своих собак, упавших и не способных идти дальше.

Теперь нас разделяет триста ярдов. Мы двигаемся очень медленно. Может быть, со скоростью одной мили в два или три часа. Мы не идем. Мы все время валимся с ног. Мы встаем и делаем шатаясь два или три шага и затем снова падаем. Все время я должен помогать мужчине и женщине. Иногда они поднимаются на колени и падают лицом вниз, несколько раз, раньше чем могут встать на ноги, сделать еще несколько шагов и снова упасть. Но, стоя на ногах или на коленях, они всегда валятся вперед и таким образом продвигаются по следу дальше на длину их собственного тела.

Иногда они ползут на руках и ногах, как звери. Мы двигаемся со скоростью улиток, со скоростью умирающих улиток. И все же мы идем быстрее, чем человек, который впереди нас. Он тоже все время падает, и у него нет Ситки Чарлея, чтобы помочь ему встать. Теперь он всего в двухстах ярдах от нас. Наконец, между нами только сто ярдов.

Это — забавное зрелище. Мне хочется громко смеяться, так это забавно. Это — шествие смерти. Гонки мертвых людей и мертвых собак. Это похоже на ночной кошмар, когда стараешься бежать изо всех сил, спасая жизнь, а пе-

редвигаешься очень медленно. Мой спутник сошел с ума. Моя спутница сошла с ума. Я сошел с ума. Весь мир сошел с ума, и мне хочется смеяться, так это забавно.

Незнакомец оставляет своих собак и идет один по снегу. Спустя немного мы подходим к его собакам. Они впряжены в сани, и в упряжи из одеял лежат, бессильные, на снегу. Когда мы проходим мимо, они скулят, как голодные дети.

Тогда мы тоже оставляем собак и идем одни по снегу. Мужчина и женщина почти мертвы. Они стонут и плачут, но идут вперед. Я тоже иду вперед. У меня только одна мысль — настигнуть незнакомца. Тогда и только тогда я смогу отдохнуть, и мне кажется, что я лягу и засну и буду спать тысячу лет — так я устал.

Незнакомец в пятидесяти ярдах — один на белом снегу. Он падает и ползет, встает, шатается и снова падает и ползет. Он похож на тяжело раненного зверя, пытающегося убежать от охотника. Теперь он ползет на руках и на коленях. Он больше не встает. Но мужчина и женщина также уже не могут встать. Они тоже ползут за ним на руках и коленях. Но я встаю. Иногда я падаю, но всегда снова поднимаюсь на ноги.

Это — странная картина. Тишина и снег, и по снегу ползут мужчина и женщина, а впереди незнакомец. Около солнца, по одному с каждой стороны, — ложные солнца. На небе, таким образом, три солнца. Морозная пыль похожа на алмазную, и воздух наполнен ею. Женщина кашляет и лежит на снегу, пока припадок проходит. Мужчина смотрит прямо перед собой и должен тереть свои помутневшие глаза, чтобы увидеть незнакомца. Незнакомец смотрит назад через плечо. А Ситка Чарлей то стоит на ногах, то падает и снова встает.

Но вот через большой промежуток времени видно, что незнакомец перестал ползти. Он медленно становится на ноги, качаясь взад и вперед. Он снимает одну перчатку и ждет с револьвером в руке, сильно раскачиваясь. Лицо его — только кожа и кости и черное от мороза. Это — лицо голодающего. Глаза глубоко впали, а губы приоткрылись — он что-то злобно рычит. Мужчина и женщина также встают на ноги и мед-

ленно подвигаются к нему. Вокруг снег и тишина. На небе три солнца, и морозный воздух сверкает алмазной пылью.

Тут увидел я, как волчата настигли свою добычу.

Никто не говорит ни слова. Только незнакомец издает злобное рычание. Он качается взад и вперед, со сторбленными плечами и согнутыми коленями, широко расставив ноги, чтобы не упасть. Мужчина и женщина останавливаются в пятидесяти шагах от него. Они тоже качаются, и ноги их широко расставлены, чтобы не упасть. Незнакомец очень слаб. Его рука трясется в то время, как он стреляет в мужчину. Пуля попадает в снег. Мужчина не может снять варежку. Незнакомец снова в него стреляет. Мимо. Тогда мужчина зубами стаскивает варежку. Но его рука замерзла, и он не может держать револьвер, который падает в снег. Я смотрю на женщину. Она сняла варежку. В ее руке большой револьвер Кольта. Она стреляет три раза — раз за разом. Незнакомец все еще издает какие-то звуки, падая лицом вниз — в снег.

Они не смотрят на убитого. «Идем дальше», — говорят они. И мы идем вперед. Но теперь, когда они нашли то, что искали, они — как мертвые. Последние силы их оставили. Они больше не могут стоять на ногах. Они не хотят ползти, они хотят спать. Вблизи я вижу место, пригодное для стоянки. Я ударяю их ногой. Я беру собачий бич и бью их. Они громко кричат, но вынуждены ползти. Так доползают они до лагерного места. Я развожу костер, чтобы они не замерзли. Затем возвращаюсь к саням. Я убиваю собак незнакомца, чтобы было, что есть. Я заворачиваю мужчину и женщину в одеяла, и они спят. Иногда я бужу их и даю им немного поесть. Они дремлют, но принимают пищу. Женщина спит тридцать шесть часов. Затем просыпается и снова засыпает. Мужчина спит два дня, просыпается и снова засыпает. Потом мы спускаемся вместе к побережью. И когда лед уходит из Берингова моря, мужчина и женщина уезжают на пароходе. Но сперва они платят мне семьсот пятьдесят долларов в месяц. И дают мне еще подарок — тысячу долларов. Это было в том самом году, когда Ситка Чарлей дал много денег в миссию Святого Креста.

— Но почему они убили этого человека? — спросил я.

Ситка Чарлей медлил ответом, пока не зажег своей трубки. Он взглянул на иллюстрацию «Полицейской Газеты» и кивком головы указал на нее. Затем сказал медленно и вразумительно:

— Я много об этом думал. Я не знаю. Я знаю только, что это случилось. Я помню эту картину. Как будто мы смотрим в окно и видим человека, пишущего письмо. Они вошли в мою жизнь и ушли из моей жизни. Картина эта, как я сказал, не имеет начала. А конец непонятен.

— Ты нарисовал в этом рассказе много картин, — сказал я.

— Да, — кивнул он головой, — но они были без начала и без конца.

— Последняя картина имела конец.

— Да, — ответил он, — но какой конец?

— Это был кусок жизни.

— Да, — согласился он, — это был кусок жизни.

ТРУС НЕГОР

Одиннадцать дней он шел по следу своего племени. Все племя — мужчины, женщины и дети — убегало от преследования. Спасался бегством и он сам. Он знал, что за ним идут эти ужасные русские. Через болота и крутые овраги двигались они вперед, и целью их было полное уничтожение всего его народа. Он шел налегке. Вся его поклажа состояла из заячьей шубы, ружья центрального боя и нескольких фунтов сушеного лосося. Несмотря на это, он с трудом нагонял свое племя. И это не удивляло его, так как он знал, что страх, внушаемый русскими, способен гнать вперед с невероятной быстротой целый народ.

Было это в прежние времена, в половине XIX века, когда русские владели Аляской. Наконец, летней ночью Негор настиг беглецов у истока Пилата. В полночь — было светло

как днем — он проходил через усталый лагерь. Многие видели его, все знали, но почти никто его не приветствовал.

— Трус Негор, — услышал он слова Иллихи, молодой женщины. Она засмеялась, и вместе с нею смеялась Сон-Ни, дочь его сестры.

Прилив гнева охватил его. Но он не подал виду. Он пробирался между лагерными кострами, пока не дошел до огня, возле которого сидел старик. Молодая женщина умело массировала утомленные мускулы его ног.

Старик поднял свое слепое лицо и внимательно прислушался к шагам Негора, ступающего по сухим веткам.

— Кто идет? — заскрипел его старческий голос.

— Негор, — ответила молодая женщина, не отрываясь от работы.

Лицо Негора было бесстрастно. В течение нескольких минут он стоял и ждал. Старик склонил голову на грудь. Молодая женщина, стоя на коленях, с головой, спрятанной в облаке густых черных волос, продолжала массировать его усталые мускулы. Негор смотрел на ее стройное тело, сгибающееся у талии подобно телу рыси. Она была похожа на тонкий ствол березы, но вместе с тем в ней чувствовалась вся сила молодости. Он смотрел, и весь был охвачен глубокой тоской по ней, почти подобной физическому голоду. Наконец он спросил:

— Разве нет приветливого слова для Негора, который так долго отсутствовал и теперь только вернулся?

Она посмотрела на него холодно. Старик засмеялся.

— Ты моя жена, Уна, — сказал Негор твердо и с тенью угрозы.

Она встала внезапно и мягко — по-кошачьи — выпрямилась. Ее глаза сверкали, ее ноздри трепетали, как у оленя.

— Я должна была быть твоей женой, Негор. Но ты — трус. Дочь Старого Кинуза не может быть женой труса.

Он пытался говорить, но она заставила его замолчать властным жестом.

— Старый Кинуз и я пришли к вам из далекой страны. Ваше племя приняло нас к своим кострам и согрело, не спра-

шивая, откуда мы и почему странствуем. Они думали, что Старый Кинуз потерял зрение от старости. И ни Старый Кинуз, ни я этого не опровергали. Старый Кинуз был храбрый человек, но он не хвастун. Теперь, когда ты узнаешь, как он ослеп, ты поймешь, что дочь Кинуза не может быть матерью детей такого труса, как ты, Негор.

Она снова не дала ему заговорить.

— Знай, Негор, если сложить все твои переходы в здешней стране, и то ты не дошел бы до Ситки на Великом Соленом озере. Там много русских людей, и закон их суров. Из этой Ситки бежал Старый Кинуз, который в те дни был молодым Кинузом. Он бежал со мной — маленьким ребенком на руках, вдоль островов, находящихся посреди моря. Моя убитая мать могла бы рассказать об его обиде. Убитый русский, с копьем, пронзившим ему грудь и спину, мог бы рассказать об исполненной мести Кинуза.

Но всюду, куда мы бежали и как бы далеко мы ни уходили, везде мы находили ненавистных русских. Кинуз не боялся их, но видеть не мог. Поэтому мы бежали все дальше и дальше, через озера и реки, пока не пришли к Великому Туманному морю, о котором ты слышал, но которого ты никогда не видел. Мы жили среди разных племен, и я выросла и стала женщиной. Но Кинуз, сделавшись стар, не взял себе другой женщины, и я не взяла себе мужа. Наконец мы пришли в Пэстилик, туда, где Юкон вливается в Великое Туманное море. Здесь мы долго жили на краю моря среди народа, ненавидевшего русских. Но иногда они приходили, эти русские, на больших кораблях и заставляли жителей Пэстилика показывать им дорогу между бесчисленными островами у устья Юкона. И иногда люди, которых они брали с собой, чтобы показать им дорогу, не возвращались. Наконец народ этого не мог выносить больше и задумал великое дело.

И когда пришел корабль, Старый Кинуз выступил и сказал, что покажет русским путь. Он был тогда уже стариком, и волосы его были седые. Но он был бесстрашен. И он был хитер, ибо повел корабль туда, где море стремится к берегу

и где волны бьют белой пеной о гору, называемую Романовой. Море унесло корабль туда, где волны бьют о берег; он был выброшен на берег и разбился о скалы. Тогда пришли люди из Пэстилика (ибо в этом заключался их замысел) с копьями, стрелами и немногими ружьями. Но перед этим русские выкололи глаза Старому Кинузу, чтобы он никогда больше не мог указывать дорогу. И затем началось сражение там, где волны бьют о берег, с людьми из Пэстилика.

Во главе этих русских был Иван. Он сам, своими двумя большими пальцами, выдавил глаза Старого Кинуза. Затем с двумя людьми, оставшимися из всего его отряда, он пробился сквозь ряды противника, прошел через бурные воды и ушел вдоль берега Великого Туманного моря к северу. Кинуз не мог больше видеть и был беспомощен, как ребенок. Он бежал от моря вверх по великому неведомому Юкону до Нулато. И я бежала с ним. Так поступил старик, мой отец. Но что сделал юноша Негор?

Снова она жестом заставила его молчать.

— Своими собственными глазами я видела в Нулато, перед воротами большой крепости всего несколько дней назад я видела, как тот самый русский Иван, который ослепил моего отца, ударил тебя собачьим кнутом и избил, как собаку. Я видела это и узнала, что ты — трус. Но я тебя не видела в ту ночь, когда все твое племя — да, даже мальчики, не способные к охоте, — напало на русских и всех их перебило.

— Только не Ивана, — сказал спокойно Негор. — И сейчас он гонится за нами и с ним много русских из-за моря.

Уна не пыталась скрыть своего удивления и сожаления, что Иван не убит. Но она продолжала:

— Днем я увидела, что ты трус; ночью, когда все мужчины и даже мальчики сражались, я тебя не видела и вторично убедилась в том, что ты трус.

— Ты закончила? Все сказала? — спросил Негор.

Она кивнула головой и посмотрела на него — как это он может что-нибудь вообще сказать.

— Знай же, что Негор — не трус, — так начал он спокойно и небрежно. — Знай, что когда я был еще мальчиком, я ходил один к месту, где Юкон вливается в Великое Туманное море. Я доходил до Пэстилика и даже дальше, вдоль края моря. Я сделал это, когда я был мальчиком, и это доказывает, что я не был трусом. И я не был также трусом, когда ходил молодым, совсем один, вдоль Юкона, дальше, чем кто-либо когда-нибудь заходил, — так далеко, что я пришел к другому народу, с белыми лицами, но говорящему на другом, чем русские, языке. Я убил также большого, очень большого медведя в стране Тана-Нау, куда не заходил никто из моего народа. И я сражался с нуклукиетами и калтагами и стиксами в далеких местностях и все один. Об этих делах, о которых ни один человек не знает, я сам рассказываю. Пусть мои соплеменники расскажут о том, что я сделал и что им известно. Они не скажут, что Негор — трус.

Он с гордостью кончил и ждал ответа.

— Это случилось до моего прихода в эту страну, — сказала она, — и я ничего об этих делах не знаю. Я знаю только то, что видела, а я видела, как тебя избивали. Ночью же, когда великая крепость горела и люди убивали и сами умирали, я тебя не видела среди них. И люди твои теперь называют тебя Негор-трус. Это теперь твое имя — Негор-трус.

— Это нехорошее имя, — проскрипел старик.

— Ты не понимаешь, Кинуз, — Негор говорил незлобово, — но я объясню тебе. Знай же, что я был на охоте за медведем с Камо-Та, сыном моей матери. И Камо-Та боролся с большим медведем. Мы не имели мяса в течение трех дней, и Камо-Та был недостаточно силен и ловок. Большой медведь сдавил его так, что кости его хрустели, как сухие палки. Я нашел его, больного и стонущего, на земле. И не было мяса, и я не мог ничего убить, что он мог бы есть.

Тогда я сказал: «Я пойду в Нулато и принесу тебе пищу, а также приведу сильных людей, чтобы отнести тебя в стожанку». Но Камо-Та попросил: «Иди в Нулато и принеси пищу, но не говори ни слова о том, что со мной случилось».

Когда я поем и буду снова здоров и силен, я убью этого медведя. Тогда я вернусь с честью в Нулато, и никто не будет смеяться и не скажет, что Камо-Та был побежден медведем». Я послушался моего брата и когда вернулся и русский, по имени Иван, ударял меня кнутом, я знал, что не могу сопротивляться. Ибо никто не знал про Камо-Та, больного, стонущего и голодного. Если бы я дрался с Ивановом и умер бы, мой брат тоже бы умер. Поэтому-то, Уна, ты и видела, что меня били, как собаку. В это время я слышал разговор шаманов и вождей о том, что русские разнесли среди наших людей неведомую болезнь, что они убили многих из нас и похитили наших женщин. Говорили, что земля должна быть очищена от этих пришельцев. Я слышал этот разговор и знал, что это добрые речи и что в эту ночь русские должны быть убиты. Но мой брат Камо-Та был болен и не имел пищи. И поэтому я не мог остаться и сражаться вместе с мужчинами и мальчиками, не способными еще к охоте.

Я унес с собой мясо и рыбу и следы от ударов Ивана. Но я увидел, что Камо-Та уже не стонет — он умер. Тогда я вернулся в Нулато, но не было уже Нулато — только пепел чернел, и валялось много трупов в том месте, где стояла великая крепость. И я видел, как русские поднимались вверх по Юкону в лодках. Было много русских, пришедших с моря. И я видел, как Иван выполз из того места, где прятался, и вел с ними разговор. И на следующий день я видел, что Иван ведет их по следу нашего племени. И сейчас они идут по этому следу. Я же здесь, я, Негор. И я — не трус.

— Я слышу этот рассказ, — произнесла Уна, и голос ее звучал мягче, чем прежде. — Но Камо-Та умер и не может сказать за тебя слова. И я знаю только то, что я видела. Я должна собственными глазами увидеть, что ты не трус.

Негор сделал нетерпеливое движение.

— По-разному можно это сделать, — продолжала она. — Хочешь сделать не менее того, что сделал Старый Кинуз? Он кивнул головой и ждал.

— Ты сказал, что эти русские и сейчас нас ищут. Негор, покажи им путь так же, как когда-то Старый Кинуз. Пусть придут они, ничего не подозревая, к тому же месту, где мы их будем ждать, — к проходу между скалами. Ты знаешь место, где скалистая стена высока и изломана. Там мы их уничтожим во главе с Иваном. Когда они будут, подобно мухам, цепляться за скалы, наши люди нападут на них с обеих сторон с копьями, стрелами и ружьями. Сверху женщины и дети будут скатывать на них обломки скал. Это будет великий день. Русские погибнут, и страна наша будет очищена. Иван же, тот самый Иван, который ослепил моего отца и избил тебя плетью для собак, будет также убит. Он умрет, как бешеная собака, раздавленный скалами. А когда начнется сражение, ты, Негор, должен тайком уползти, так, чтобы тебя не убили.

— Хорошо, — ответил он. — Негор покажет им дорогу. А потом?

— Тогда я буду твоей женой, Негор, — женой храброго человека. Ты будешь охотиться для меня и Старого Кинуза, и я буду готовить тебе пищу и шить тебе теплое, крепкое платье и сделаю тебе обувь по образцу моего народа — она будет лучше, чем та, которую у вас носят. И я буду с этого дня всегда твоей женой. Я сделаю твою жизнь радостной, так что все твои дни будут полны песнями и смехом, и ты узнаешь, что Уна не похожа на других женщин. Она путешествовала в далеких странах и видела неведомые места, и она стала мудрой — мудрой, как мужчина, такой мудрой, что умеет доставлять им радость. И в старости твоей она будет давать тебе радость. И твои воспоминания о ней, о том, какой была она в дни твоей молодости, будут сладки. Ибо ты будешь знать всегда, что она была для тебя облегчением, миром, отдыхом и была для тебя женой лучшей, чем другие женщины для других мужчин.

— Пусть будет так, — сказал Негор, и страсть по ней съедала его сердце, и объятия его раскрывались для нее — как руки голодного человека тянутся за пищей.

— Только тогда, когда покажешь им дорогу, Негор... — остановила она его. Но глаза ее были нежны и влажны, и он знал, что она смотрит на него так, как никогда еще женщина на него не смотрела.

— Хорошо, — сказал он и повернулся решительно. — Я пойду сейчас переговорить с вождями. Пусть они знают, что я иду показать дорогу русским.

— О Негор, мой муж! Мой муж! — прошептала она вполголоса, глядя ему вслед. Но она сказала это тихо, — даже Старый Кинуз не услышал, несмотря на то что слух его со времени ослепления стал очень чуток.

Через три дня русские вытащили Негора, как крысу, из ущелья, куда он спрятался. Его привели к Ивану, «Ивану Грозному», как звали его те, кто за ним следовал. Негор был вооружен плохим копьем с костяным наконечником. Он кутался в свой заячий тулуп и дрожал как в лихорадке, несмотря на то что день был жаркий. Он качал головой, показывая, что не понимает слов Ивана, и делал вид, что очень устал и болен и хочет только отдохнуть. Он указывал на свой желудок, объясняя, где у него болит, и продолжал сильно дрожать. Но с Иваном был человек из Пэстилика, говоривший на языке Негора. Они долго тщетно расспрашивали Негора про его племя, пока, наконец, человек из Пэстилика, по имени Кардук, не сказал:

— Иван приказал, чтобы тебя засекли до смерти, если ты не будешь говорить. И знай, мой незнакомый брат, что слово Ивана — закон. Я — твой друг, а Иван — враг. Ибо я не добровольно покинул свою страну у моря. Но я хочу жить и поэтому подчиняюсь воле моего повелителя. И ты будешь исполнять его приказания, если ты разумен и хочешь жить.

— Незнакомый брат мой, — ответил Негор, — я в самом деле не знаю, куда ушел мой народ, ибо я был болен и мои ноги изменили мне, и я отстал от них.

Негор ждал, пока Кардук говорил с Иваном. Затем он увидел, что лицо русского потемнело, и, по знаку его, двое людей подошли к Негору с двух сторон, шелкая в воздухе

тяжелыми плетьюми. Тогда он представился сильно испуганным и громко кричал, что он больной человек и ничего не знает, но он скажет то, что знает. И так хорошо он им рассказал, что Иван приказал своим людям двинуться вперед. Рядом же с Негором шли люди с плетьюми, чтобы он не мог убежать. И когда он говорил, что ослабел от болезни и отставал от них, они его секли до тех пор, пока он не кричал от боли и не находил сил идти дальше. Когда же Кардук сказал ему, что все для него изменится к лучшему, как только они догонят его племя, он спросил: «И тогда я смогу отдохнуть и не двигаться?»

Он постоянно повторял этот вопрос: «И тогда мне можно будет отдохнуть и не двигаться?»

В то же время, прикидываясь очень больным и осматриваясь мутными глазами по сторонам, он подсчитывал людей, входивших в отряд. При этом он убедился, что Иван не узнал в нем человека, которого бил перед воротами крепости. Странное сборище представилось его глазам. Здесь были охотники славянского происхождения с белой кожей и могучими мускулами; короткие, коренастые финны со сплюснутыми носами и круглыми лицами; уроженцы Сибири, чьи носы были похожи на орлиные клювы; были и худые люди с раскосыми глазами, в жилах которых монгольская и татарская кровь смешивалась со славянской. Это все были полудикие искатели приключений из далеких стран за Беринговым морем. Огнем и мечом они завоевывали новые земли и жадно захватывали их богатства — пушнину и кожу. Негор глядел на них с удовлетворением, мысленно представляя себе, как они лежат, раздавленные и безжизненные, в скалистом проходе. И всегда рядом с этим он видел лицо и облик Уны, ожидающей его наверху в скалах, и постоянно голос ее звучал в его ушах, и он чувствовал на себе теплый и нежный блеск ее глаз. Но вместе с тем он не забывал прикидываться больным и спотыкался там, где путь был труден. И по-прежнему кричал под ударами плети. При этом он все время опасался Кардука, так как знал, что ему доверяться

нельзя. У него был фальшивый взгляд и слишком болтливый язык, слишком болтливый и гладкий, думал Негор, не похожий на простую, честную речь.

Весь день они шли. На следующий день, когда Кардук, по приказу Ивана, задал вопрос Негору, последний ответил, что вряд ли они встретят племя раньше завтрашнего дня. Но Иван, с тех пор как он доверился указаниям Старого Кинуза и жестоко за это поплатился, ни во что больше не верил. Поэтому, когда они пришли к проходу среди скал, он остановил своих сорок человек и спросил через Кардука: «Свободна ли дорога?» Негор осмотрел ее покорным взглядом. Это был широкий спуск, ведущий вдоль скалы, и весь он был покрыт кустарником и ползучими растениями, где могли хорошо спрятаться десятки племен.

Он покачал головой.

— Там ничего нет, — сказал он, — дорога свободна.

Снова Иван переговорил с Кардуком, и последний сказал:

— Знай, незнакомый брат, что если твои указания неправильны, если твой народ загородит путь или нападет на отряд Ивана, ты тотчас же умрешь.

— Я указываю правильно, — сказал Негор, — дорога свободна.

Но Иван не доверял ему и приказал двум из своих охотников подняться на вершину скалы. Двое других стали, по его приказу, по обе стороны Негора. Они приставили свои ружья к его груди и остановились, выжидая. Весь отряд ждал. И Негор знал, что если вылетит хоть одна стрела или копье, он умрет. Два охотника лезли все выше и выше. И когда они дошли до вершины и махнули шапками в знак того, что все в порядке, они казались маленькими черными точками на фоне светлого неба.

Ружья были отведены от груди Негора, и Иван приказал двинуться вперед. Иван молчал, задумавшись. Около часа он шел, как бы что-то обдумывая, и тогда, через Кардука, спросил Негора:

— Как ты знал, что дорога свободна, не осмотрев ее?

Негор подумал о птицах, которых он видел, сидящими на скалах и в кустах, и улыбнулся: это было так просто. Но он пожал плечами и ничего не ответил. Он думал о другом проходе в скалах, куда они направились и где птиц уже не будет. И он был рад, что Кардук — уроженец берегов Великого Туманного моря, где нет деревьев и кустов и где люди обучаются морскому искусству, а не искусству равнин и леса.

Три часа спустя, когда солнце было высоко на небе, они пришли ко второму проходу в скалах, и Кардук сказал:

— Смотри во все глаза, незнакомый брат, ибо Иван на этот раз не намерен ждать, пока люди пройдут вперед осмотреть дорогу.

Негор посмотрел, а рядом с ним стояло двое людей с ружьями, приставленными к его груди. Он увидел, что все птицы улетели, и в одном месте он заметил блеск ружейного дула на солнце. И он подумал об Уне и вспомнил ее слова: «Когда сражение начнется, ты должен тайком скрыться, чтобы не быть убитым».

Два дула упирались в его грудь. Это было не совсем то, на что она рассчитывала. Очевидно, нельзя будет никуда уйти. Он умрет первым, когда начнется сражение. И он сказал твердым голосом, но как бы от болезни продолжая дрожать:

— Дорога свободна.

Иван двинулся вперед со своими сорока людьми из далеких стран за Беринговым морем. За ним шел человек из Пэстилика, Кардук, и Негор, к груди которого приставлены были ружья. Подъем был долгий, и они не могли двигаться быстро. Но Негору казалось, что они очень быстро приближаются к середине прохода, где была засада.

В скалах направо раздался выстрел. Негор услышал боевой клич своего племени и в течение секунды успел увидеть, что скалы и кусты как бы ошетинились выступившими из-за них толпами его одноплеменников.

Затем он почувствовал, что внезапно огненный взрыв словно разрывает его пополам. Он упал, ощущая острую боль: в его изнемогающем теле жизнь боролась со смертью.

Он держался за свою жизнь с жадностью скупого, цепляющегося за свои сокровища. Он все еще дышал, и воздух наполнял его легкие мучительной сладостью. Смутно до его сознания доходили проблески света и волны звуков. И смутно он видел, как падают, умирая, охотники Ивана и как со всех сторон стекаются к месту избиения его братья, наполняя воздух криками и шумом оружия. А сверху женщины и дети сбрасывают громадные глыбы, которые прыгают, как живые существа, и с грохотом падают вниз.

Солнце плясало над ним в небе; огромные скалы колебались и качались, а он все еще смутно слышал и видел. Когда же грозный Иван упал у его ног, безжизненный, раздавленный упавшей глыбой, он вспомнил слепые глаза Старого Кинуза — и радовался.

Затем звуки замерли, глыбы больше не скатывались рядом с ним, и он видел, как люди его племени подходят все ближе и добивают раненых копьями. Он смутно различал, как рядом с ним могучий русский охотник поднимается в последней схватке за свою жизнь и падает, пронзенный десятками копий.

Затем он увидел над собою лицо Уны и ощутил ее объятия. И на мгновение солнце остановилось и громадные колеблющиеся стены скал застыли.

— Ты храбрый человек, Негор, — услышал он ее голос. — Ты мой муж, Негор.

И в это мгновение он пережил всю ту жизнь радости, какую она ему сулила, и обещанные ею смех и песни. И в то время как в небе медленно исчезало для него солнце и жизнь его постепенно угасала, он был объят сладостным воспоминанием об Уне. И по мере того как память его тускнела и бледнела и проблески ее сменялись нарастающей темнотой, он узнавал в объятиях любимой действительность предвещенного ему отдыха, исполнение предсказанного ему покоя. Когда же черная ночь охватила его, лежащего на ее груди, он ощутил великий мир, проникающий Вселенную, он познал в замирании уходящих сумерек таинственное наступление Тишины.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА «ОСЛЕПИТЕЛЬНОМ»

Повесть



ГЛАВА I

БРАТ И СЕСТРА

Залитый солнцем песчаный берег Тихого океана, шумевшего прибоем гигантских валов, остался у них позади. Выбежав на дорогу, они вскочили на свои велосипеды, сразу дали быстрый ход и вскоре окунулись в зеленые аллеи загородного парка.

Их было трое — трое мальчиков-подростков в светлых свитерах. Они покатали по велосипедной дорожке с таким шиком, с каким обыкновенно любят ездить все мальчики в ярких свитерах, рискуя ежеминутно переступить черту дозволенной скорости. Пожалуй, можно было сказать, что они уже и переступили эту черту. Так думал и конный полисмен, следивший за порядком в парке, но он не успел прийти к окончательному заключению и ограничился лишь простым замечанием, брошенным вдогонку, когда они пролетали мимо. Предостережение в первую минуту подействовало, но, как всегда водится у мальчиков в ярких свитерах, было мгновенно забыто ими на ближайшем же повороте дорожки.

Стрелой вылетев из ворот Гольдонгэтского парка, они повернули в сторону Сан-Франциско и так отчаянно неслись под гору, что встречные пешеходы оборачивались и некоторое время с ужасом глядели им вслед. По городским улицам светлые свитеры неслись, лавируя, во избежание крутых подъемов, иногда пускаясь наперегонки: кто первый взлетит на пригорок.

Мальчика, руководившего гонкой и часто обгонявшего товарищей, звали Джо. Это был вожак всей компании, самый смелый и самый веселый мальчик. Впрочем, когда они въехали в Западное предместье и помчались среди огромных

комфортабельных особняков, его громкий смех стал раздаваться все реже, и Джо начал отставать от товарищей, видимо, сам того не замечая. На перекрестке улиц Лагуна и Валлей товарищи Джо свернули вправо.

— До свидания, Фред! — крикнул Джо, поворачивая руль в левую сторону. — Всего хорошего, Чарли!

— Вечером увидимся! — отвечали они ему.

— Нет, я не приду.

— Непременно приходи! — просили товарищи.

— Нет, нет! Мне надо зубрить. До свидания!

Когда он остался один, лицо его стало серьезно, а глаза затуманились какой-то неопределенной тревогой. Он принялся громко насвистывать, но свист его постепенно замирал, стал еле слышным и оборвался окончательно, когда он подъехал к большому двухэтажному дому.

— Джо, это ты?

Перед дверью, ведущей в библиотеку, Джо остановился в нерешительности. Он знал, что Бесси там: она старательно готовит уроки, наверное, уже заканчивает их; она всегда управляется до обеда, а обед уже скоро.

Он же до своих уроков еще и не дотрагивался! Все это раздосадовало его.

Подумать только — сестренка на два года моложе, а в одном классе с ним; мало того — преуспевает в науках и все время идет впереди всего класса. Это просто невыносимо. И не то чтобы он был так уж туп. Он отлично знает, что он не туп. Но все как-то так выходит — и неизвестно почему, — что мысли его вечно отвлекаются в сторону, и он всегда отстает от других.

— Джо, да войди же, пожалуйста! — Едва слышная жалобная нотка прозвучала на этот раз в ее голосе.

— Ну, чего тебе надо? — сказал он, порывисто отодвигая портьеру.

Он произнес эти слова довольно грубо, но сразу же осекся, взглянув на нежную маленькую девочку, смотревшую на него широко раскрытыми глазами из-за громадного сто-

ла, заваленного книгами. Она сидела с карандашом и бюваром в руках, съжившись в огромном кресле, в котором совершенно терялась ее хрупкая фигурка.

— Ну что, сестричка? — спросил он более мягким тоном, подходя к ней.

Она схватила его руку, прижала ее к своей щеке и прильнула к нему.

— Что с тобой, милый Джо? — спросила она шепотом. — Скажи мне, пожалуйста.

Он ничего не ответил. Смешно, в самом деле, исповедоваться перед крошкой-сестрой, хоть у нее отметки и лучше, чем у него. Ему казалось смешным и то, что эта маленькая девочка серьезно добивается выяснить, что у него на душе.

Однако какая нежная у нее щечка, думал он в то время, как она, ласкаясь, водила лицом по его руке. А все-таки как бы поскорее высвободить руку и покончить со всеми этими глупостями! Только бы не обидеть ее — ведь он хорошо знает по опыту, как легко обижаются девочки.

Она разогнула его сжатые пальцы и поцеловала в ладонь. Точно розовый лепесток упал на нее. Этим поцелуем Бесси давала знать, что настаивает на своем вопросе.

— Со мной ровно ничего, — решительно объявил он. И затем совершенно непоследовательно добавил: — Отец!.. — Его тревога отразилась теперь в ее глазах.

— Но папа такой добрый, такой хороший, Джо, — пролепетала она. — Почему ты не слушаешься его? Ведь он немного от тебя требует, а если и требует, то ради твоей же собственной пользы. И ты гораздо умнее других мальчиков. Если бы ты чуточку подзаялся!

— Вот, вот! Пошли поучения! — вспыхнул он, выдергивая руку. — Теперь и ты будешь мне читать нотации? Скоро очередь дойдет до повара и конюха...

Он засунул руки в карманы и вперил взор в безотрадное, мрачное будущее, с бесконечными выговорами от бесчисленных наставников.

— Ты за этим звала меня? — спросил он, поворачиваясь к выходу.

Она снова схватила его за руку.

— Нет, нет, не за этим; но мне показалось, что тебя что-то тревожит, и я подумала... я... — Голосок ее оборвался, и она заговорила в другом тоне: — Я хотела сказать тебе, что мы затеяли прогулку в Окленд, в горы, по ту сторону залива, в эту субботу.

— Кто это «мы»?

— Мартель Хэйс.

— А, эта мямля! — буркнул он.

— Она вовсе не мямля! — с жаром возразила Бесси. — Она самая милая девочка из всех, кого я знаю.

— Не очень убедительный довод, принимая во внимание состав твоих знакомых девочек... Дальше. Кто там еще?

— Пирль Сэйтер и ее сестра Элис, и Джесси Хильбон, и Сэди Френ, и Эдна Кродерс. Вот и все девочки.

Джо презрительно фыркнул:

— А кто из мальчиков?

— Морис и Феликс Клемент, Дик Скофильд, Борт Лейтон и...

— Довольно с меня и этих. Все до одного сопляки!

— Я... я хотела пригласить тебя, Фреда и Чарли, — запнулась она. — Я затем и позвала тебя, чтобы сказать об этом...

— А что вы там собираетесь делать?

— Погулять, нарвать полевых цветов — уже цветут дикие маки, — потом устроить завтрак где-нибудь на красивой лужайке... и... и...

— И вернуться домой, — договорил он.

Бесси грустно посмотрела на него.

Джо снова засунул руки в карманы и зашагал взад и вперед по комнате.

— Бабья компания, — вдруг выпалил он, — и бабья программа! Нет, это не по мне.

Она закусила дрожащие губы и храбро вымолвила:

— А ты бы что предложил вместо этого?

— Я бы вместе с Фредом и Чарли отправился куда-нибудь и сотворил бы что-нибудь такое, — да, что-нибудь этакое...

Он остановился и метнул глазами в ее сторону. Она молча ждала продолжения. Он ощущал полнейшее бессилие выразить словами обуревавшие его чувства и стремления; вся его тревога и недовольство комком подкатили к самому горлу и душили его.

— О, ты, конечно, не поймешь меня! — простонал он. — Ты не можешь меня понять! Ты — девочка. Ты любишь опрятность и аккуратность, похвальное поведение и круглые пятерки. Тебя не манят опасные приключения и все такое... Тебе не нравятся мальчики, которые рвутся в жизнь; они тебе кажутся грубыми, неотесанными; тебе нравятся прилизанные мямли в белых воротничках, послушные любимчики учителей и учительниц, всегда уверенные в своих успехах. Милые, скромные мальчики, которые ни за что не ввяжутся в драку; они мечтают только о приятных прогулках с букетиками и закусочками в обществе таких же миленьких девочек. О, я прекрасно знаком с этими типиками, которые пугаются своей собственной тени и похожи на робкую овечку. И действительно, это овцы! Ну, а я тебе не овечка, и нам не о чем разговаривать. И на пикнике вашем быть не хочу и не буду.

Темные глазки Бесси затуманились слезами, губы задрожали. Это еще больше усилило его раздражение. Что за несносные создания эти упрямые девчонки! Вечно дуются, вечно хнычут, вечно суются не в свое дело. У них положительно чего-то не хватает.

— Слова нельзя сказать, чтобы ты не заревела, — сказал он примирительным тоном. — Я же ничего не сказал обидного, сестричка. Право, ничего. Я...

Он растерянно остановился и уставился на нее. Она всхлипывала и вздрагивала, готовая разрыдаться. Крупные слезы текли у нее по щекам.

— Ох уж мне эти девочки! — гаркнул он и, сердито стуча каблуками, вышел из комнаты.

ГЛАВА II

«ЗАКОНЫ ДРАКОНА»

Через несколько минут Джо, все еще раздраженный, вошел в столовую к обеду. Он упорно молчал за столом, хотя отец, мать и Бесси вели между собой оживленную беседу. Свирепо уткнувшись в тарелку, Джо итожил свои наблюдения: «Вот мы какие! Разливаемся, плачем, а минуту спустя улыбаемся и хохочем. Наш брат этого не понимает. Будьте уверены, что если бы *нас* что-нибудь могло довести до слез, то мы несколько суток ходили бы как повешенные. Все девчонки притворщицы, такая уж у них повадка. Они не чувствуют и сотой доли того, о чем говорят, когда плачут. Разумеется, нет. Должно быть, они хнычут так часто потому, что им это нравится. Они любят терзать людей, особенно нас, мальчуганов. Потому-то они и вмешиваются в наши дела».

Предаваясь этим мудрым размышлениям, он в то же время с аппетитом ел и отдал должную дань всем блюдам, ибо, согласитесь сами, трудно не почувствовать здорового аппетита, промчавшись на велосипеде от Клифер-Гауза до Западного предместья через весь загородный парк.

Отец по временам искоса поглядывал на сына. Джо этого не замечал, но Бесси хорошо это видела. Мистер Бронсон — человек средних лет — был хорошо скроен и крепко сшит, несколько, правда, тяжеловат, но не тучен. У него было энергичное угловатое лицо с квадратным подбородком и резкими чертами, но веселые глаза светились мягко, а складки у рта выражали не суровость, а скорее склонность к юмору.

Поразительное сходство между отцом и сыном бросалось в глаза. У обоих был широкий лоб и выдающийся подбородок, а глаза, несмотря на разницу лет, походили друг на друга как две пары горошин, вынутых из одного и того же стручка.

— Как твои дела, Джо? — спросил мистер Бронсон сына в конце обеда.

Со стола уже убрали, и все собирались встать.

— Не знаю, — беспечно ответил Джо и потом прибавил: — У нас завтра экзамены, тогда будет видно.

— Ты куда? — спросила мать, когда он повернулся к дверям.

Это была высокая, стройная женщина с карими глазами, как у Бесси, и с такими же, как у нее, мягкими движениями.

— Иду в свою комнату, — ответил Джо. — Заниматься, — добавил он.

Мать нежно наклонилась к нему, провела рукой по его волосам и поцеловала. Мистер Бронсон поощрительно улыбнулся ему вслед, и Джо взбежал по лестнице на верхний этаж с твердым решением погрузиться с головой в книжку и сдать завтрашний зачет во что бы то ни стало.

Войдя в свою комнату, он запер за собой дверь и уселся за стол, великолепно приспособленный для ученических занятий.

В первую очередь Джо принялся за историю, так как завтрашние экзамены должны начаться с этого предмета. Он раскрыл книгу на загнутой странице и начал читать:

— «Вслед за введением законов Дракона между Афинами и Мегарой разгорелась война из-за острова Саламина, на который оба города заявляли свои права».

Ну, это запомнить нетрудно. Но что из себя представляют эти законы Дракона? Надо их повторить.

Пробегая пройденные страницы, он по уши погрузился в это занятие, но случайно взор его, оторвавшись от книги, упал на принадлежности для игры в бейсбол, валявшиеся на стуле, — на маску и на перчатку.

«Мы бы ни за что не проиграли этой партии на прошлой неделе, если бы Фред не промахнулся. Он какой-то вахлак! Правда, ему ничего не стоит изловить подчас сотню трудных шаров один за другим, но в решительную минуту он всегда теряется из-за сущего пустяка. Надо было выпустить его в поле, а Джонса поставить на первое место. Только Джонс

чересчур горячится. Он ни разу не промахнется даже и в решительную минуту, но никогда не угадаешь, что он будет делать, поймав шар».

Джо вспомнил об экзамене и встряхнулся.

— Нечего сказать, недурной способ изучения истории! — Он снова углубился в книгу:

«Вслед за введением законов Дракона...»

Три раза прочитав эту фразу, он вспомнил наконец, что не прочитал еще ничего о самих законах Дракона.

Постучали в дверь. Он яростно стал перелистывать страницы, не обращая внимания на стук.

Стук назойливо повторился, и из-за двери донесся тоненький голосок Бесси:

— Джо, дорогой!

— Что нужно? — спросил он и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Нельзя. Я занят!

— Я пришла узнать, не могу ли я помочь тебе, — сказала она. — Я уже все сделала и думала...

— Ну, разумеется, ты уже все сделала! — проворчал он. — Ты ведь всегда все делаешь вовремя.

Джо обхватил обеими руками голову, чтобы не отрывать глаз от книги. Но эта маска для бейсбола дразнила его. Чем больше он старался вникнуть в историю, тем назойливее лезла в голову мысль о валяющейся на стуле маске и о всех тех партиях, в которых она играла видную роль.

— Нет, это ни на что не похоже!

Он перевернул открытый учебник, положил его на стол вверх корешком и подошел к стулу. Схватив резким движением маску и перчатку, он швырнул их под кровать с такой силой, что маска отлетела от стены.

«Вслед за введением законов Дракона между Афинами и Мегарой разгорелась война...»

Маска откатилась от стены, подумал Джо. Интересно бы знать, на какое расстояние она откатилась и может ли он со своего места видеть ее. Нет, он не будет смотреть. Какое ему до этого дело? Ведь это же не история. А все-таки...

Джо взглянул поверх книжки и увидел маску, которая высунулась наполовину из-под кровати. С этим надо покончить. Пока эта маска торчит перед глазами, он не может заниматься.

Он встал, вытащил ее из-под кровати, торжественно пронес через комнату, подошел к гардеробу, сунул ее туда и плотно запер дверцы. Теперь с ней покончено. Можно будет поработать.

Он уселся за книжку.

«Вслед за введением законов Дракона между Афинами и Мегарой разгорелась война из-за острова Саламина, на который оба города заявляли свои права...»

Все бы это ничего, если бы только знать, в чем состояли эти законы Дракона. Слабый отблеск заката проник в комнату. Откуда этот отблеск? Джо взглянул в окно. Заходящее солнце окрашивало длинными косыми лучами низкие, легкие облака, игравшие теплыми пурпурными тонами. Красноватый отблеск падал на землю.

Джо перевел глаза с облаков вниз на бухту. Морской ветер затих с наступлением вечера, и какая-то запоздавшая рыбацья лодка, направляясь от форта Пойнт, тихо входила в порт, пользуясь последними вздохами ветерка. Немного дальше буксирное судно выводило в море трехмачтовую шхуну, выпуская прихотливые облачка дыма. Взор Джо обратился к берегу Мэри-Каупри. Линия горизонта уже стушеввалась, и длинные тени взбирались вверх по холмам на гору Тамальпэс, четко вырисовывавшуюся при закате солнца.

О, если бы он, Джо Бронсон, мог попасть на эту рыбацью лодку и отправиться с неводом на рыбную ловлю! Или на эту шхуну, которая плывет на запад и выходит на широкий простор! Вот это жизнь, вот это дело! Быть кем-нибудь на этом свете. А он торчит в душной комнате и забивает себе голову рассказами о людях, исчезнувших с лица земли за тысячи лет до его рождения.

Джо рванулся прочь от окна, точно разрывая какие-то невидимые цепи, которыми его приковали к окну, реши-

тельно отодвинул свой стол вместе с книгой в самый дальний угол комнаты и уселся спиной к окну.

Но спустя минуту — так ему показалось — он очутился снова у окна, предаваясь сладким мечтам. Он и сам не знал, как это вышло. Последний след сознательной памяти давал ему знать о том, что он нашел наконец где-то там, на правой странице учебника, параграф, озаглавленный «Законы Дракона и его конституция». Затем, как лунатик, он снова пошел к окну. Неизвестно, сколько времени он простоял тут. Рыбачья лодка, которую он сначала заметил у форта Пойнт, теперь уже доползла до верфи Мейгса. Отсюда можно заключить, что времени с тех пор прошло не менее часа. Солнце давно уже закатилось, торжественные сумерки упали на океан, и над гребнем Тамальпеса заблестали первые бледные звездочки.

Джо вздохнул, отвернулся и побрел было в свой угол, как вдруг услышал долгий пронзительный свист. Это Фред! Джо снова вздохнул. Свист повторился. Затем к нему присоединился новый свист. Это Чарли!

Они поджидают его за углом — счастливые ребята!

Ну, на этот раз — дудки! Им его не дожидаться! Свистки запели дуэтом. Джо засопел и заерзал на своем стуле. Нет, они не дождутся его сегодня, упорно твердил себе он, приподнимаясь, однако же, с места. Ему никак нельзя уйти, пока он не узнает, наконец, что такое законы Дракона. Но та самая сила, которая тянула его к окну, теперь заставила его подойти к столу, положить учебник истории поверх других учебников, отпереть дверь и выйти в переднюю. Джо попытался вернуться, но он успокоил себя тем, что он может выйти на самое короткое время, а потом ничто не мешает ему прийти назад и закончить работу.

Спускаясь с лестницы, он решил, что идет не более как на несколько минут. Он шел все быстрее и быстрее и под конец перепрыгивал через две ступеньки на третью. Нахлобучив впопыхах фуражку, он стремглав вылетел через боковое крылечко. И прежде чем добежал до угла, все законы

Дракона провалились куда-то в далекое прошлое вместе с самим Драконом, а предстоящие экзамены отодвинулись так же далеко в необъятные сферы будущего.

ГЛАВА III

КРАСНЫЙ, БУРЫЙ И РЫЖИЙ

Что вы затеваете? — спросил Джо у Фреда и Чарли.
— Будем пускать воздушных змеев, — ответил Чарли. — Идем скорее, нам надоело тебя дожидаться.

Они отправились втроем на холм, откуда видно было как на ладони всю улицу Юнион, расстилавшуюся далеко внизу под ними. Этот квартал назывался у них Преисподней, а самих себя они прозвали Горцами.

Спуск Горцев в Преисподнюю считался у них предприятием весьма смелым.

Пускание змеев по всем правилам науки было любимым занятием этих удачных Горцев. Им ничего не стоило запустить в облака шесть-восемь змеев зараз на бечевке длиной с целую милю. Для этого им часто приходилось запастись новыми змеями, потому что когда, случалось, оборвется бечевка, или свихнется и заковыляет какой-нибудь змей, волоча за собой все остальные, или внезапно затихнет ветер, то змеи их падали в Преисподнюю, а оттуда уже их нельзя было выцарапать ни за какие коврижки: там, внизу, жили юные пираты и разбойники, принадлежащие к такому племени, которое отличалось весьма своеобразными понятиями о праве собственности.

Каждый раз после аварии какого-нибудь змея с горы на следующий день можно было видеть, как этот же самый змей взвивался на бечевке, ведущей прямо к жилищу кого-либо из обитателей Преисподней. И эти обитатели с неко-

торых пор стали обнаруживать большие успехи в искусстве управления воздушными змеями, несмотря на отсутствие научной подготовки.

Забава Горцев доставляла некоторую выгоду одному старому инвалиду-матросу, который умел чрезвычайно искусно мастерить отличные змеи, благодаря своим познаниям по части воздушных течений и парусов. Он жил в землянке возле самого берега, откуда мог следить своими тусклыми старческими глазами за приливом и отливом, за прибывающими и удаляющимися судами, припоминая минувшее время, когда он сам плавал на корабле.

Добраться до его лачужки можно было, только спустившись в Преисподнюю, куда и направились наши три молодца. Они часто ходили туда днем за змеями, но сегодня в первый раз отважились идти вечером, считая такое путешествие — и не без основания — весьма рискованным.

Преисподняя представляла собой не что иное, как тесный квартал городской бедноты, в котором ютилось самое пестрое разноплеменное население, пробавлявшееся чем попало и копошившееся в непроходимой грязи и нищете. Было еще не поздно, когда мальчики пробирались через этот квартал к своему поставщику-инвалиду. С ними не приключилось никаких неприятностей, и они шли, не обращая внимания на вызывающие позы и отпускаемые по их адресу насмешливые словечки попадавшихся навстречу уличных мальчишек.

Отставной моряк делал такие змеи, которые не только превосходно летали, но вдобавок были складными и их было весьма удобно носить с собой.

Мальчики накупили целую кучу этих складных змеев. Каждый из них завернул свою покупку отдельно. Затем свертки были крепко стянуты бечевками. Взяв их под мышку, они тронулись в обратный путь.

— Берегитесь здешних ребят, — посоветовал им старый матрос на прощание, — смотрите в оба; их у нас тут немало под вечер шатается по улицам.

— Мы не робкого десятка! — ответил Чарли. — Коли надо, постоим за себя.

Привыкшие к просторным и тихим улицам высокой части города, путники наши были оглушены и смущены гвалтом этого тесного и смрадного человеческого муравейника. Им казалось, что они пробираются через какие-то чудовищные густые заросли. Они шли все рядом, плечо к плечу, в лабиринте узких закоулков, как бы защищая друг друга и сторонясь этой чуждой им, дикой среды. То и дело они натывались на детей, которые шныряли повсюду и попадались им под ноги. Простоволосые, нечесанные женщины перекликались между собой, сидя на своих крыльчках, или сновали взад и вперед с тощими узелками покупок. Воздух был насыщен запахом рыбы и гнилых овощей. Дюжие ребята нахально поглядывали на тщедушных, оборванных девочек, разносивших кружки пенистого пива. Со всех сторон раздавались трескотня на всевозможных наречиях, резкие выкрики, брань. Квартал гудел, как огромный человеческий улей, каковым он и был в действительности.

— Ух! Хорошо бы выбраться поскорее отсюда, — заметил Фред.

Он произнес это шепотом, а Джо и Чарли только кивнули в ответ. Им было не до разговоров, и они, насколько позволяла толпа, прибавляли шагу, испытывая состояние, знакомое путешественникам, заблудившимся в опасных и диких местах.

И на самом деле все кругом дышало враждебностью. Повидимому, обитателей этого квартала раздражало присутствие опрятных мальчиков из аристократической части города. Их то и дело задирали маленькие ребяташки, скалившие зубы с напускным нахальством и готовые обратиться в бегство при малейшем намеке на угрожающую потасовку. А другие мальчуганы шли за ними шумной свитой, становясь смелее по мере того, как число их увеличивалось.

— Не связывайтесь, пожалуйста, с ними, — уговаривал товарищей Джо. — Не обращайтесь на них никакого внимания. Мы скоро выберемся отсюда.

— Как бы не так, — глухо промолвил Фред. — Поглядика сюда — мы попались.

На перекрестке, к которому они подходили, стояло четыре или пять подростков одинакового с ними возраста. На группу падал свет от уличного фонаря. У одного мальчика из-под шапки выбивались кирпично-красные кудри. Очевидно, это был Симпсон Красный, атаман прославленной шайки, неоднократно уже врывавшейся к ним на Гору и наводившей панику на юных джентльменов, которые моментально рассыпались по домам, а перепуганные папаши и мамы бросались к телефонам звонить в полицию.

При виде этой компании ребятишки, гнавшиеся за Горцами по пятам, задали стрекача — обстоятельство мало успокоительное само по себе, — но наши друзья продолжали храбро идти вперед.

Ярко-рыжий мальчуган отделился от своих и загородил чужеземцам дорогу.

Тогда они попробовали обойти его, но он расставил обе руки.

— Чего вы тут шляетесь? — буркнул он. — Какого черта вас сюда занесло?

— Мы идем домой, — спокойно ответил Фред.

Красный метнул глазами на Джо.

— Эй, что у тебя там под мышкой?

Джо крепился и молчал.

— Идем! — дернул он за руку Фреда, стараясь протиснуться вперед.

Но Красный неожиданно ударил Джо кулаком по лицу и выдернул сверток со змеями.

Джо, стиснув зубы, ринулся на обидчика, забыв всякую осторожность.

Предводитель шайки никак не ожидал, что его атакуют на его собственной территории. Он отступил, опасаясь всту-

пать в рукопашную: того гляди — упустишь добычу. А потом он предпочел улизнуть в боковой переулок.

Джо сознавал, что находится в самом сердце вражеского стана, но чувство собственности и оскорбленного достоинства толкнуло его броситься в погоню по горячему следу.

Фред и Чарли побежали за Джо, который значительно опередил их, а за ними увязались остальные три члена шайки, издавая на ходу призывные свистки, очевидно, служившие сигналом для сбора всех. Во время этой погони со всех сторон доносились ответные свистки, и все ближе замелькали темные фигурки, настигающие Фреда и Чарли, напрягавших все силы, чтобы не отставать от своего ретивого товарища.

Красный Симпсон подался в сторону пустыря, рассчитывая на кое-какие лазейки, сбивающие с толку того, кто незнаком с местностью: на спасительные дыры в заборах и стенах, навесы, низкие крыши, проходные дворы и темные закоулки.

Но Джо ухитрился догнать Красного вовремя. Они сцепились и оба рухнули в грязь. Когда Фред, Чарли и мчавшаяся за ними банда добежали до этого места, противники уже стояли на ногах друг против друга, готовые к борьбе.

— Чего тебе надо? — рычал Красный. — Чего тебе надо, хотел бы я знать, а?

— Отдай мой сверток! — ответил Джо.

Но Симпсон и сам был большим любителем змеев. Это видно было по его глазам.

— В таком случае — кто кого одолеет, — объявил он.

— Почему это: кто кого одолеет? — негодовал Джо. — Они мои, и больше ничего. — Он не способен был оценить по достоинству тех воззрений на право собственности, которые усвоило местное население. Банда ребят, волчьей стаей столпившаяся позади своего вожака, завывала и замыкала хором.

— Почему это я должен их отвоевывать? — повторил Джо.

— Потому что я так хочу, — отвечал Симпсон. — А что я хочу, то и делаю. Понял?

Но Джо не понял, он отказывался понимать, каким образом воля Красного Симпсона могла быть законом в городе Сан-Франциско или в какой-либо отдельной части этого города. Чувство чести и порядочности было в нем сильно задето, и его охватил боевой задор.

— Ты мне сейчас же отдашь этот сверток, слышишь! — грозно скомандовал он, протягивая руку за свертком. Но Симпсон отдернул сверток назад.

— Да ты знаешь ли, кто я такой? — спросил он. — Я — Симпсон Красный и никаких приказаний не терплю.

— Брось его, черт с ним, — шепнул Чарли на ухо своему другу. — Чего там горячиться из-за нескольких штук. Плюнь на это дело. Уйдем отсюда.

— Эти змеи — мои, — протянул с расстановкой Джо. — Эти змеи мои, и я намерен получить их обратно.

— Но нельзя же тебе драться со всей этой сворой, — вмешался Фред, — и если даже ты его одолеешь, то они все накинутся на нас.

Наблюдавшая за этими переговорами банда истолковала их по-своему в том смысле, что Джо испугался, и запела снова на все голоса.

— Струсил, трусил! — завизжали и завопили эти сорванцы. — Он нос задрал, он воспитанный! Как бы не изорвать костюмчик! Что скажет тогда мамаша?

— Замолчите! — скомандовал предводитель, и шайка перестала орать.

— Ты отдашь мне этот сверток? — решительно спросил Джо, выступая вперед.

— А ты соглашаешься биться? — ответил Симпсон вопросом на вопрос.

— Я согласен, — ответил Джо.

— Бой! Бой! — загалдела толпа.

— А я буду судьей, — пробасил кто-то сзади, — извольте драться честно, по правилам!

Все оглянулись на человека, который незаметно подошел и выступил со своим заявлением.

На углу горел высокий электрический фонарь, и лучи этого фонаря достигали сборища. При свете его они разглядели здорового, мускулистого парня в рабочей блузе. Обут он был в тяжелые сапоги. Узкий черный ремень стягивал шаровары, заменяя подтяжки, на затылке кое-как держалась черная засаленная фуражка. Лицо его было запачкано копотью, а из раскрытого ворота рубашки выступала толстая шея и здоровенная волосатая грудь.

— А кто вы такой? — проворчал Симпсон, недовольный посторонним вмешательством.

— Не твое дело! — отрезал хмурый пришелец. — А впрочем, если хотите знать, я — кочегар с китайского парохода и повторяю вам еще раз, что буду вашим судьей и буду следить за порядком. Это дело мое. А ваше дело — драться, и притом — честно. Ну, начинайте и не вздумайте провозиться тут до утра.

Появление кочегара ободрило трех друзей, но Симпсону и его компании пришлось не по сердцу.

После непродолжительного совещания Симпсон отдал сверток одному из своих товарищей и выступил вперед.

— Подходи, — крикнул он, сбрасывая куртку.

Джо передал Фреду свою и подскочил к Красному. Оба подняли кулаки и стали в позицию. Симпсон первый нанес смелый удар и ловким движением уклонился от ответного. Джо сразу же оценил искусство противника, но это обстоятельство только еще больше раззадорило его и пробудило в нем решимость во что бы то ни стало добиться победы.

Благодаря присутствию кочегара компания ограничивалась одними только подбадривающими возгласами по адресу Красного и насмешками в адрес Джо. Боксеры крутились, нападали, отскакивали и поочередно наносили друг другу жестокие удары. Их позы резко отличались одна от другой. Джо стоял прямо, высоко подняв голову и твердо упираясь в землю широко расставленными ногами. Симпсон скорчился так, что голова его почти вся ушла в плечи.

Он вертелся волчком, скакал, прыгал и пускал в ход множество неожиданных трюков, изумлявших Джо.

Схватка продолжалась с четверть часа. Оба запыхались, но Джо устал меньше и был свежее Симпсона. На Симпсоне сказывалось, очевидно, вредное влияние курения табака, плохого питания, нездоровых условий жизни: он дышал тяжело и прерывисто. Хотя вначале, благодаря своему искусству, он сумел порядочно отдубасить Джо, под конец он завял, и удары его стали заметно слабее. С отчаяния он пустился на такие хитрости, которые нельзя было назвать бесчестными, но в то же время нельзя было назвать и похвальными. Он наносил быстрый удар и тут же валился в ноги противнику. Джо не мог бить лежащего и должен был отходить. А тот вскакивал на ноги и опять проделывал то же самое.

Но Джо, которому надоела эта уловка, догадался, как с ней справиться. Нацелившись хорошенько, он ухитрился вклепить тумака в тот самый момент, когда Красный падал. Симпсон упал, но на этот раз уже не туда, куда метил, а в сторону, подчиняясь направлению отвешенного ему кулаком по голове удара. Он перевернулся и попробовал встать, но ему удалось подняться лишь наполовину; он застонал, еле дыша.

Товарищи стали его подбадривать, и он еще раза два попробовал встать, но почувствовал, что не может продолжать борьбу. Он был оглушен и измучен.

— Сдаюсь, — прохрипел он. — Побит.

Банда присмирела, подавленная поражением своего вожака.

Джо выступил вперед.

— Потрудитесь отдать мне эту вещь, — сказал он, обращаясь к мальчугану, державшему сверток.

— Как бы не так! — ввязался другой представитель банды, загораживая от Джо его собственность. У него были тоже ярко-красные волосы.

— Сначала тебе придется поколотить еще и меня.

— Не вижу никакой надобности, — резко сказал Джо. — Победа за мной, значит, дело кончено.

— Ну нет, не кончено. Я — Симпсон Бурый, родной брат Красного. Понимаешь?

Джо обогатился все новыми сведениями по части обычаев обитателей Преисподней.

— Ладно, становись, — произнес он решительно, выведенный из терпения вопиющей несправедливостью этих странных обычаев.

Бурый, бывший на год моложе брата, оказался коварным противником, и благодушному кочегару, стоявшему на страже «правил», понадобилось не раз вмешаться, пока наконец и второй отпрыск из рода Симпсонов не растянулся на поле битвы и не признал себя побежденным.

На этот раз Джо протянул руку за змеями в полной уверенности, что он их получит. Не тут-то было. Между ним и его собственностью вырос новый и опять-таки рыжий противник. Нетрудно было догадаться, что и этот мальчуган принадлежит к прославленному роду Симпсонов. Он был как бы последним изданием старших братьев, отличаясь от них несколько более жидким телосложением. Лицо у него было покрыто веснушками, очень заметными при электрическом свете.

— Ты не получишь своих змеев, покуда не считаешься со мной, — пропищал он тоненьким голоском. — Я — Симпсон Рыжий, и ты не можешь считать себя победителем нашей фамилии, пока не одолеешь еще и меня.

Банда пришла в дикий восторг, и Рыжий стащил с себя рваный пиджачишко, готовясь к бою.

— Готовься! — крикнул он, обращаясь к Джо.

У Джо болели все суставы, из носу капала кровь, раскременная губа вздулась, рубашка была растерзана. Вдобавок он страшно устал и тяжело переводил дыхание.

— Сколько вас там еще, Симпсонов? — спросил он. — Мне пора домой, а если у вас в семье еще столько же народу, то с вами не покончишь и за ночь.

— Я самый последний и самый лучший, — ответил Рыжий. — Побьешь меня — получишь змеев. Дело верное.

Хотя младшему представителю рода не доставало силы и сноровки старших братьев, но зато у него были ухватки дикой кошки, от которых Джо приходилось солоно. Порой ему казалось, что он не выдержит, не устоит перед порывами этого крошечного, но буйного вихря; все же он не поддавался и крепился изо всех сил. Его вдохновляла мысль, что он бьется за принцип, подобно предкам своим, которые тоже боролись за идею. Ему казалось, что на карту поставлена честь Горы и что он, как представитель Горы, должен грудью постоять за эту честь.

И он продолжал держаться и противился молниеносным налетам шустро, но неопытного мальчишки до тех пор, пока этот последний Симпсон не выдохся окончательно от своих собственных нерасчетливых движений и, опрокинутый на землю, не признал, что фамилия Симпсонов впервые потерпела постыдное поражение.

ГЛАВА IV

КОСА НА КАМЕНЬ

Но трем нашим Горцам вскоре пришлось убедиться, что все в этом квартале отличается крайней ненадежностью.

Не успел еще Джо завладеть своими змеями, как вдруг его изумленным взорам представилась неожиданная картина: все его враги, с кочегаром во главе, ударились в дикое бегство.

Так же, как детвора исчезла мгновенно при появлении банды Симпсона, так и эта исчезла в свою очередь при появлении какой-то новой, наводящей ужас, предательской шайки. Остолбеневший Джо услышал отчаянные крики беглецов: «Рыбаки! Рыбаки!» Он и сам не прочь был укрыться куда-нибудь подальше, но так устал от последней схватки, что не мог двинуться с места. Фреда и Чарли сильно подмы-

вало улизнуть от новой напасти, испугавшей даже таких сорванцов, как бандиты Симпсона, а вместе с ними и достойного судью-кочегара, но им нельзя было покинуть товарища. На пустыре засновали какие-то темные силуэты: одни из них обступили наших мальчиков, а другие бросились в погоню за беглецами. Раздирающие вопли красноречиво свидетельствовали о том, что многие были настигнуты. Когда преследователи вернулись, они волокли за собой огрызавшегося злополучного Симпсона Красного, не выпускавшего из рук свертка со змеями.

Джо с любопытством поглядывал на этих новых мародеров. Все это были молодые люди в возрасте от семнадцати до двадцати трех лет. Некоторые лица выражали такую степень порочности, что при виде их мороз подирал по коже.

Двое из этих молодцов крепко схватили за руки Джо. Фред и Чарли тоже очутились в плену.

— Эй, вы! — рявкнул властным голосом старшина этой партии. — Мы тут разберем вас по-своему. В чем дело? Ты, красная рожа, отвечай! Что вы тут делали?

— Я ничего не делал, — плаксиво простонал Симпсон.

— На то похоже! — Старшина повернул голову Красного на свет фонаря. — Кто это тебя так размалевал? — спросил он.

Красный кивнул на Джо, которого тотчас вытолкнули вперед.

— Из-за чего вы тут сцепились?

— Из-за змеев, моих собственных змеев, — смело отчеканил Джо. — Этот малый хотел их у меня отнять. Он и теперь их все еще держит под мышкой.

— Ага, он их сцапал? Смотри сюда, ты, краснорожий, у нас здесь не полагается воровать! У тебя никогда не было ничего своего. Выкладывай сверток. Живо!

Старшина угрожающе стиснул кулак. Симпсон заревел белугой, но выпустил наконец добычу.

— Что ты там прячешь? — спросил старшина, внезапно оборачиваясь к Фреду и вырывая у него из рук сверток. — Еще змеи, а? Целая ходячая фабрика вышла прогулять-

ся, — заметил он в заключение, отбирая последний сверток у Чарли; затем, приосанившись, протянул тоном беспристрастного судьи, собирающегося вынести приговор: — Теперь нам предстоит решить, какому наказанию надлежит подвергнуть этих трех молодцов.

— За что же это? — вспыхнул Джо. — За то, что нас ограбили?

— Нет, не за это, совсем не за это, — вежливо возразил председатель суда, — а за то, что вы тут таскаетесь с вашими игрушками, смущаете народ и учиняете скандалы. Это непозволительное бесчинство, это вещь непростительная, да, да, непростительная.

Воспользовавшись минутой, когда всеобщее внимание было всецело направлено в сторону подсудимых, Красный мигом вывернулся из своего пиджака, оставив его в руках стражей, вильнул в сторону и стрелой бросился бежать через пустырь к той самой лазейке, в которую он метил нырнуть, когда его ловил Джо. Два-три человека махнули за ним через забор и пустились во всю мочь догонять его.

На задворках яростно залаяли и завыли собаки, каблучки застучали по ящикам и навесам. Потом послышался шумный всплеск — как будто опрокинулась целая бочка с водой. Спустя немного Рыбаки, побежавшие за Красным, вернулись мокрые и пристыженные.

Они попали под холодный душ, которым их предательски угостил коварный мальчишка, — теперь он вызывающе кричал откуда-то сверху, вероятно, с крыши.

Это курьезное происшествие, видимо, смутило начальника банды Рыбаков, и как раз в ту минуту, когда он обратился опять к Джо, Чарли и Фреду, с улицы донесся особый протяжный свист, очевидно, сигнал к отступлению, поданный караулившим парнем. Тотчас вслед за этим сигналом примчался и сам этот парень.

— Быки!¹ — крикнул он, еле переводя дух.

¹ Быки — простонародная кличка полисменов.

Джо оглянулся, увидел двух приближавшихся полисменов в касках, с карманными электрическими фонарями на груди и шепнул своим товарищам:

— Удирайте!

Но шайка, уже обратившаяся в бегство, загоразивала им дорогу впереди, а полиция наступала сзади. Поэтому им пришлось броситься в сторону лазейки Красного Симпсона. Полисмены побежали за ними.

Молодые ноги отличаются резвостью, особенно когда их подгоняет страх, и потому наши мальчики успели перескочить через забор и очутились в какой-то трущобе, среди задворок и закоулков, где сам черт ногу сломит. Полисмены же оказались людьми осмотрительными. Очевидно, они были достаточно осведомлены насчет лазеек подобного рода и благоразумно прекратили погоню, как только наткнулись на первый забор.

Здесь уже не было никаких фонарей, и мальчики бежали впотьмах, слыша, как колотится у них в груди сердце.

На каком-то дворе, сплошь заваленном коробками и пустыми ящиками, они беспомощно бродили с четверть часа. Трудно было найти выход из этого лабиринта! Куда ни повернись, всюду натыкаешься на бесконечные груды ящиков. Чтобы выбраться из этой западни, пришлось вскарабкаться на крышу сарая, но оттуда они опять попали на какой-то двор, заставленный пустыми клетками для кур.

Потом они наткнулись на тот самый бочонок, из которого Симпсон Красный окатил водой гнавшихся за ним Рыбаков. Прибор отличался простым, но удивительно остроумным устройством. Возле того самого места, куда вела лазейка, прилажен был длинный рычаг, с таким расчетом, что трудно было его не зацепить, когда пролезаешь через отверстие, образованное выломанной доской забора; этот рычаг был пружиной ловушки. Чуть задетый, он сдвигал с места огромный булыжник, служивший опорой балансирующему наверху бочонку, бочонок наклонялся и выливал все свое содержимое на голову тех недалёковидных прохо-

жих, которые почему-либо очутились поблизости задетого рычага.

Мальчики заинтересовались этим прибором и оценили его по достоинству. К счастью для них, бочонок был уже пуст, иначе им пришлось бы испытать на себе его действие, так как шедший впереди Джо задел за рычаг.

— А ведь это, пожалуй, Симпсонов двор? — сказал Джо потихоньку.

— Конечно, его, — решил Фред, — или кого-нибудь из той же компании.

Чарль схватил их обоих за руки.

— Тише! Что там такое? — прошептал он.

Они съежились и присели на корточки. Слышно было, как кто-то подходит. Потом зашипела вода, напоминая шум вырывающейся из крана струи.

Еще раз застучали шаги, темная фигура прошла мимо них и полезла на ящик, а с ящика перебралась на верхушку забора. Это был сам Симпсон Красный, заряжавший свой прибор. Мальчики явственно слышали, как он устанавливал рычаг и булыжник, как он поставил опять бочонок на дно и вылил в него два ведра воды. Когда он спрыгнул вниз с ящика и пошел опять за водой, Джо подскочил к нему, повалил и придавил его к земле.

— Не вздумай орать! — проговорил он. — Говори шепотом.

— А, это ты? — сказал Красный с облегчением. Мирнолюбивое настроение, прозвучавшее в этой фразе, ободрило наших мальчиков. — Что вы тут делаете?

— Мы ищем выход, — сказал Джо, — и хотим отсюда выбраться как можно скорее. Нас трое, а ты один.

— Ладно, ладно, — перебил начальник банды. — Я вам охотно покажу дорогу и проведу самым близким путем. Я против вас решительно ничего не имею. Ступайте за мной, и я вас мигом выведу.

Не прошло и двух минут, как они уже соскочили с высокого забора и попали на какую-то темную, глухую тропинку.

— Идите по ней прямо, дойдете до улицы, — сказал Симпсон, — а там поверните направо; пройдя два переулка, свернете опять направо и, пройдя еще три квартала, попадете на Юнион-стрит. Тра-ла-ла!..

Мальчики распрощались со своим проводником и двинулись вперед. Вдогонку они получили совет:

— В другой раз, когда пойдете сюда со змеями, лучше оставьте их у себя дома.

ГЛАВА V

ОПЯТЬ ДОМА

Следуя указаниям Красного Симпсона, они вышли на Юнион-стрит и без дальнейших злоключений добрались до своей Горы. Оттуда они еще раз взглянули вниз: до них доносился непрерывный смешанный гул густонаселенного места.

— Я никогда больше туда не пойду, никогда в жизни, — сурово вымолвил Фред. — А интересно было бы знать, куда же девался кочегар?

— Хорошо еще, что мы унесли оттуда целыми свои шкуры, — философски-успокоительно заметил Джо.

— Ну, частичку мы оставили там, а особенно ты, — улыбнулся Чарли.

— Что верно, то верно, — согласился Джо. — Однако дома меня ждут неприятности посерьезнее. Покойной ночи, друзья!

Он ожидал, что боковая дверь будет заперта. Так оно и оказалось. Он обошел кругом и влез через окно в столовую.

Проходя на цыпочках через обширный зал по направлению к лестнице, он вдруг столкнулся с отцом, который выходил из библиотеки. Оба были необычайно поражены этой встречей и остановились как вкопанные.

Джо чуть не поддался истерическому приступу смеха, вообразив ту картину, которую наблюдает в данную минуту его отец.

Но вид у него в действительности был еще хуже, чем рисовало его воображение. Мистер Бронсон видел перед собой мальчика, всего покрытого грязью, с багрово-синими подтеками на лице, с распухшим носом, с огромной шишкой на лбу, с рассеченной и вздувшейся губой, с исцарапанными щеками и в разорванной по пояс рубашке.

— Что это значит, сэр? — с трудом выговорил, наконец, мистер Бронсон.

Джо молчал. Ну как уложить в короткий ответ всю длинную вереницу ночных приключений? Их пришлось бы перечислить все до одного по порядку, чтобы объяснить жалкое состояние, в котором он теперь находился.

— Ты что, проглотил язык? — с оттенком нетерпения спросил мистер Бронсон.

— Я... я...

— Ну что же? Продолжай! — ободрял его отец.

— Я... я был внизу... в Преисподней...

— Признаюсь, этому легко можно поверить — да, да, в самом деле, я вижу, что твое показание заслуживает полного доверия. — Мистер Бронсон употреблял строгие интонации, но ему стоило величайшего труда удержаться на этот раз от улыбки.

— Полагаю, что ты сумеешь под этим названием не обычное местопребывание грешников, а скорее какую-либо определенную часть города Сан-Франциско. Не так ли?

Джо сделал движение рукою сверху вниз в направлении Юнион-стрит и сказал:

— Там внизу, сэр, на Юнион-стрит.

— А кто ее окрестил так?

— Я, — ответил Джо таким тоном, как будто признавался в тяжком преступлении.

— Очень метко, доказывает, что у тебя развито воображение. Трудно, в самом деле, придумать что-нибудь лучше. Верно, в школе у тебя хорошо с английским?

Эта похвала не доставила Джо особенного удовольствия, так как английский язык был единственным учебным предметом, за который ему не приходилось краснеть.

А в то время как он стоял олицетворением безмолвного несчастья, мистер Бронсон смотрел на него сквозь призму собственного детства с такой любовью и пониманием, о которых Джо и не подозревал.

— Однако сейчас тебе не до разговоров. Тебе нужна ванна, примочки, пластырь и холодные компрессы, — сказал мистер Бронсон. — Ступай к себе в спальню. Тебе нужно выспаться хорошенько. Имей в виду, что завтра у тебя страшно будет болеть все тело.

Часы пробили час ночи, когда Джо натянул на себя одеяло. И как ему показалось, в ту же минуту он услышал какое-то слабое, но настойчивое, бесконечное постукивание. Выведенный из терпения надоедливым стуком, он открыл, наконец, глаза и приподнялся.

В окно врвался потоками свет солнечного утра. Джо потянулся, собираясь зевнуть, но внезапно почувствовал острую боль во всех мускулах, и его руки упали вниз гораздо скорее, чем они поднимались кверху. Он вскрикнул от боли, посмотрел на руки с тупым удивлением и тут же вспомнил происшествя вчерашней ночи.

Постукивание возобновилось.

— Слышу, слышу! Который час?

— Десятый, — донесся из-за двери голосок Бесси. — Десятый час, одевайся скорее, если не хочешь опоздать в школу.

— Бог мой! — Он спрыгнул с постели и, застонав от отчаянной боли во всем теле, медленно и осторожно присел на стул. — Почему же ты не разбудила меня раньше? — спросил он.

— Папа велел дать тебе поспать.

Джо поморщился. Потом его взгляд упал на учебник истории. Тут он уже застонал по-иному.

— Хорошо, — крикнул он. — Иди! Я сейчас спущусь. — И, действительно, через несколько минут он уже спускался вниз по лестнице, но с такими предосторожностями и гримасами, которые сильно озадачили бы Бесси, если бы она их увидела. Встреча их произошла в столовой. Увидев Джо, Бесси испустила крик ужаса и подбежала к нему.

— Что с тобой, Джо? — спросила она дрожащим голосом. — Что случилось?

— Ничего особенного, — процедил Джо сквозь зубы, посыпая сахаром кашу.

— Как ничего?.. — начала было Бесси.

— Отстань, пожалуйста, — оборвал он ее. — Я опоздал, и мне надо поскорее позавтракать.

Миссис Бронсон в эту минуту поймала взгляд дочери, и Бесси сразу послушно вышла из комнаты, крайне заинтересованная всем этим.

Джо обрадовался, что мать выслала сестру и сама воздерживалась от вопросов. Отец, наверное, предупредил ее вчера обо всем.

Джо знал по опыту, что мать оставит его в покое, и был ей очень благодарен за это.

Ему было неловко. Он спешил скорее покончить со своим одиноким завтраком, чувствуя, что мать как-то тревожно ухаживает за ним.

Она всегда относилась к нему с нежной лаской, но на этот раз он отметил, что она поцеловала его с каким-то особенным чувством, когда он выходил из дому, размахивая книгами на ремне. Он заметил, уже заворачивая за угол, что она все еще смотрит ему вслед из окна.

Впрочем, Джо больше всего был занят своими собственными болевыми ощущениями. Каждый шаг ему обходился дорого. Он страдал и от ран, и от яркого блеска отражаемых асфальтом солнечных лучей, резавших подбитые глаза, и от боли в суставах и мускулах. Он никогда не думал, что муску-

лы могли бы одеревенеть до такой степени. Решительно каждый отдельно взятый мускул отказывался работать. Пальцы распухли так, что двигать ими было почти невозможно; руки — от кисти до локтя — ужасно ныли. Вероятно, оттого, думал Джо про себя, что вчера пришлось, загораживая лицо и тело от ударов, подставлять под них локти. Интересно бы знать, как себя чувствует теперь Симпсон Красный, — последняя мысль сопровождалась чувством некоторой товарищеской симпатии к этому сорванцу, испытывавшему в это время, по всей вероятности, аналогичные ощущения.

На школьном дворе все взоры обратились в сторону Джо. Мальчики толпились вокруг него как-то особенно почтительно; даже сверстники и друзья выказывали ему подчеркнутое уважение, которого он раньше никогда не замечал.

ГЛАВА VI

ЭКЗАМЕНЫ

Ясно было, что Фред и Чарли уже успели распустить слух о ночных похождениях в Преисподней, о сражении с представителями рода Симпсона и о столкновении с бандой Рыбаков. Джо почувствовал немалое облегчение, когда в десять часов раздался звонок, возвещавший начало занятий. Он вошел в класс, сопровождаемый восхищенными взглядами школьников. Джо заметил, что девочки тоже смотрели на него, но с таким оттенком робости и страха, как будто видели перед собой самого Даниила, выходящего из Львиной пещеры, или Давида после его единоборства с Голиафом.

Положение героя очень стесняло Джо, и он был бы рад, если бы девочки отводили от него глаза, хотя бы ради разнообразия.

Не успел он это подумать, как всеобщее внимание уже обратилось в другую сторону.

Ученикам раздали бумагу, и учительница мисс Вильсон, степенная молодая особа, очевидно, представлявшая земной шар чем-то вроде огромного холодильника и потому вечно кутавшаяся в шерстяной платок и накидку, из которых не вылезала даже в самые жаркие дни, — мисс Вильсон сошла с кафедры и начертала на классной доске очень явственно, так, чтобы было видно всем, римскую цифру I.

Все глаза, а их насчитывалось в классе ровно пятьдесят пар, жадно впились в ее руку, терпеливо выжидая, что за этим последует, и в классе воцарилась мертвая тишина.

Внизу под римской цифрой I она написала: а) В чем состояли законы Дракона? б) Почему один из афинских ораторов выразился о них, что они были написаны «не чернилами, а кровью»?

Сорок девять голов наклонились к столам, и сорок девять перьев заскрипели по бумаге.

Один только Джо продолжал держать голову прямо; глаза его смотрели на доску столь безучастно, что зябкая мисс, оглянувшаяся через плечо, после того как руки ее медленно вывели следующую цифру, II, остановилась на мгновение и пристально воззрелась на него. Затем написала: а) Каким образом война между Афинами и Мегарой из-за острова Саламина вызвала законодательство Солона? б) Чем отличались законы Солона от законов Дракона?

Она снова оглянулась на Джо.

Он смотрел все так же тупо.

— В чем дело, Джо? — спросила она. — У вас нет бумаги?

— Нет, благодарю вас, есть, — ответил он и усердно принялся чинить карандаш. Он очинил его превосходно. Потом отточил острие. Не удовольствовавшись этим, он принялся с неистощимым терпением отделявать самый кончик острия и добился того, что сделал его еще тоньше. Звук перочинного ножика, скоблившего графит, развлекал пишущих и заставлял их озираться с недоумением. Джо этого не замечал. Возня с карандашом, казалось, поглощала все его

внимание, а мысли отстояли одинаково далеко и от карандаша, и от древней истории.

— Без сомнения, всем вам известно, что экзаменационные работы пишутся чернилами. — Мисс Вильсон обращалась ко всему классу, но смотрела на одного Джо.

Отточенный на диво кончик карандаша, к сожалению, сломался, и Джо принялся за прежнее свое занятие.

— Я боюсь, Джо, что вы мешаєте товарищам, — воскликнула мисс Вильсон, выведенная, наконец, из терпения.

Он оставил карандаш, спрятал перочинный ножик и снова устался на доску. Что же он может сказать о Драконе, Солоне и всех этих греках? Он уверен, что провалится, вот и все. Незачем ему и читать остальные вопросы. Не стоит писать, даже если бы он и мог что-нибудь ответить на некоторые из них. Все равно провал неизбежен.

Кроме того, и писать-то больно. И смотреть на доску больно, и закрыть глаза больно, и даже думать больно.

Сорок девять перьев продолжали неумолчно скрипеть, торопясь поспеть за мисс Вильсон, которая испешряла доску все новыми и новыми вопросами, а он, Джо, слушал этот скрип и следил за вырвавшимися на доске строками, чувствуя себя глубоко несчастным. Голова у него болела и внутри, и снаружи, и он потерял всякую власть над своими мыслями.

Воспоминания о вчерашней ночи назойливо преследовали, точно чудовищный кошмар. Он старался смотреть на мисс Вильсон, которая теперь уселась на кафедру, старался думать о том, что она говорит, но учительницу заслонял носившийся в воображении образ задорного Рыжего Симпсона.

Ничего не поделаешь, приходится терпеть. Он чувствовал себя больным, разбитым и никуда не годным. Провал неминуем. И когда наконец после долгого томительного ожидания листы были собраны, то его лист попал в кучу совершенно чистый; на нем были написаны только его фамилия, название предмета и дата.

После короткого перерыва были собраны новые листы бумаги, и начался экзамен по арифметике. Джо не удосужился даже прочесть задачу.

При нормальных обстоятельствах он, пожалуй, справился бы с этой задачей, но сегодня об этом нечего было и думать. Он положил голову на руки и стал дожидаться следующего звонка. Взглянув на часы, он встретился глазами с Бесси, которая испуганно смотрела на него со своей скамейки. Ему стало досадно. И что это она взялась надоедать ему? Чего она беспокоится? Сама выдержит, конечно, — и довольно с нее. Он сердито взглянул на сестру и закрыл лицо руками. В это время раздался полуденный звонок. Джо опять подал чистый лист бумаги и вышел из класса вместе с товарищами.

Фред, Чарли и Джо любили завтракать на воздухе в особом укромном уголке школьного двора. Но сегодня их любимое местечко почему-то понравилось очень многим, и там столпилась целая куча завтракающих школьников. Джо поглядывал на них кисло. Его настроение никак не соответствовало положению увенчанного героя. Его мучила мигрень и мысль о дальнейших экзаменах, которые должны были продолжаться и после полудня.

Ему не нравилось поведение Фреда и Чарли. Они трещали, как сороки, о своих ночных похождениях (выдвигая, впрочем, его роль на первый план) и как-то чересчур покровительственно обращались со своими восхищенными товарищами. Попытки заставить его самого разговориться не увенчались успехом. От вопросов он отделялся нечленораздельным мычанием или лаконичным ответом.

Ему хотелось уйти куда-нибудь подальше, остаться одному, повалиться на траву и позабыть обо всех невзгодах. Он попытался уединиться, но за ним увязалось человек пять или шесть. Ему хотелось сказать им, что он хочет побыть один. Но гордость не позволяла ему это сделать. Вдруг смелая мысль пронеслась у него в голове. Зачем ему оставаться сидеть здесь, когда он знает, что экзамена выдержать не сможет? Зачем подвергать себя лишней пытке?

Лучезарная мысль увлекла его, и он принял решение.

Он направился прямо к школьным воротам и вышел на улицу. Удивленные товарищи остановились, а он продолжал идти как ни в чем не бывало и скоро, повернув за угол, скрылся из виду. Он шел куда глаза глядят, пока не очутился на трамвайной остановке. Трамвай выпускал в эту минуту пассажиров. Джо забрался в него и сел у окна. Трамвай ехал за город. Джо не заметил, как доехали до конечной остановки, и очнулся только тогда, когда трамвай стал заворачивать по кругу назад. Он соскочил с площадки и увидел перед собой огромное здание паровой пристани. Значит, он проехал, ничего не слыша и ничего не замечая, через самый центр делового квартала Сан-Франциско. Джо взглянул на башенные часы пристани. Они показывали десять минут второго — еще можно попасть на пароход, отчаливавший в четверть второго. Это обстоятельство подтолкнуло его взять билет.

Без малейшего представления о том, что он будет делать дальше, Джо взял билет, заплатил за него десять центов, поднялся на палубу и через несколько минут уже плыл по заливу, направляясь в красивый город Окленд.

Часом позже он очутился неизвестно каким образом на Оклендской верфи. С того места, где он сидел, прислонившись воспаленной головой к какому-то столбу, ему видны были палубы нескольких небольших парусных судов.

Фланирующая публика останавливалась посмотреть на них, и вскоре они заинтересовали и Джо.

Их было четыре, и Джо со своего места мог разобрать их названия. На корме одного из них, стоявшего как раз перед ним, красовалась большими зелеными буквами надпись: «Привидение». Три других назывались «Каприз», «Королева устриц» и «Летучий Голландец».

На каждом судне была посредине каюта с печной трубой; из трубы «Привидения» поднимался дымок. Дверцы каюты «Привидения» стояли настежь открытые, и крыша ее была откинута, так что Джо мог разглядеть внутренность каюты

и хлопотавшего около печки молодого человека лет девятнадцати-двадцати, в высоких морских сапогах, синих штанах и темной шерстяной фуфайке. Засученные по локоть рукава открывали крепкие руки с бронзовым загаром; такого же цвета было и его лицо. Оттуда доносился и щекотал обоняние приятный запах кофе, смешанный с запахом вареных бобов.

Парень поставил на плиту сковородку с ломтиками сала и, когда эти ломтики зашипели, кинул на нее толстый кусок бифштекса. Во время работы этот здоровяк разговаривал со своим компаньоном, который черпал ведром соленую воду и поливал ею кучи сваленных на палубе устриц. Закрыв устрицы мокрыми мешками, его товарищ вошел в каюту, и они вместе сели за обед.

Это зрелище задевало струны романтической природы Джо. Вот это жизнь, эти люди действительно живут, свободно дышат на широком водном просторе, под открытым небом; солнце, ливень, ветер, бушующее море — их родная стихия.

А он, бедняга, томится вместе с полсотней таких же, как он, арестантов, ежедневно просиживая часами в школьной казарме, набивая голову всяким хламом! Эти люди живут счастливо и беззаботно, дышат полной грудью, гребут, управляют парусами, варят сами себе пищу и, наверное, переживают такие приключения, которые им, школьникам, и во сне не снятся...

Джо вздохнул. Он чувствовал себя созданным именно для такой вольной жизни, а не для школьной науки. Учение совершенно не по нем.

Экзамена он сдать не мог, тогда как Бесси, без сомнения, возвращается теперь домой торжествующая, выдержав экзамены, все до одного, самым блистательным образом.

О, какое невыносимое создалось положение! Отец ошибся, определив его в школу. Хорошо учиться тем, у кого есть охота к учению. Ясно, что у него нет ни малейшей

склонности к наукам. Разве нельзя сделать себе карьеру помимо школы? Сколько великих людей вышло из самых низких сословий! Простые матросы становились хозяевами целых флотилий, вершили большие дела и заносили свои имена на страницы истории. Почему бы и ему не сравняться с ними?

Джо закрыл глаза и почувствовал себя глубоко несчастным; когда же он раскрыл их вновь, то сообразил, что он спал и что солнце уже близко к закату.

Он вернулся домой, когда уже стемнело, и прошел прямо к себе в комнату, не встретив никого из домашних. Растянувшись между прохладными простынями, он облегченно вздохнул, утешая себя тем, что как-никак, а от истории он все же отделался.

Но затем мелькнула другая неприятная мысль, что теперь потянется длинное полугодие и что через шесть месяцев ему предстоит опять сдавать экзамен по истории.

ГЛАВА VII

ОТЕЦ И СЫН

На следующее утро, после завтрака, Джо позвали к отцу в библиотеку, и он почти обрадовался этому: должны же, наконец, проясниться сложившиеся обстоятельства. Мистер Бронсон стоял у окна и наблюдал стайку шумно чирикавших воробьев, слетавшихся в одно место. Джо тоже подошел к окну и увидел барахтавшегося на траве птенчика, который делал невероятные усилия встать на слабые ножки и каждый раз смешно опрокидывался навзничь. Он вывалился из гнезда, свитого в розовых кустах под окном, и оба родителя птенчика были ужасно встревожены.

— Вот какие бывают приткие птенчики, — заметил мистер Бронсон с серьезной улыбкой, обращаясь к сыну. — Смотри, как бы с тобой не случилось того же. Я боюсь, друг мой, что дела твои принимают плохой оборот и надвигается кризис. Я этого ожидал, наблюдая целый год за тем, как ты халатно относишься к учению и постоянно стараешься отлынивать от занятий в погоне за разными приключениями.

Он сделал паузу, как бы ожидая ответа, но Джо молчал.

— Я тебе предоставил полную свободу. Я сторонник свободного воспитания и верю в то, что только такое воспитание развивает лучшие душевные качества. А потому я и не донимал тебя нравоучениями и ни в чем не стеснял тебя. Я требовал от тебя немного, и ты мог распоряжаться своим временем как угодно. Словом, я положился вполне на твою добросовестность и самостоятельность, твердо веря, что здравый смысл удержит тебя от дурного поведения и заставит, по крайней мере, сносно учиться. Но я ошибся. Как же теперь нам быть? Неужели ты хочешь, чтобы я наложил на тебя какую-нибудь узду? Чтобы я стал контролировать твоё поведение? Чтобы я заставлял тебя заниматься насильно?

— Вот тут у меня лежит письмо, — продолжал мистер Бронсон после новой небольшой паузы. Он достал со стола конверт и вынул листик бумаги.

Джо узнал твердый, упрямый почерк учительницы мисс Вильсон, и у него екнуло сердце.

Отец начал читать:

«В течение последнего полугодия сын ваш отличался крайней небрежностью и непослушанием и потому на экзамене обнаружил полную неподготовленность. Он не мог ответить ни слова на заданные вопросы по истории и арифметике и сдал совершенно чистые листы. Экзамены по этим предметам происходили утром. На остальные, после полудня, он не удосужился даже явиться».

Мистер Бронсон остановился и посмотрел на сына.

— Где ты был после полудня? — спросил он.

— Я был в Окленде, — лаконично ответил Джо, не упомянув о том, что у него страшно болела голова и ломило все тело.

— То есть, что называется, свалял дурака, не так ли?

— Так, сэр, — ответил Джо.

— Накануне вечером, вместо того чтобы готовиться к экзаменам, ты счел за лучшее уйти из дому и затеять драку с какими-то хулиганами. Я не упрекнул тебя в то время ни словом. И собирался совсем выкинуть из головы это происшествие, если бы ты как следует выдержал экзамены.

Джо понимал, что ему решительно нечего на это ответить, но он чувствовал также и то, что отец неспособен его понять и что разговор этот ни к чему не приведет.

— Все дело портят твоя беспечность и неумение сосредоточиваться. Тебе недостает, я вижу, основательной дисциплины, которую я до сих пор не решался тебе навязывать. Но с некоторых пор я стал подумывать о том, не лучше ли отдать тебя в какое-нибудь военное учебное заведение со строгой дисциплиной и неукоснительным расписанием всех двадцати четырех часов в сутки.

— Ах, отец, ты не понимаешь меня и не можешь понять! — вырвалось наконец у Джо. — Я стараюсь учиться, я стараюсь изо всех сил, но почему-то — сам не знаю почему — у меня ничего не выходит. Может быть, я неудачник, или я совершенно неспособен к учению. Меня тянет на волю. Я хочу видеть жизнь... Военная школа не по мне, я бы лучше хотел уйти в море, где я мог бы что-нибудь делать и кем-нибудь быть.

Мистер Бронсон ласково посмотрел на сына и проговорил:

— Ты можешь надеяться что-нибудь сделать и кем-нибудь стать только посредством учения.

Джо безнадежно махнул рукой.

— Я сочувствую тебе и понимаю тебя, но ты еще мальчик и смахиваешь на того воробушка под окном, которого мы наблюдали. Если ты не в состоянии заставить себя зани-

маться уроками дома, то ты так же не сможешь выполнить и ту задачу, которую тебе поставит жизнь, когда ты выйдешь в свет. Но когда ты окончишь школу, я намерен отпустить тебя на некоторое время на все четыре стороны, до поступления в университет.

— Отпусти меня сейчас, — порывисто сказал Джо.

— Нет, погоди, теперь еще рано. Ты еще не оперился как следует. Твои взгляды и идеалы еще недостаточно сформировались и окрепли.

— Но я совершенно неспособен учиться.

Мистер Бронсон взглянул на часы и собрался уходить.

— Я еще подумаю о тебе. Не знаю, что лучше: сразу ли отдать тебя в военную академию или оставить еще на некоторое время в школе.

В дверях мистер Бронсон на минутку остановился и оглянулся на сына.

— Я не сержусь на тебя, Джо, помни это, — проговорил он. — Я только сильно огорчен и расстроен. Подумай как следует о том, что я тебе сейчас говорил, а вечером скажи мне, что ты думаешь предпринять.

Отец ушел. Джо услышал, как за ним захлопнулась выходная дверь.

Он сел в кресло и закрыл глаза. Военная академия! Он боялся подобных учреждений, как зверь западни! Что же касается школы... тут он глубоко вздохнул. Ему дали подумать до вечера. Но откладывать до вечера незачем. Он уже и теперь знает, что ему надо делать. Джо вскочил с кресла, надвинул на лоб фуражку и направился к выходу. Он докажет отцу, что сумеет выполнить свою жизненную задачу, думал он, уходя, да, он ему докажет. Пока он дошел до школы, план его уже созрел окончательно. Оставалось только привести его в исполнение. Была большая перемена, и он мог пробраться в класс и собрать свои книги, не обращая на себя ничьего внимания.

Проходя обратно через двор, он неожиданно наткнулся на Фреда и Чарли.

— В чем дело? — остановил его Чарли.

— Отстань! — буркнул Джо.

— Что ты делаешь?

— Несу книги домой, как видишь. А ты что думал?

— Ну, ну! — вмешался Фред. — Что за секреты, рассказывай, что с тобой приключилось! Почему ты не хочешь сказать?

— Вы это скоро узнаете! — многозначительно произнес Джо, — более многозначительно, чем хотел.

Он повернулся спиной к изумленным друзьям и поспешил уйти, боясь сказать лишнее. Придя в свою комнату, он стал приводить все в порядок. Снял с себя и старательно прибрал новый костюм, переделался в другой, похуже. Вынул из комода смену белья, достал две рубашки, полдюжины носков и носовых платков, гребень и зубную щетку.

Завернув все это в бумагу и туго затянув бечевкой, он полюбовался свертком. Потом подошел к письменному столу и вынул из потайного ящика свои сбережения за несколько месяцев, образовавшие сумму в несколько долларов. Он копил эти деньги к празднику 4 июля¹, но теперь опустил их в карман без малейшего сожаления и колебания.

После этого он уселся за стол, раскрыл бювар и написал следующее:

«Не ищите меня и, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Я неудачник и отправляюсь в морское плавание. За себя постоять сумею. Когда-нибудь я вернусь, и тогда все вы будете мною гордиться. Прощайте, папа, мама и Бесси.

Джо».

Он положил эту записочку на видное место, сунул сверток под мышку, окинул комнату прощальным взглядом и вышел.

¹ Национальный праздник Соединенных Штатов Америки в память объявления независимости тринадцати колоний 4 июля 1776 г. после войны с Великобританией.

ГЛАВА VIII

ФРИСКО-КИД И НОВИЧОК

Фриско-Кид чувствовал себя отвратительно; он испытывал сильное раздражение и недовольство. Мальчуганы, удившие рыбу на доке и поглядывавшие на него с нескрываемой завистью, никоим образом не могли бы заподозрить в нем подобное настроение. Правда, они были одеты лучше и чище, и родители баловали их, но зато он живет с моряками, на вольном просторе, жизнь его полна приключений, товарищи его — настоящие рабочие люди, а они, несчастные малыши, сидят в заточении по домам и томятся от скуки на школьной скамье. Юные рыболовы не замечали, что Фриско-Кид, в свою очередь, с не меньшей, если не с большей, завистью взирал на них из своего кокпита на «Ослепительном» и вздыхает как раз о тех самых условиях жизни, которые им казались несносными. Мир приключений манил их, как пение сладкогласной сирены, и навевал им смутные мечты о дальних странах и славных подвигах. А Фриско-Кид в это же самое время предавался упоительным грезам о тихом семейном очаге и мечтал о том, в чем судьба ему отказала, — о братьях, сестрах, о советах отца и нежных материнских объятиях.

Он сердито нахмурился, спустился с крыши каюты «Ослепительного», где лежал, лениво развалясь на солнечном припеке, и сбросил с себя тяжелые резиновые сапоги.

Потом он уселся на узенькой боковой палубе и опустил ноги в соленую воду.

Вот это называется — свобода, думали про себя наблюдавшие его мальчуганы. Их особенно пленяли эти огромные морские сапоги, которые доходили чуть не до бедер и пристегивались к поясу. Они не знали, что у Фриско-Киды не было своих собственных сапог и он носил старые сапоги Пит-ле-Мэра, которые ему были совсем не впору. Кроме

того, мальчики не могли представить, до чего мучительно было таскать на себе эту заманчивую обувь в жаркий летний день.

Хотя Фриско-Кид сердился на этих мальчишек, глазевших на него, как на чудо морское, недовольство его вызывалось другой причиной.

Экипаж «Ослепительного» был не в полном составе: нужен бы еще один человек, а то Киду приходилось работать за двоих. Он не прочь быть за повара, мыть посуду и качать воду, но он терпеть не может, когда его заставляют чистить кастрюли и мыть посуду. Он считал, что имеет право быть избавленным от подобной работы, с которой одинаково успешно может справиться всякий молокосос, а он умеет управлять парусами, сниматься с якоря, править рулем и приставать к берегу.

— Эй, берегись! — Пит-ле-Мэр, или Француз-Пит, капитан «Ослепительного», владыка и хозяин Фриско-Киды, швырнул сверху какой-то узелок в кокпит и спустился по фордунам правого борта.

— Сюда! Живей! — крикнул он мальчику, которому принадлежал узелок и который что-то замешкался. С того места, где стоял мальчик, и до палубы шлюпа было сверху вниз добрых футов пятнадцать, он не мог достать рукой до стального штага¹, по которому надо было спускаться на палубу.

— Ну же! Раз, два, три! — отсчитал Француз с добродушной улыбкой капитана, которому только что удалось завербовать недостававшего ему матроса.

Мальчик подался вперед всем своим корпусом и ухватился за штаг. Спустя минуту он уже стоял на палубе с обожженными от сильного трения ладонями.

— Кид, это наш новый матрос. Честь имею представить!

Капитан Француз-Пит осклабился, кивнул головой и затем отступил шага на два.

— Мистэ-эр Шо Бронсон, — добавил он в виде пояснения.

¹ Штаг — судовой канат от верха передней мачты до носа корабля.

Оба мальчика с минуту молча рассматривали друг друга. Они, очевидно, были сверстниками, но у новичка был более здоровый и бодрый вид.

Фриско-Кид подал ему руку.

— Так вы намерены пуститься в плавание? — спросил он.

Джо Бронсон кивнул головой и сказал, с любопытством посмотрев кругом:

— Да, я думаю, недельное плавание мне по плечу, а со временем, когда освоюсь с этим делом, уйду в море на баке.

— На чем?

— На баке — это то место, которое занимают матросы, — пояснил Джо застенчиво и краснея за свое, быть может, не совсем правильное произношение.

— О, на баке! Кое-что вы, видно, смыслите в морском деле?

— Да... нет... то есть знаю кое-что только из книг.

Фриско-Кид свистнул высокомерно, повернулся на каблуках и отправился в каюту.

«Уйдет в море, — посмеивался он про себя, разводя огонь и принимаясь готовить ужин, — да еще на баке — и воображает, что это очень приятно».

Тем временем Француз-Пит, притворяясь радушным хозяином, залучившим к себе почетного гостя, водил новичка по палубе и давал ему объяснения. Он расточал при этом столько любезностей, что Фриско-Кид, высунувшись из люка, чтобы позвать их к ужину, чуть не прыснул со смеху.

Джо Бронсон давно не ужинал с таким удовольствием. Пища была простая, но вкусная, а солёный воздух и судовая обстановка обостряли аппетит. Маленькая уютная каюта отличалась чистотой; в ней все было очень удобно расставлено, так что не пропадало даром ни одного уголка. Стол был привешен на петлях к стене, и доска его опускалась только во время еды.

По обеим сторонам каюты помещались две койки, которые служили скамьями во время еды. Одежда была сверну-

ты валиком, и обедающие садились с краю на гладких досках. Вечером каюту освещала висячая морская лампа с блестящим медным резервуаром, а днем свет проникал в нее через иллюминаторы — четыре круглые боковые оконца из массивного стекла. Возле дверей — с одной стороны — плита и ящик для дров, с другой — шкаф для посуды. На передней стене висели две винтовки и двустволка. Изпод свернутых одеял на койке Француза-Пита торчала ременная перевязь и два револьвера в кобурах.

Джо чувствовал себя как во сне. Бесчисленное число раз мерещились ему подобные сцены, но ведь теперь он не спит, а видит все это наяву, и ему казалось, будто бы он уже давным-давно знаком с этими двумя сотоварищами. Француз-Пит весело улыбался, иронически поглядывая на него со своего места за столом. По правде сказать, у капитана была пре-скверная рожа, но Джо приписывал это влиянию непогоды. Фриско-Кид, уписывая за обе щеки, рассказывал с набитым ртом про то, как «Ослепительный» выдержал последний шторм, и Джо проникался все возрастающим уважением к этому молодому человеку, который так долго жил на море и, видимо, так основательно его знает.

А капитан усердно потягивал винцо стакан за стаканом; на лице у него выступили красные пятна, он растянулся на койке поверх одеял и скоро захрапел во всю мочь.

— Ложитесь-ка лучше спать и вздремните часика два, — сказал приветливо Фриско-Кид, указывая Джо его место на койке. — Наверное, эту ночь нам придется с вами про-дежурить.

Джо последовал мудрому совету, но долго не мог заснуть. Он лежал и смотрел на висевший в каюте будильник, дивясь быстрой смене событий за последние двенадцать часов. Не далее как нынче утром он был простым школьником, а теперь он уже матрос на борту «Ослепительного» и от-правлялся неизвестно куда.

Он сразу вырос в своих собственных глазах лет на пять — ему как будто уже не пятнадцать, а целых двадцать лет, и он

чувствовал себя настоящим мужчиной, да еще вдобавок матросом. Ему хотелось бы показаться Чарли и Фреду. Ну да они и так скоро о нем услышат! Интересно было бы послушать, что они будут о нем говорить, окруженные толпой любопытных слушателей. «Кто, кто? О, Джо Бронсон — он ушел в море. Мы с ним были закадычными приятелями».

Джо с гордостью представлял себе подобную сцену. Потом у него слегка защемило в груди при мысли о матери и ее тревоге, но, вспомнив отца, он опять зачерствел. Нельзя сказать, что отец был плох — он славный и добрый человек, но решительно неспособен понять его, Джо, и вообще душу мальчика. Вот в чем беда. Сегодня утром он еще говорил, что мир — не площадка для лаун-тенниса и что мальчики, которые смотрят на жизнь легкомысленно, часто попадают впросак и рады бывают поскорее вернуться домой. Ну, он-то, Джо Бронсон, хорошо знает, что свет полон тяжелой работы и суровых испытаний, но знает также, что некоторые права есть и у мальчиков и нельзя обращаться с ними, как с рабами. Он покажет отцу, что сумеет постоять за себя; во всяком случае, ничто ему не помешает написать домой письмо, когда он получше освоится с новой жизнью.

ГЛАВА IX

НА БОРТУ «ОСЛЕПИТЕЛЬНОГО»

Легкий толчок прервал его грезы. К «Ослепительному» бесшумно пристал какой-то ялик, и Джо удивился, что не слышал стука весел в уключинах. Затем два человека перескочили через перила кокпита и вошли в каюту.

— Они тут дрыхнут, черт побери, — выругался первый вошедший, сдергивая одеяло с Фриско-Кида одной рукой и доставая бутылку с вином другой.

Сонный Пит высунул голову из-за ящика и пробормотал приветствие.

— А это кто такой? — спросил новоприбывший по имени Кокней, облизывая усы и стаскивая Джо за ногу на пол. — Пассажир?

— Нет, нет, — торопливо ответил Француз-Пит. — Это наш новый юнга. Славный парень.

— Хороший или плохой, а ему придется держать язык за зубами, — буркнул другой пришелец, до сих пор молчавший, окидывая Джо свирепым взглядом.

— А какой ему дадут паек из добычи? — вставил первый. — Мы с Биллом любим вести дело начистоту.

— На долю «Ослепительного» полагается третья часть. Остальное мы поделим между собой поровну. Пять человек — пять пайков, вполне справедливо.

Француз-Пит горячо доказывал, что «Ослепительный» имеет право на экипаж из трех человек, и призывал Фриско-Кида в свидетели. Но последний счел за лучшее уклониться от спора и занялся приготовлением кофе.

Из всей этой тарабарщины Джо уловил только то, что спор разгорелся почему-то из-за него. Под конец Француз-Пит настоял на своем, и вновь прибывшие уступили ему после долгих препирательств. Напившись кофе, все отправились на палубу.

— Вы стойте тут, в кокпите, и не попадайтесь им на глаза, — шепнул Фриско-Кид своему новому приятелю Джо. — Я вас научу, как управлять снастями, и всему прочему потом, на досуге. А теперь нам не до того.

В груди у Джо шевельнулось чувство благодарности, он понял инстинктивно, что в случае надобности из всех присутствующих его поддержит только Фриско-Кид и что лишь на него одного можно положиться. К Французу-Питу у Джо возникла уже какая-то антипатия. Чем это было вызвано, он не мог бы объяснить, но живо ощущал ее.

Вдруг заскрипели блоки; в темноте над головой у Джо взвился огромный парус, и «Ослепительный», подхвачен-

ный ветром, плавно понесся в самую середину канала. Билл ослаблял булинь¹. Кокней стоял на руле. Фриско-Кид направлял кливер. Француз-Пит поддерживал румпель. Джо слышал, как они говорили о том, что нельзя зажигать фонарей, что надо быть начеку, но из всего этого он мог понять только то, что речь идет о нарушении какого-то навигационного правила.

Береговые огни Окленда проносились мимо них. Скоро между доками и темными массами кораблей стали вырисовываться неясные очертания болотистых топей, и Джо догадался, что они входят в бухту Сан-Франциско. Ветер набегал с севера слабыми порывами, и «Ослепительный» бесшумно рассекал воды канала.

— Куда мы идем? — спросил Джо у Кокнея, желая завязать с ним дружеский разговор и вместе с тем удовлетворить свое любопытство.

— Мы идем с компаньоном Биллом за погрузкой на его фабрику, — небрежно ответил этот достойный негодник.

Джо подумал, что по наружному виду трудно было бы догадаться, что имеешь дело с такой солидной персоной, как совладелец фабричного предприятия, но промолчал, сознавая, что в этом новом для него мире рискует натолкнуться на еще более поразительные явления.

Немного погодя ему приказали погасить лампу в каюте. «Ослепительный» повернул к северному берегу. Все молчали, только Билл и капитан изредка перешептывались. Наконец судно поставили против ветра и осторожно опустили кливер и главный парус.

— Короткий канат! — шепотом скомандовал Француз-Пит Фриско-Киду, который прошел на нос и бросил якорь на короткой цепи.

¹ Булинь — снасть для подтягивания наветренной стороны паруса.

Шлюпку «Ослепительного» и ялик, доставивший обоих незнакомцев, подвели к борту.

— Пригляди за этим поросенком, как бы он не нашумел, — произнес вполголоса Билл, спускаясь со своим товарищем в лодку.

— Грести умеете? — спросил Фриско-Кид, когда остальные уселись в ялик. Джо утвердительно кивнул головой.

— Так беритесь за весла и не стучите.

Фриско-Кид сел за другую пару весел, а Француз-Пит взялся за руль. Джо заметил, что весла были чем-то перевязаны, а уключины обтянуты кожей.

Все заранее было предусмотрено, и шума быть не могло, разве при неловком взмахе, но Джо упражнялся в гребле на Меритском озере и хорошо владел веслами. Они шли следом за первой лодкой, вдоль длинного мола. Несколько сторожевых судов стояли на якоре у самого мола. На судах горели яркие сторожевые огни, но лодки пробирались поодаль, вне освещенной полосы. По команде Фриско-Киды, произнесенной шепотом, Джо сложил весла. Затем обе лодки бесшумно, точно привидения, пристали к отлогому берегу и путешественники осторожно выбрались на сушу.

Джо последовал за другими. Дойдя до насыпи, футов в двадцать высоты, они вскарабкались на нее. По насыпи пролегалo узкое железнодорожное полотно, по обе стороны которого были навалены огромные кучи ржавого железного лома. Эти кучи, пересеченные рельсами, тянулись по всем направлениям, а вдали виднелись смутные очертания какого-то огромного здания, похожего на фабрику. Пришельцы стали забирать лом и перетаскивать его на отмель. Француз-Пит схватил за руку Джо и заставил его делать то же самое, еще раз приказав не шуметь. Они сваливали железо на берегу, а Фриско-Кид подбирал его и переносил на лодки. Нагрузив сначала одну лодку, он принялся грузить другую. По мере того как лодки оседали от тяжести, он все дальше отводил их от берега на более глубокое место.

Джо работал вместе с другими не покладая рук, но в то же время недоумевал: что за странная работа? К чему вся эта таинственность и необычайная осторожность? И вдруг его осенило страшное подозрение: как раз в эту минуту с берега донесся крик филина. Удивившись присутствию филина в таком неподобающем месте, Джо опять нагнулся подбирать железо, как вдруг из темноты выскочил человек и внезапно осветил его потайным фонарем. Слепленный струей света, Джо откатнулся в сторону: блеснул револьвер, и грохнул выстрел. Джо смекнул, что это стреляют в него и что ему надо опрометью бежать. При всем желании нельзя же было оставаться на месте и вступать в дипломатические переговоры с этим сумасшедшим, у которого в руке еще дымился револьвер. Он ринулся со всех ног к берегу и наткнулся на другого человека с потайным фонарем, который выбежал ему навстречу из-за кучи железа.

Опрокинув этого второго человека, он пустился вниз по откосу, но тот быстро вскочил на ноги и в свою очередь открыл по нему пальбу.

Добежав до берега, Джо кинулся в воду и мигом добрался до ялика. Француз-Пит и Фриско-Кид, опередившие Джо, уже сидели там, один на передних веслах, другой на задних, и спокойно ждали его прибытия. Ялик стоял носом к морю. Они держали весла наготове, но не трогались с места, несмотря на долетавшие до них пули. Другая лодка стояла ближе к берегу и загрузла. Билл старался столкнуть ее с места и звал Кокнея на помощь, но Кокней совершенно ошалел от страха и бежал за Джо, барахтаясь в воде. Не успел Джо взобраться на корму, как и тот полез на нее. Эта лишняя тяжесть чуть было не опрокинула и без того сильно нагруженный ялик. Он накренился, через борт плеснула вода. В это время с берега дали новый залп.

Пальба подняла тревогу. Со сторожевых судов послышались окрики. На молу засновали тени, вдали заливался полицейский свисток.

— Пошел прочь! — крикнул Кид. — Ты нас ко дну пустить хочешь, я вижу. Ступай, помоги товарищу!

Но у Кокнея от страха отнялся язык и ноги.

— Вышвырните этого полоумного, — скомандовал Француз-Пит, продолжавший сидеть на носу. В это мгновение пуля перебила у него весло, и он спокойно достал и вложил в ключину другое, запасное.

— Беритесь-ка, Джо, — промолвил Кид.

Джо сообразил в чем дело, и они разом схватили ошалевшего от страха Кокнея и выкинули его за борт.

Две-три пули шлепнулись в воду около того места, где Кокней вынырнул на поверхность, и вынырнул как раз в пору, так как в это самое время подъехал Билл, которому удалось, наконец, сдвинуться с мели и который моментально выхватил товарища из воды.

— Вперед! — скомандовал Француз-Пит, и два-три сильных взмаха вынесли их из-под пуль. Обе лодки исчезли во мраке.

Но утлый ялик зачерпнул так много воды, что каждую минуту ему грозила опасность затонуть. Двое продолжали грести, а Джо, по приказу Француза, стал выбрасывать за борт железо. Это спасло их на время. Но в тот момент, когда они остановились у борта «Ослепительного» и стали вылезать, ялик опять накренился и, хлебнув воды, опрокинулся, пустив ко дну остатки железа. Джо и Фриско-Кид вынырнули рядом и вскарабкались вместе на судно, волоча за собой пойманную ими привязь ялика. Француз-Пит был наверху и помог им взобраться.

Когда они возились с опрокинувшейся лодкой, подъехал и Билл со своим товарищем. Работа закипела, и Джо не успел оглянуться, как парус и кливер взвились и «Ослепительный» понесся по каналу. Не доезжая до первого болота, Билл и Кокней распрощались с ними и отошли на своей лодчонке. Француз-Пит забрался в каюту и, проклиная свою горькую долю на разных языках, искал утешения на дне бутылки.

ГЛАВА X

СРЕДИ ПРИБРЕЖНЫХ ПИРАТОВ

Подул свежий ветер, когда они отошли от берега, и «Ослепительный» так сильно накренился, что подветренная его сторона зарылась в воду до самых поручней кокпита. Вывесили сторожевые огни. Фриско-Кид правил рулем, а Джо сидел возле него и размышлял над событиями этой ночи.

Сами факты говорили за себя, и обмануться в их значении было нельзя. У Джо раскрылись глаза, и в голове его зародились самые мрачные мысли. Положим, что он влопался по неведению; он боялся не столько за прошлое, сколько за будущее. Он попал в компанию воров и разбойников, в общество прибрежных пиратов, о подвигах которых он уже кое-что слышал. А теперь он и сам очутился в их компании и знает о них столько, что легко мог бы засадить их в тюрьму. Он хорошо понимал, что это заставит их держать ухо востро и что отныне они будут зорко следить, как бы он не сбежал от них. Но он все-таки улизнет при первой возможности.

На этом месте размышления его были прерваны налетевшим шквалом. «Ослепительного» сильно качнуло, и по палубе прокатилась волна. Фриско-Кид ловко повернул на бейдевинд и отпустил вместе с тем большой парус. Потом он стал брать рифы, все время работая один, так как Француз-Пит оставался внизу, а Джо не сумел бы помочь ему в этом деле.

Шквал, покачнувший «Ослепительного», продолжался недолго, но предвещал непогоду, и бурные порывы ветра стали налетать один за другим с севера. Они рвали и трепали паруса с такой силой, что казалось изорвут их в клочки. Бушующие волны подкидывали судно. Все было в смятении, однако даже неопытный глаз Джо уловил в этой суматохе какой-то порядок.

Джо заметил, что Фриско-Кид твердо знал, что и как нужно делать. Глядя на него, он постиг ту великую истину, незнание которой погубило немало людей, — он понял, как важно для каждого знать *истинную меру своих сил и способностей*.

Фриско-Кид знал, на что он способен, и потому действовал уверенно. Он все время сохранял полное хладнокровие и самообладание, работал быстро и четко, без малейшего промаха. Он брал рифы и основательно закреплял концы. Могли произойти другие случайности, но тех узлов, которые он завязывал, наверное, не сорвал бы никакой последующий шквал, хотя бы их было сорок.

Он позвал Джо на нос, чтобы тот помог ему расправить парус с помощью гафель-гарделя¹. Оставалось взять риф у кливера на бушприте, но это уже было нетрудно.

По указанию товарища Джо отпустил кливер-шкот и отправился в кокпит, где ему пришлось спустить на целый фут подвижной киль.

Борьба со стихией разогнала мрачные мысли Джо. Подражая товарищу, он сохранял полное хладнокровие, толково и быстро исполнял все его приказания. Они совместно противопоставляли свои слабые силы натиску бурной стихии и совместно победили ее.

Джо вернулся к тому месту, где его товарищ стоял у румпеля, управляя рулем; он гордился им и собой. А когда он прочел в глазах Фриско-Киды молчаливое одобрение, то покраснел, как девушка, услышавшая первый обращенный к ней комплимент. Однако тут же внезапно спохватился, что ведь перед ним стоит, собственно говоря, вор, самый обыкновенный вор, и, вспомнив об этом, он невольно попятился.

Ему еще ни разу не приходилось соприкасаться с грязной изнанкой жизни. Избранные авторы его библиотеки все

¹ Гафель-гардель — снасть, поддерживающая тот конец гафеля, который ближе к мачте. (Гафель — дерево, к которому пришнуровывают парус.)

наперебой прославляли честность и прямодушие и воспитывали в нем отвращение к преступности. Он отвернулся от Фриско-Кида и отошел в сторону. Но Фриско-Кид не мог заметить эту внезапную перемену его настроения — он был слишком занят своим делом.

Однако Джо удивлялся самому себе. Мысль о том, что Фриско-Кид — вор, тяготила его, но сам Фриско-Кид не внушал ему ни малейшего отвращения. Наоборот, его что-то тянуло к этому парню. Он не мог разобраться в своих чувствах. Если бы он был немного постарше, то, наверное, понял бы, что его привлекают прекрасные черты характера молодого человека — его хладнокровие, самостоятельность, мужество, отвага и вместе с тем известная мягкость и благодушие. Но он этого не понимал и винил самого себя, что не в состоянии преодолеть свою симпатию к Фриско-Киду; стыдясь своей слабости, он все более и более поддавался горячему чувству дружеского расположения к этому своеобразному юному пирату.

— Подтяните-ка ялик фута на два-три, — крикнул Фриско-Кид, который успевал следить за всем.

Ялик тащился за шлюпом на слишком длинной привязи, и ему приходилось плохо. Он то отставал, натягивая бечеву, то кидался вперед, ослабляя ее, то метался из стороны в сторону, рискуя ежеминутно зарыться носом в высокие пенистые гребни расходящихся волн. Джо перелез через барьер кокпита на скользкую корму и потянулся к битенгу, к которому был привязан ялик.

— Держись! — крикнул Кид.

В это время пронесся шквал.

— Отпустите канат, оставьте один оборот на битенге и подтягивайте!

Для новичка работа была не из легких. Джо спустил канат до последнего оборота и, ухватив одной рукой свободный конец, стал подтягивать другой рукой. Но в эту минуту ялик отбросило гребнем волны в сторону, бечеву сильно дернуло, она выскользнула из рук и стала уходить за борт. Джо

схватил ее снова, но его самого потянуло вниз по покато́й палубе.

— Бросьте! Отпустите! — крикнул Кид.

Джо выпустил конец и правильно сделал, а то бы и сам очутился за бортом. Ялик стал отходить от кормы. Сконфуженный Джо робко оглянулся на своего товарища, ожидая получить от него нахлобучку. Но Фриско-Кид только широко улыбнулся.

— Не беда, — сказал он. — Кости целы и ладно. Лучше расстаться с лодкой, чем с человеком, не так ли? К тому же я и сам виноват, нельзя было поручать новичку это дело. Впрочем, лодка еще от нас не ушла. Ступайте-ка, опустите киль¹ еще фута на два, а потом вернитесь сюда и делайте то, что я вам скажу. Но только не спешите. Работайте уверенно, не торопясь.

Джо опустил киль и, вернувшись на палубу, стал у кливер-шкота.

— Право на борт! — скомандовал Фриско-Кид. — Раскрепите! Вот так! Теперь сюда, дайте руку, беритесь за грот-шкот! — Рука об руку, вдвоем они подтянули зарифленный парус.

Джо стал приходить в азарт от этой работы. «Ослепительный», как породистый конь, повернулся на киле и стал носом против ветра. Паруса и снасти отчаянно затрепались и забили мелкую дробь.

— Спустите кливер-шкот!

Джо подтянул его книзу; передний парус надулся, и судно повернуло на другой галс. Вместе с тем и койку, на которой лежал пьяный капитан, повернуло с подветренной стороны на наветренную, и он растянулся на полу у дверей каюты в пьяном отупении.

Фриско-Кид взглянул на него с отвращением и пробормотал:

— Собака! Хоть ко дну пойдем, и то не очухается!

¹ Выдвижной киль устраивается для увеличения устойчивости судна (для уменьшения дрейфа).

Два раза им пришлось менять галс, чтобы попасть на прежнее место. Наконец Джо различил в темноте, озаряемой одними звездами, качавшийся на волнах ялик.

— Успеем, — промолвил Фриско-Кид, направляя «Ослепительного» в эту сторону и слегка заворачивая. — Ловите!

Джо свесился за борт, поймал ныряющую бечеву и мигом накинул ее на битенг. После этого они взяли прежний курс.

Джо чувствовал себя виновником всего этого переполоха и был страшно сконфужен, но Фриско-Кид не замедлил утешить его.

— О, это шущие пустяки, — сказал он. — Со всяким случается. Только другие забывают, как им солоно приходилось вначале, и выходят из себя при малейшем промахе новичка. Раз, помню...

И начал рассказывать про свои неудачи, когда он был малышом и впервые очутился в плавании, и про то, как его строго за все наказывали. Он накинул свободный конец талрепа¹ на шейку румпеля, и они оба уселись под стенкой кокпита, тесно прижавшись плечом к плечу.

— Что это за место? — спросил Джо, когда они проносились мимо маяка, мигавшего на скалистом мысу.

— Остров Гот. На нем, по ту сторону, находится морская учебная станция для кадетов и минный склад. Там отлично ловится треска. Мы обойдем этот островок с подветренной стороны и станем на якорю под защитой острова Энджель, где находится карантин. Потом, когда Француз-Пит протрезвится, он нам укажет, куда идти, а теперь вы можете спуститься в каюту и немного вздремнуть. Я управлюсь без вас.

Джо отрицательно покачал головой. Он был слишком возбужден, чтобы спать. Да и как тут заснуть, когда «Ослепительный» ныряет, как чайка, и взбивает своим носом целые облака брызжущей пены. Платье на Джо почти вы-

¹ Талреп — трос, с помощью которого тянутся ванты и некоторые другие части стоячего такелажа.

сохло, и он предпочел остаться на палубе и любоваться разворачивающейся перед ним картиной.

Огни Окленда исчезли из виду, оставив лишь бледный отблеск на фоне неба, а с южной стороны показались огни Сан-Франциско, то взбирающиеся по холмам, то сбегаящие в долины и растянувшиеся на много миль бесконечной вереницей.

Различив огромные здания пристани и телеграфную вышку, Джо мог уже легко ориентироваться в панораме города. Где-то там, среди этого лабиринта света и теней, затерялся отцовский дом, в котором, быть может, и сейчас вздыхают о нем и тревожатся; и там же сладко поживает его сестричка Бесси, которая, сойдя утром к чаю, удивится, что его нет. Джо вздохнул. Забрезжило утро. Потом голова его потихоньку свесилась на плечо Фриско-Кида, и он заснул крепким сном.

ГЛАВА XI

КАПИТАН И ЕГО КОМАНДА

Ну, вставайте! Пора становиться на якорь. Джо вскочил на ноги, дико озираясь по сторонам; сон отшиб ему память, и он не сразу вернулся к действительности. Ветер к утру затих. Позади море еще бурлило, но «Ослепительный» тихо шел под защитой скалистого острова. Небо было ясно, и воздух дышал крепительной свежестью раннего утра.

Легкая рябь весело искрилась под лучами восходящего солнца. С южной стороны виднелся остров Алякатрас, с высот которого, увенчанных орудиями, доносились звонкие переливы трубы, игравшей утреннюю зорю. На западе сияли Золотые Ворота, соединяющие Тихий океан с бухтой Сан-Франциско. Туда вместе с приливом на всех парусах торжественно входил какой-то корабль.

Картина была поразительная.

Джо залюбовался ею, пока Фриско-Кид не послал его на нос готовиться к отдаче якоря.

— Разверните цепь, — приказал ему Фриско-Кид, — а потом ждите на месте.

Он осторожно задерживал ход судна, поворачивая его к ветру.

— Отпустите кливер-шкот и беритесь за нирал¹.

Джо уже освоился с этим маневром за ночь и теперь справился с ним превосходно.

— Ну! Отдай якорь! Осторожнее! Живо! Ну!

Цепь побежала с поразительной быстротой, и «Ослепительный» остановился. Фриско-Кид вернулся к товарищу, и они вместе спустили большой парус, сложили его как должно, скрепили сезнями и уложили на корме.

— Вот вам ведро, — сказал Фриско-Кид. — Вымойте палубу. Да почище. Вот щетка. Не брезгуйте этим делом. Добейтесь, чтобы все заблестело. Когда кончите, вычерпайте воду из ялика. За эту ночь у него разошлись немного пазы. А я пойду готовить завтрак.

Скоро струйки воды весело зажурчали по палубе, а из каюты потянуло приятным дымком, предвещавшим вкусные блюда. То и дело Джо отрывался от своей работы и поднимал голову, чтобы полюбоваться расстилавшейся перед ним чудесной картиной. Она пленила бы и всякого другого на его месте. Поэтический восторг охватил его душу, и он чувствовал бы себя совершенно счастливым, если бы не мысль о том, что за люди его товарищи. Эта последняя досадная мысль и противное зрелище валявшегося на полу пьяницы-капитана отравляли чарующую прелесть раннего утра. Его оскорбляла грубая действительность, но он не чувствовал себя подавленным ею, — наоборот, она закаляла его сильный характер. В нем крепло стремление быть чистым и строгим к самому себе, чтобы не уронить себя в сво-

¹ Нирал — снасть, с помощью которой опускаются косые паруса.

их собственных глазах. Он оглянулся кругом и вздохнул. Почему это люди не остаются честными и правдивыми? Ему жаль было расставаться с этой привлекательной новой жизнью, но ночные похождения сильно подействовали на него и, чтобы не изменить себе самому, надо было бежать во что бы то ни стало.

Тут Фриско-Кид позвал его к завтраку. Кид оказался таким же прекрасным поваром, как и опытным моряком, и Джо поспешил воздать должное вкусным блюдам, состоявшим из маисовой каши, бифштекса, жареного картофеля и сгущенного молока. За этим следовали кофе и отличный французский хлеб со сливочным маслом.

Они угощались вдвоем — Француза-Пита невозможно было добудиться. Он что-то мычал, не открывая глаз, а затем снова начинал храпеть.

— Он пьет запоем, — пояснил Фриско-Кид, когда Джо, убрав посуду, вышел на палубу. — Иной раз продержится с месяц, а то не выдержит и недели. В пьяном виде он то разнежится, то начнет бушевать; лучше всего в это время оставлять его в покое и не попадаться под руку. Не перечьте ему ни в чем, а то, пожалуй, еще наживете беду. — Давайте купаться, — прибавил он, переводя разговор на более интересную тему. — Плавать умеете?

Джо кивнул головой.

— Что это такое? — спросил он, готовясь прыгнуть в воду и указывая на огороженное местечко на островке, где были разбросаны какие-то домики и палатки.

— Карантин. На китайских пароходах прибывает множество больных оспой. Всех больных тут задерживают до тех пор, пока доктора не признают их безопасными для окружающих. С этим там такие строгости, что беда. Дело в т... т.. т... — Б-бух! Если б Фриско-Кид не оборвал начатой фразы, кинувшись в воду со всего размаху, то это избавило бы Джо от больших неприятностей.

Но он, к сожалению, оборвал на полуслове, и Джо нырнул вслед за ним.

— А знаете что, — заговорил Фриско-Кид спустя полчаса, уцепившись за ватер-штаг¹ и собираясь вылезать из воды. — Давайте наловим рыбы к обеду. А потом завалимся спать и отдохнем как следует. Что вы на это скажете?

Они стали карабкаться на палубу и устроили состязание: кто скорей. Джо сорвался и опять полетел в воду. Когда он, наконец, выбрался, то увидел в руках своего приятеля две лесы с большими крючками и тяжелыми грузилами и коробку соленых сардин.

— Это приманка, — сказал Фриско-Кид. — Надо насаживать на крюк целую штуку. Здесь рыба неразборчивая, она глотает и приманку, и крючок, и лесу. Кто первый поймает рыбу, тот освобождается от чистки. Весь улов вычистит проигравший.

Обе нарузки стали быстро опускаться и вымотали по семьдесят футов лесы каждая, пока не достали дна. Как только свинчатка коснулась дна, Джо почувствовал, что клюнуло. Потянув лесу, он взглянул на товарища и увидел, что тот, очевидно, тоже поймал здоровенную рыбу.

Завязалось энергичное состязание. Молодые люди вошли в азарт: мокрая леса вилась по палубе кольцами. Но Фриско-Кид оказался много ловчей, и его рыба первой полетела в кокпит. Джо вытянул трехфунтовую треску, но чуть-чуть позже Кида. Тем не менее он был в восторге. Этакую великолепную штуку удалось выудить собственными руками! Он таких еще и не видывал. Обе снасти опять полетели за борт, и скоро мальчики снова вытащили двух больших рыб. Знатный улов! Джо до того разошелся, что, казалось, готов был опустошить весь залив, но Фриско-Кид забастовал.

— Довольно, нам хватит рыбы обеда на три, — заявил он, — к чему изводить ее даром? Притом — чем больше наловите, тем больше вам будет чистки. Возьмитесь-ка за нее вплотную, а я пойду спать.

¹ Ватер-штаг — штаг (снасть), которым поддерживается бушприт снизу.

ГЛАВА XII

ДЖО ДЕЛАЕТ ПОПЫТКУ СБЕЖАТЬ ОТ ФРАНЦУЗА

Джо в сущности был доволен, что проиграл пари и что ему пришлось заняться чисткой рыбы: это помогало ему привести в исполнение некоторый план, пришедший в голову во время купания. Он бросил последнюю вычищенную им рыбу в лохань и оглянулся кругом. Карантин находился от них на расстоянии полумили, и видно было, как на берегу взад и вперед шагает часовой. Войдя в каюту, он прислушался к дыханию спящих. Они оба тяжело сопели. Чтобы дотянуться до своего походного узелка, ему пришлось бы близко подойти к ним, и он решил от него отказаться. Вернувшись наверх, он осторожно подвел ялик к борту, захватил пару весел, спустился в лодку и потихоньку отчалил.

Сначала он греб очень робко, чтобы не шуметь. Но потом, по мере того как увеличивалось расстояние между ним и «Ослепительным», он размахивал веслами все шире и шире. На полдороге он оглянулся. Теперь его уже не догнать, так как он видел, что если спохватятся, то «Ослепительный» все равно не успеет отрезать его от берега, где он очутится под защитой солдата в мундире армии Соединенных Штатов.

В эту минуту со стороны карантина раздался выстрел, но Джо сидел спиной к берегу и не потрудился даже обернуться. За первым выстрелом грянул второй, и шальная пуля шлепнулась в воду около его весла. На этот раз он обернулся. Часовой наводил дуло прямо на него, Джо, и готовился выстрелить в третий раз.

Джо опешил. До берега оставалось совсем недалеко, но там стоит этот представитель армии Соединенных Штатов и по какой-то непостижимой причине упорно палит в него. Завидев направленное на него дуло, Джо поспешно затормозил лодку, а часовой опустил винтовку.

— Мне надо причалить! По военному делу! — закричал ему Джо. Человек в мундире покачал головой.

— Очень важно, говорю вам. Можно?

При этом он бросил беглый взгляд в сторону «Ослепительного». Пальба, очевидно, разбудила и Француза-Пита, так как парус был поднят и шлюп снялся с якоря.

— Нельзя! — скомандовал сторож. — Тут оспа!

— Но как же мне быть? — отчаянно завопил Джо, подавляя подступившее к горлу рыдание и поднимая весла.

— Стой! — коротко отвечал часовой, вскидывая винтовку на прицел.

Джо быстро взвесил создавшееся положение. Островок довольно просторный. Пожалуй, дальше на нем нет часовых. Лишь бы только где-нибудь высадиться, а там пускай арестуют, пускай заразится оспой, — все лучше, чем оставаться с пиратами.

Он повернул под прямым углом и навалился на весла. Дуга прибрежной полосы была довольно растянута, и до ближайшего пункта, где он мог бы причалить, было довольно далеко. Будь он моряком, он направился бы как раз в противоположную сторону, чтобы поставить погоню против ветра. Теперь же «Ослепительный» легко мог его обогнать.

Но положение еще не определилось. Слабый ветерок то набегал, то стихал, и в зависимости от этого шлюп то нагонял лодку, то отставал от нее. Вдруг ветер засвежел, и парусник подобрался к своей жертве ярдов на сто, но потом опять наступило затишье, и парус «Ослепительного» лениво заболтался из стороны в сторону.

— А, поганец, ты наш ялик затеял украсть! — заорал Француз-Пит, хватаясь за ружье. — Сдавайся живо! Или я тебя застрелю, как собаку! — Он отлично сознавал, что не посмеет стрелять на виду у часового, хотя бы и через голову мальчика.

Но Джо не могло прийти в голову, что это пустая угроза, ибо он, ни разу в жизни не нюхавший порошу, за короткое время уже два раза попадал под огонь. Была не была, подумал

он, и приналег еще сильнее на весла, меж тем как Француз-Пит метался в бессильной ярости, угрожая беглецу всевозможными пытками, лишь только его поймают. А тут еще на беду Фриско-Кид взбунтовался.

— Ладно, стреляйте, а я посмотрю, как вас за это вздернут на виселицу, — вступился он грозно. — Вы бы лучше отпустили его. Он славный малый и честный, и эта наша с вами грязная жизнь не по нем.

— Э! Да и ты, я вижу, заодно с ним, подлая крыса! — прохрипел капитан, окончательно выходя из себя. — Мне недолго и тебя пригвоздить.

С этими словами он ринулся на юношу, но Фриско-Кид пустился удирать от него, перебегая от кокпита к бушприту и от бушприта к кокпиту. Тут ветер рванул парус, и Француз-Пит оставил одного молодца ради другого. Подскочив к румпелю и отпустив парус (так как ветер оказался попутный), он направил судно прямо на Джо. Последний сделал было еще одно отчаянное усилие, но, убедившись, что ему не уйти, сложил весла и сдался. Француз-Пит обогнул остановившуюся лодку и выхватил из нее Джо.

— Отмалчивайтесь! — шепнул Фриско-Кид ему на ухо, в то время как разъяренный Француз привязывал ялик. — Не отвечайте ему ничего. Пусть говорит, что хочет. Всего лучше не обращать внимания.

Но англосаксонская кровь вскипела в Джо, и он не вытерпел.

— Слушайте, мистер Француз-Пит, или как вас там еще называют, — начал он, — поймите хорошенько, что я намерен от вас уйти и уйду. Так лучше всего потрудитесь меня высадить на берегу сами. Если же вы этого не сделаете, то я засажу вас в тюрьму. Это верно, как то, что меня зовут Джо Бронсон.

Фриско-Кид испугался за Джо. Капитан онемел. Каково! Этот мальчишка, этот щенок позволяет себе оскорблять его на борту его собственного судна. Неслыханная дерзость! Он знал, что не вправе по закону удерживать у себя людей против воли, но в то же время не решался и отпустить его: как

бы не выдал. Утверждая, что он может засадить капитана в тюрьму, мальчик высказал неприятную истину. Оставалось прибегнуть к нахальству.

— Эге, так вот оно что! — Его пронзительный голос неистово зазвенел. — Тогда ты и сам попадешься! Ты греб вчера ночью на лодке? Отвечай. Ты воровал железо — да? Ты убегал от погони — да? И после всего этого ты еще мне угрожаешь тюрьмой? Каков мальчик, а?

— Но ведь я же не знал, — возразил Джо.

— Ха, ха! Забавно! Расскажи-ка это судье, доставь ему такое удовольствие — он засмеется тебе в лицо.

— Я утверждаю, что я не знал, — повторил Джо с достоинством. — Мне в голову не приходило, что я затесался в воровскую компанию.

Фриско-Кид вздрогнул, услышав этот эпитет, и если бы Джо в это время взглянул на него, то увидел бы на его лице выступившую пятнами яркую краску.

— А теперь, когда я это узнал, — продолжал Джо, — я настаиваю, чтобы меня высадили на берег. Я не сведущ в законах, не умею различать, что правильно, а что нет, и я охотно пойду на риск и готов предстать перед любым судьей Соединенных Штатов. И у меня перед вами, во всяком случае, есть некоторое преимущество, мистер Пит.

— Преимущество, — какое? Ты сам подлый воришка...

— Нет, вы не смеете меня так называть! — Джо задрожал, но не от страха, и лицо его побледнело.

— Воришка, — повторил Пит.

— Вы лжете!

Джо предвидел, какой взрыв произведут эти два словечка, и потому не особенно удивился, что из глаз его вдруг посыпались искры и голова загудела, как котел, когда он спустя минуту поднимался с пола кокпита, цепляясь за дверцы.

— Ну-ка, повтори еще раз, что ты сказал! — прорычал Француз-Пит, снова замахиваясь кулаком.

От сознания своего бессилия слезы подступили к глазам Джо, но он не потерял самообладания и гордо ответил:

— Вы лжете, я не вор. Вы можете меня убить, если хотите, но я все-таки повторю, что вы лжете.

— Руки прочь! — Фриско-Кид бросился на капитана, как кошка, и отпихнул его в сторону, спасая приятеля от второго удара. — Отвяжитесь от него, говорят вам! — продолжал он, взяв тяжелый железный румпель и становясь между ними. — Пора с этим покончить. Что вы, одурели, что ли, не видите, на кого напали? Он говорит сущую правду и твердо будет стоять на своем. Вы его можете укокошить, но ничего от него не добьетесь. Руку, приятель!

Он обернулся в сторону Джо, и они обменялись дружеским рукопожатием.

— Вы парень горячий и, как видно, не робкий.

Француз-Пит скривил рот, изобразив на лице что-то вроде улыбки; затем пожал плечами и скосил глаза.

— А! Вот что! Больно щекотлив, недотрога? Не желает, чтобы я называл его ласкательным именем. Ха, ха! Моряки любят пошутить... Ну да ладно, давайте мириться. По рукам, что ли, а?

Он тоже протянул было руку Джо, но не дождался ответного жеста.

Фриско-Кид выразил одобрение кивком головы, а Француз-Пит пошел в каюту, пожимая плечами и криво улыбаясь.

— Наденьте парус и забирайтесь к Хантерс-Пойнту, — крикнул он снизу. — А я нынче буду за повара и состряпаю вам такой обед, что оближете пальчики. Француз-Пит — знаменитый повар!

— Он таковский — любит втирать очки и всегда берется сам за стряпню, когда хочет задобрить, — сказал Фриско-Кид, надевая румпель на головку руля и выполняя данное ему приказание. — Но верить ему нельзя!

Джо ответил молчаливым кивком. Ему было не до разговоров. Он весь дрожал от пережитых волнений и проверял самого себя, так ли он вел себя, как подобает, но совесть его оставалась спокойной.

ГЛАВА XIII

ПОДРУЖИЛИСЬ

С Тихого океана подул свежий полуденный ветерок. Остров Энджель скоро скрылся из виду, и навстречу бороздившему волны «Ослепительному» плыла береговая линия Сан-Франциско. Скоро они очутились в самом центре рейда, проходя мимо кораблей, собравшихся здесь со всех концов света. Потом они пересекли фарватер, по которому сновали в обе стороны пассажирские пароходы, совершающие рейсы между Оклендом и Сан-Франциско. Один из этих пароходов прошел очень близко от них, и пассажиры его столпились у борта, чтобы полюбоваться стройным маленьким шлюпом с двумя мальчиками на кокпите. Джо позавидовал этим людям. Все они едут к себе домой, а он — он сам не знает, куда его несет по воле какого-то Француза-Пита. Он чуть было не решился позвать на помощь — нет, это было бы безрассудно. Он отвернулся и задумался, поглядывая на окутанный дымкой город, о странных особенностях жизни на море.

Фриско-Кид незаметно следил за ним и за его мыслями, которые видел насквозь.

— Там ваши родные живут? — спросил он внезапно, указывая рукой на город.

Джо вздрогнул, удивившись догадке товарища.

— Да, — ответил он.

— Расскажите что-нибудь о них.

Джо сначала был довольно краток, но товарищу этого показалось мало, и пришлось продолжить поподробнее. Фриско-Кид интересовался всякими мелочами, но особенно тем, что касалось миссис Бронсон и Бесси. Больше всего он расспрашивал о Бесси. Он засыпал Джо вопросами о его сестре.

Некоторые из этих вопросов показались Джо такими наивными и неожиданными, что он не мог удержаться от улыбки.

— Ну а теперь и вы расскажите мне о своих, — сказал Джо, воспользовавшись наступившей паузой.

Фриско-Кид как-то сразу приутих и нахмурился. Лицо его сделалось строгим. Он сидел молча и лениво болтал ногами, устремив взгляд на верхушку мачты, как бы давая знать, что об этом не стоило спрашивать.

— Ну, что же? — поощрял его Джо.

— У меня нет родных, нет дома. — Он с трудом выдавил из себя эти слова и стиснул зубы.

Джо почувствовал, что нечаянно задел болезненное место и попробовал загладить неловкость.

— Ну, расскажите тогда про ваш прежний дом.

Он не подозревал, что на свете есть мальчики, у которых никогда не было родного очага, и бессознательно еще больше бередил рану товарища.

— У меня никогда не было дома.

— О! — Джо был до того поражен, что перестал церемониться.

— А сестры у вас есть?

— Нет!

— А мать?

— Я был так мал, когда она умерла, что не могу ее вспомнить.

— А отец?

— Я почти не видел его. Он ушел как-то в плавание и пропал без вести.

— О-о! — Джо не знал, что сказать. Наступила тягостная тишина, прерываемая журчанием воды у форштевня¹. К счастью, как раз в это время Пит вышел на смену, стал у руля и послал их обедать.

¹ Форштевень — дерево, составляющее переднюю оконечность судна.

Мальчики почувствовали облегчение, а за обедом уже болтали совершенно непринужденно. После обеда Фриско-Кид опять сменил Пита, и капитан уселся за стол. Джо вымыл посуду и убрал каюту. Потом они все трое сошлись у кормы, и капитан, очевидно, желая восстановить добро-сердечные отношения, разговорился и очень занимательно стал рассказывать про жизнь ловцов жемчуга в Южных морях.

За этими разговорами день прошел незаметно. Они уже давно отделились от города, обогнули Хантерс-Пойнт и теперь быстро подвигались вперед вдоль берега Сан-Матео.

На берегу Джо заметил компанию велосипедистов, огибавших утес Сан-Бруно-Роод, и живо представил себе, как он сам недавно катался на велосипеде по той же дороге. Это было месяца два назад — не больше, но ему показалось, что это происходило когда-то давным-давно: так много с тех пор было пережито.

Вечером после ужина они подходили уже к болотам, за которыми раскинулся Редвуд-Сити. Ветер спал с закатом солнца, и «Ослепительный» двигался довольно тихо. Вдали показался другой шлюп: он шел прямо на них, подгоняемый замиравшим попутным ветерком.

Фриско-Кид сразу объявил, что это «Северный Олень». Француз Пит сощурил глаза и тотчас согласился. Он, видимо, чрезвычайно обрадовался этой встрече.

— Им командует Красный Нельсон, — сообщил Фриско-Кид своему приятелю. — Ужасный человек, доложу вам. Я всегда побаиваюсь его при каждой встрече. Они там, наверное, задумали какое-нибудь крупное дело. В таких случаях они всегда приглашают Француза-Пита, он большой мастер на всякие штуки.

Джо с любопытством стал смотреть на приближавшееся судно. Оно было немножко больше «Ослепительного», но одинаковой конструкции, то есть с главным расчетом на скорость хода. Огромный парус напоминал гоночную яхту, на нем пестрели копны для трех рифов на случай сильного

ветра. В оснастке, в рангоуте, на палубе все было пригнано к месту — нигде ничего лишнего.

Как бегучий, так и стоячий такелаж находился в образцовом порядке. На всем лежала печать законченности и щегольства, наложенная рукой истового моряка.

«Северный Олень» приближался медленно в сгушавшихся сумерках и стал на якорь неподалеку от них.

Француз Пит, последовав примеру Нельсона, бросил якорь и немедленно отправился к нему на ялике.

Мальчики в ожидании его возвращения растянулись на крыше каюты.

— Вам такая жизнь по душе? — нарушил молчание Джо.

Приятель повернулся к нему на локте.

— Да, но не совсем. Свежий, соленый воздух, вода, свобода и все прочее — это хорошо: но мне не нравятся... — он замаялся немного, — но мне противно воровать.

— Так почему бы вам не бросить это?

Джо боялся признаться самому себе, до чего полюбился ему этот мальчик, и почувствовал непреодолимое желание вывести его на прямую дорогу.

— Я и брошу все это, как только найду другое занятие.

— А почему не сейчас? — спросил Джо.

«Теперь самое время, — подумал Джо про себя. — И если он действительно хочет уйти, то как жаль, что не решается порвать сразу».

— А куда я пойду? Что я буду делать? На белом свете нет никого, кто бы подал мне руку. Я уже однажды пробовал и получил хороший урок! Поневоле призадумался, прежде чем опять сунешься пытаться счастье очертя голову.

— А я, как только выберусь отсюда, пойду прямо домой. Пожалуй, выходит, что отец был прав. И почему бы нам не отправиться вместе?

Последние слова он сказал, не подумав, они вырвались у него бессознательно, и Фриско-Кид отлично понял это.

— Вы сами не знаете, что говорите, — ответил он. — Ведь надо же придумать такую чепуху! Чтобы я пошел с вами!

Ну, а что скажет на это ваш батюшка, все прочие? На что я ему сдался? Куда он меня определит?

У Джо сердце болезненно сжалось. Он испугался, что под влиянием минутного настроения сделал предложение, быть может, и в самом деле слишком рискованное. Трезво взглянув на дело, он попробовал представить себе мистера Бронсона, отечески принимающего в свой дом какого-то проходимца без роду, без племени, вроде Фриско-Кида...

Нет, об этом, конечно, и думать нечего!.. И, забыв про свои собственные невзгоды, он принялся усердно ломать голову, стараясь изыскать какой-нибудь другой способ, чтобы избавить Фриско-Кида от этой постылой жизни.

— Он, пожалуй, отправит меня в полицию, — продолжал развивать свою мысль Фриско-Кид, — и посадит в тюрьму. А я лучше схохну, чем буду сидеть за решеткой. А потом я вам должен признаться, Джо, что я слеплен из другого теста, нежели вы, и вы это отлично понимаете. Я бы почувствовал себя вроде рыбы на сухом берегу. Нет, придется подождать маленько, прежде чем уходить отсюда. Ну, а вам, разумеется, остается одно: отправляться прямехонько домой. При первой оказии я вас сажу, а потом уже как-нибудь полажу с капитаном.

— Ну уж нет, — горячо возразил Джо. — Если я и сбегу, то устрою это таким образом, чтобы вы из-за меня ни в коем случае не пострадали. Выбросьте, пожалуйста, из головы вашу затею. Я-то уйду, об этом нечего беспокоиться, а вот как бы устроить, чтобы и вы ушли со мной вместе? Давайте убежим как-нибудь вдвоем, а там будь что будет... не станем загадывать далеко вперед. Что вы на это скажете?

Фриско-Кид покачал головой и, устремив взгляд на звездное небо, отдался мечтам о хорошей жизни, которая волею судеб для него недоступна. Серьезная сторона жизни яснее, чем когда-либо, представилась умственному взору Джо, и он лежал молча, погружившись в глубокую думу.

Невнятный гул голосов долетал к ним с палубы «Северного Оленя», с берега неслись звуки церковного колокола, а летняя ночь медленно окутывала их своей теплой мглой.

ГЛАВА XIV

НА УСТРИЧНЫХ ОТМЕЛЯХ

Хриплый голос Француза-Пита вывел мальчиков из забытья и вернул к трезвой действительности.

— Эй, вы там! Шевелитесь! — заорал он во все горло. — Снимайся! В дорогу! Шо! Сезни! Кид! Кливер! Поворачивайтесь! Живо!

Джо растерялся было в темноте, плохо соображая, где что лежит и как что называется, но все-таки он уже за это время освоился настолько, что догадался сбросить сезни в кокпит. Затем его позвали поднимать большой парус. Втащили якорь, поставили кливер, свернули канаты и привели все в порядок.

— Отлично, отлично, — одобрил Француз-Пит, когда Джо перешагнул через перила кокпита. — Великолепно! Из вас выйдет хороший моряк.

Фриско-Кид поднял крышку с одного из ящиков кокпита и вопросительно взглянул на капитана.

— Ну да, — ответил моряк, — выставляйте огни!

Фриско-Кид зажег в каюте зеленый и красный фонари и понес их вместе с Джо вывешивать на фордуны¹.

— Они еще не решаются, — произнес Фриско-Кид полусшепотом.

— На что? — спросил Джо.

— Да на то отчаянное дело, которое затевается и о котором я вам говорил. Дело лихое, и Француз-Пит боится рискнуть. Красный Нельсон старается его подзадорить; сам он смыслит мало и выжидает, пока Пит согласится.

— Куда же мы теперь? — спросил Джо.

¹ Фордуны — снасти стоячего такелажа, держат стеньги и брам-стеньги сзади.

— Не знаю, должно быть, за устрицами, на отмели, судя по направлению.

На этот раз путь обошелся без приключений. Ночной ветер — попутный и ровный — держался около часа, а потом стих. Француз-Пит стоял у руля, а Джо и Фриско-Кид то подтягивали, то опускали шкоты. Джо никак не мог попятать, как это капитан угадывает направление. Ему казалось, что они должны неминуемо заблудиться в окутывающей их непроглядной тьме.

Густой туман надвинулся со стороны океана и хотя клубился поверху, не спускаясь на поверхность воды, но закрывал от них звезды, лишая их последнего слабого света.

Однако Француз-Пит инстинктивно угадывал направление и на вопрос удивленного Джо похвастался, что берет «верхним чутьем».

— Я чую течение, ветер и скорость, — добавил он. — Я даже чувствую, когда близко земля. Честное слово! Как это выходит, не знаю сам. Знаю только, что чувствую землю, как будто рука моя тянется, тянется и, вытянувшись на несколько миль, достает до земли, и я дотрагиваюсь до нее и узнаю, что она лежит там.

Джо недоверчиво посмотрел на Фриско-Киду.

— Истинная правда, — подтвердил тот. — Как поживешь на море долгонько, так научишься узнавать чутьем. А у кого обоняние острое, тот и по запаху узнает землю.

Прошло около часа, и Джо догадался по лицу и движениям капитана, что они приближаются к цели своего путешествия. Француз-Пит держался начеку и упорно вглядывался в темноту, как будто выжидая чего-то с минуты на минуту.

Как ни приглядывался Джо, он ничего не мог различить в черной мгле.

— Пощупайте дно шестом, Кид, — приказал Француз-Пит. — Я думаю, что пора.

Фриско-Кид отвязал от крыши каюты длинный тонкий шест и, став на узенькой палубе у борта, погрузил один конец шеста в воду.

— Футов пятнадцать, — сказал он.

— А что на дне?

— Тина.

— Обождите немного и позондируйте опять.

Минут через пять шесть был опущен снова.

— Десять футов, на дне ракушки!

Француз-Пит потер руки с довольным видом.

— Отлично, отлично, — приговаривал он. — Я всегда попадаю на место. Старика не проведешь!

Фриско-Кид продолжал работать шестом и докладывать результаты разведки, а Джо все не мог надивиться глубине их познаний по части морского дна.

— Девять футов — раковины, — монотонно докладывал Кид. — Одиннадцать — раковины. Четырнадцать — мягко. Шестнадцать — тина. Нет дна.

— Ага, канал, — заметил Француз при последнем известии.

Несколько минут «не было дна», а затем вдруг раздался возглас Фриско-Киды:

— Восемь футов — твердо!

— Стоп! — скомандовал Француз-Пит. — Ступайте на нос, Шо, и отпустите кливер, а вы, Кид, приготовьте к отдаче якорь.

Джо нашел кливер-фал, отпустил его и, перехватывая обеими руками, стянул вниз.

— Бросай! — раздалась команда, и якорь пошел ко дну, которое оказалось на очень незначительной глубине.

Фриско-Кид вытянул обратно лишнюю цепь и закрепил ее. Потом убрали паруса, навели порядок, спустились вниз и завалились спать.

Было шесть часов утра, когда Джо проснулся и вышел в кокпит взглянуть на погоду. Дул сильный ветер. «Ослепительно-го» швыряло во все стороны и неистово дергало на цепи. Чтобы устоять на ногах, Джо ухватился обеими руками за гик¹,

¹ Гик — горизонтальное пангоутовое дерево, упирающееся одним концом в мачту и вращающееся около нее.

который был у него над головой. День выдался пасмурный, небо заволочло тяжелыми свинцовыми тучами, пронесившимися нескончаемой чередой.

Джо искал глазами землю. Она лежала милях в полутора от него. Это была длинная низкая песчаная полоса, о которую разбивался прибой. За ней тянулись унылые болота, а вдали виднелись холмы Контра-Коста.

Взглянув в другую сторону, Джо весьма удивился, заметив на расстоянии какой-нибудь сотни ярдов небольшой шлюп, нырявший на якорю. Он стоял у них с наветренной стороны. На корме его Джо разобрал надпись «Летучий Голландец». Это было одно из тех самых суденышек, которыми любовался Джо около городской верфи Окленда. Немного левее от него колебалось на волнах «Привидение», а дальше еще с полдюжины парусников.

— Ну что, моя правда?

Джо оглянулся.

Француз-Пит вылез из каюты и торжествовал, наблюдая раскрывшуюся перед ним панораму.

— То-то и оно-то! Говорил я вам — что? Нет, старый не промахнется. Я вижу ночью, как кошка. О! Я свое дело знаю.

— А что, как погода? Разыграется буря или нет? — спросил Фриско-Кид, выглянув из каюты, где он разводил огонь.

Француз-Пит минуты две всматривался испытующим взором в небо и в море.

— Может, разыграется, а может, и нет, — нерешительно заявил он. — Готовьте завтрак, да поживее, а там попробуем закинуть сеть.

Повсюду над каютами показались дымки, свидетельствующие о приготовлении первого завтрака. На «Ослепительном» с завтраком покончили скоро и тотчас же поставили парус на один только риф и приготовились сняться с якоря.

Любопытство Джо было сильно задето. Очевидно, они находятся среди устричных отмелей. Но как же они ухит-

ряются ловить на дне устриц, да еще в такую погоду? Впрочем, он вскоре понял. Откинув половицу кокпита, капитан вытащил две треугольные стальные рамы. Он привязал крепкую веревку к кольцу, специально для этой цели вделанному в вершину каждого треугольника. Прилежащие к этой вершине стороны треугольника — прутья в дюйм толщиной и до четырех футов длиной — расходились под прямым углом. На концах эти прутья были связаны основанием треугольника, к которому была приделана драга. Последняя состояла из полосы стали в ярд длиной, усаженной рядом длинных и острых стальных зубьев. Ко всем трем сторонам этой металлической рамы была прилажена в виде большого мешка крепкая рыболовная сеть, назначение которой, как легко догадался Джо, состояло в том, чтобы забирать со дна срезанных драгой устриц.

Связанные веревкой, обе драги были закинута — одна по правую, другая по левую сторону судна. Опустившись на самое дно и растянув до конца привязь, они заметно стали задерживать ход судна. Джо прикоснулся к вытянувшейся струной веревке и по ней ясно чувствовал толчки и царапанье драги о дно.

— Вытаскивай! — скомандовал Француз-Пит.

Мальчики ухватились за веревку и вытащили драгу. Сеть была переполнена илом, тиной и мелкими устрицами, среди которых кое-где мелькали и крупные.

Содержимое вывалили на палубу, а пустую драгу опять закинули в воду. Крупные раковины отобрали и сложили в кокпит, остальные вышвырнули обратно. Отдохнуть было некогда, предстояло опорожнить и другую сеть, а, отсортировав добычу, надо было вытащить обе драги, чтобы дать возможность Француз-Питу повернуть «Ослепительного» на другой галс. Вся флотилия занималась тем же делом. Некоторые парусники подходили к ним очень близко, и пираты обменивались приветствиями и перебрасывались отрывистыми словами и шуточками. Но работа была не из легких; не прошло и часа, как Джо начал выбиваться из сил

от непривычного напряжения. У него ломило спину, руки были порезаны до крови от неосторожного обращения с острыми раковинами.

— Отлично, отлично, — подбадривал его Француз-Пит. — У вас дело идет на лад, и вы скоро и этому научитесь.

Джо состроил кислую улыбку: сейчас он думал только об отдыхе и обеде. Порой вытаскивались мало наполненные драги, и мальчишки могли передохнуть немного и обменяться словечком.

— Вот это — Спаржевый Остров, — заметил Фриско-Кид, указывая на берег. — По крайней мере, так называют его рыбаки и моряки каботажного плавания. А местные жители называют его островом Бэй-Фао. — Он показал немного правее. — А повыше — Сан-Леандро. Отсюда не видно, но он в той стороне.

— Вы там были? — спросил Джо.

Фриско-Кид мотнул головой и позвал его вытащить драгу.

— Эти отмели никому не принадлежат, — продолжал он, — их называют заброшенными отмелями, и пираты появляются здесь, притворяясь, что занимаются ловлей.

— Почему вы говорите, что они притворяются?

— Да потому что они пираты и потому что им гораздо выгоднее ловить устриц на частных отмелях. — Он повел рукою на восток и юго-восток. — Частные отмели в той стороне, и если сегодня не будет шторма, то вся флотилия двинется туда ночью.

— А если разыграется буря?

— Что ж, тогда от набега придется отказаться, а Француз-Пит будет бесноваться, вот и все. Он терпеть не может, когда погода нарушает его планы. Но ветер не унимается, а хуже ничего не может быть, как если буря застигнет у юго-восточных берегов. Пит, пожалуй, заупрямится, а лучше было бы нам убраться подобру-поздорову, не дожидаясь шторма.

Сначала погода как будто улучшилась. Резкий юго-западный ветер заметно приутих, и около полудня, когда они стали на якорь, солнце выглянуло из-за туч.

— Все это так, — приговаривал Фриско-Кид пророческим тоном, — но я недаром поплавал в заливе. Буря только готовится к натиску и неожиданно разразится вовсю.

— Я полагаю, что вы совершенно правы, Кид, — согласился Француз-Пит, — но «Ослепительный» выдержит. Простынный раз он отступил, а ночь выдалась чудесная. Так пусть же на этот раз он отличится. Идет дело, а?

ГЛАВА XV

ХОРОШИЕ МОРЯКИ НА СКВЕРНОЙ СТОЯНКЕ

В течение всего остального дня «Ослепительный» отчаянно плясал на якоре, но к вечеру волнение несколько затихло. Поэтому все собравшиеся на отмель пираты, следуя примеру Француза-Пита, решили попробовать отстояться, пустив в ход запасные якоря.

Француз-Пит заставил обоих мальчиков сесть в ялик, и они, ежеминутно рискуя опрокинуться, завезли и бросили второй якорь под прямым углом к первому. После этого Пит стал выправлять якорную цепь и канат второго якоря до тех пор, пока «Ослепительного» не отнесло назад футов на сто, где держаться ему было гораздо удобнее.

Джо, укрывшись в кокпите, наблюдал дикую пляску волн. Устричные отмели лежали в открытой бухте, и ветер, гулявший здесь на двенадцатимильном водном просторе, напал на суда так неистово, что казалось вот-вот сорвет мачты. Когда надвинулись сумерки, с наветренной стороны замелькало белое пятнышко, оно приближалось, вырастало, и наконец ясно обозначился огромный парус «Северного Оленя».

— Ах будь ты неладен! — выругался Француз-Пит, выбегая из каюты. — Когда-нибудь, о, когда-нибудь он нарвется, верьте моему слову! С ним сделается вот этак: крак и пух!

И нет тебе ни Нельсона, ни «Северного Оленя»! Ах, шут его подери!

Джо вопросительно посмотрел на Фриско-Кид.

— Да, это правда, — произнес Фриско-Кид. — Надо было бы Нельсону взять один риф. Два еще лучше. А он распустил паруса так, как будто бы за ним гонятся дьяволы. Он хватил через край; зачем поступать так опрометчиво, когда в этом нет ни малейшей нужды? Я с ним вместе работал и хорошо знаю его повадки.

«Северный Олень» взмыл на пеннистом гребне, как птица, и летел прямо на них.

— Вы не бойтесь, — сказал Фриско-Кид, — он нас не заденет; он только хочет хвастнуть удальством.

Джо вздрогнул и невольно попятился.

«Северный Олень» взвился на дыбы, носом к небу, оголив вест, форштевень, потом кинулся вниз и, вынырнув из пучины, пронесся стрелой мимо «Ослепительного» на расстоянии менее фута.

У руля стоял Нельсон. Промелькнув мимо них, он весело захохотал и махнул рукой Французу-Питу, возмущенному его выходкой.

Очутившись позади «Ослепительного», великолепное судно повернуло так круто, что казалось, будто оно опрокинулось, но потом оно выпрямилось и понеслось новым курсом как бешеное. Затем стало у них на траверсе¹. Видно было, как спустили кливер, как якорь полетел за борт и как судно закачалось взад и вперед, а парус хлопал о мачту, и как вслед за первым якорем бухнулся и второй на порядочном расстоянии от первого.

Парус спустили мигом; свернули и убрали его, казалось, прежде, чем якоря успели забрать за дно.

— Бравый моряк, слов нет: моряк, каких мало!

У Француза-Пита глаза засверкали от восхищения. Фриско-Кид тоже любовался им.

¹ Траверс — направление, перпендикулярное курсу судна.

— Как на яхте! — проговорил он, спускаясь в каюту. — Положительно, как на яхте, даже еще лучше.

К ночи ветер снова грозно завыл и к одиннадцати часам достиг такой силы, что Фриско-Кид объявил наступление бури.

На «Ослепительном» спал только Кид. Француз-Пит ежеминутно выходил на палубу. Раза два он вытравил канат и цепь. Джо лежал, свернувшись клубочком под своим одеялом, и прислушивался к реву бури, тщетно пытаясь заснуть. Не то чтобы он боялся, но как заснуть непривычному человеку при таком адском треске и грохоте и при такой неистовой качке! Трудно даже представить себе, как это может судно безнаказанно выкидывать такие коленца. Порой «Ослепительного» передергивало из стороны в сторону, и он захлебывался. Порой он подскакивал и с оглушительным треском снова падал на волны. При этом казалось, что дно его разлетается вдребезги. Порой так трепало на якоре, что «Ослепительный» визжал, кряхтел и стонал, как будто от боли во всех своих дощатых суставах.

Фриско-Кид, просыпаясь, с улыбкой поглядывал на приятеля.

— Это называется, по-нашему, отстаиваться, — приговаривал он. — А вот погодите, что будет дальше, когда на рассвете двинемся. Да и теперь того и гляди несколько шлюпов выбросит на берег.

И, повернувшись на другой бок, моментально засыпал. Джо позавидовал его безмятежному настроению.

В начале четвертого Француз-Пит завозился на носу судна. Джо выглянул наружу, желая узнать, что он там делает, и при неверном свете бешено раскачивавшегося морского фонаря увидел, что капитан вытащил две запасные бухты каната и привязывает их к якорным канатам, чтобы удлинить их.

В половине пятого Француз-Пит развел огонь, а в пять позвал мальчиков к завтраку. Напившись кофе, они вылезли в кокпит и увидели страшную картину. Серое утро слабо

озаряло клокотавшие волны. Спаржевый Остров различить было трудно, но зато ясно слышался грохот прибоя у его берегов. Когда совсем рассвело, они увидели, что за ночь их отнесло на целые полмили.

Остальные суда также были снесены.

«Северный Олень» стоял рядом с ними, «Каприз» находился на сто ярдов позади, а под ветром билось неподалеку от берега еще с пять устричных шлюпов.

— Двух не хватает, — объявил Фриско-Кид, вооружившись биноклем и осматривая побережье.

— А! Один здесь! — воскликнул он и, всмотревшись попристальнее, добавил: — Это шлюп «Поди-Спрашивай». От него скоро ничего не останется, его разобьет в щепы. Надеюсь, команда успела выбраться на берег.

Француз-Пит посмотрел в бинокль, а за ним и Джо. Ясно видно было, как барахтается в бурунах несчастное судно, а на берегу копошились люди, составлявшие его экипаж.

— А где же «Привидение»? — спросил Француз Кида.

Фриско-Кид тщетно искал его глазами у берегов, но, повернувшись с биноклем к морю, отыскал его там при свете надвигавшегося дня. Оно преспокойно покачивалось в полумиле от них с наветренной стороны.

— Бьюсь об заклад, что его оттащило за ночь не более чем на сто футов, — сказал Фриско-Кид. — Должно быть, там очень хорошая якорная стоянка.

— Тина, — авторитетно изрек Француз-Пит. — Оно напало на полосу илистого дна. Но если его отнесет с этой полоски, пиши пропало! Якоря у него слишком легкие и годятся только для илистого дна. Я не раз советовал им завести якоря потяжелей, они же только посмеивались. Но когда-нибудь они попадутся и пожалеют, что не послушались меня, старика, будьте в этом уверены!

Один из шлюпов, стоявших с наветренной стороны, поднял парус и отправился воевать с морем, пытаясь выбраться на простор из этого страшного места. Они следили за

ним некоторое время. Он метался, как поплавок, и подвигался вперед чрезвычайно тихо. Француз-Пит оторвал мальчиков от этого зрелища.

— Пора и нам! — крикнул он. — За дело! Два рифа! Надо выбраться отсюда подобру-поздорову!

Только было взялись за работу, как раздался отчаянный крик.

Оглянувшись, они увидели бешено несущееся на них «Привидение».

Француз-Пит прыгнул к носу, как кошка, выхватил из-за пояса нож и одним взмахом перерезал канат запасного якоря. Оставшись на одной цепи, «Ослепительный» отпрянул в сторону, и как раз вовремя, потому что вслед за этим «Привидение» пронеслось кормой вперед по тому самому месту, где только что стоял «Ослепительный».

— Как? Оно сорвалось с четырех якорей! — вскричал Джо, указывая на четыре каната, которые свисали с носа «Привидения» и вытянулись почти горизонтально.

— На двух из них драга, — усмехнулся Фриско-Кид. — А вот дело дошло и до печки.

И действительно, на палубе «Привидения» появились два парня, которые выбросили за борт обмотанную концом каната железную печку.

— Фью!.. Посмотрите на Нельсона. Он взял риф. Верный знак, что пришла настоящая буря.

«Северный Олень» приближался к ним, вздымая целые облака пены, подставляя грудь под удары волн, гордо выдерживая натиск шторма, точно некое великолепное морское животное.

Красный Нельсон махнул им рукой, проходя мимо, а спустя четверть часа, когда они в свою очередь снялись с последнего якоря, он переменял галс и пошел у них с наветренной стороны.

Француз-Пит, любуясь красавцем, зловеще приговаривал:

— В один прекрасный день случится, как я уже вам говорил, вот этак... пуф! — и кончено дело. Поверьте!

Минуту спустя «Ослепительный» поднял кливер и вступил в бой со стихиями. Началась упорная, ожесточенная и опасная борьба. Джо изумлялся, как такое угловое суденышко не поддается бешеному натиску разъяренной стихии.

Но мало-помалу судно отходило от берега и от прибоя на более глубокое место. Отойдя на некоторое расстояние, отпустили немного шкот, и «Ослепительный» побежал искать защиты за скалистой стеной Аламеда-Молес, лежавшего в нескольких милях пути. Там уже комфортабельно расположился «Северный Олень», мирно стоявший на якоре. И туда же вскоре забрались, один за другим, все остальные члены флотилии, кроме «Привидения», которое, очевидно, выбросилось на берег заодно с «Поди-Спрашивай».

К полудню ветер как-то сразу стих и погода стала совсем летней.

— Не надежно что-то, — заметил Фриско-Кид, когда стало смеркаться и Француз-Пит отправился на ялике к Нельсону в гости.

— О чем вы говорите? — спросил его Джо.

— О чем? О погоде. Затишье что-то слишком внезапное. Буря еще не выдохлась, а она не угомонится до тех пор, пока не выдохнется окончательно. Ждите с минуты на минуту, что она опять вдруг завоет. Она только притаилась, шельма, — вот увидите.

— Куда мы пойдем отсюда? — спросил Джо. — Опять за устрицами?

Фриско-Кид нерешительно качнул головой.

— Не знаю, что выдумает Пит. Ему не повезло с железом, не повезло с устрицами; он теперь до того раздосадован, что способен выкинуть самую отчаянную штуку. Меня несколько не удивит, если он отправится с Нельсоном в Редвуд-Сити, где затевается то крупное и рискованное предприятие, о котором я уже вам говорил.

— И в котором я не намерен участвовать никоим образом, — решительно заявил Джо.

— Разумеется! — согласился Фриско-Кид. — Они будут орудовать вместе с Нельсоном и его людьми. Народу немало. Обойдутся без вас.

ГЛАВА XVI

ЗАВЕТНАЯ ШКАТУЛКА ФРИСКО-КИДА

После этого разговора оба мальчика провалялись еще около часа на крыше каюты. Затем Фриско-Кид, ни слова не говоря, сошел вниз и зажег огонек. Джо почудилось, что он там что-то раскапывает, а немного погодя Фриско-Кид тихонько позвал его. Войдя в каюту, Джо увидел, что его друг сидит в уголке, на коленях держит раскрытую шкатулку, а в руках — бережно сложенную страничку иллюстрированного журнала.

— Похожа она на эту картинку? — спросил Фриско-Кид, разглаживая печатный листок и поднося его к глазам Джо.

Картинка изображала двух девочек и мальчика. Старшая девочка что-то рассказывала и стояла лицом к зрителю, а двое других сидели к нему спиной и как будто внимательно слушали рассказчицу.

— Кто? — спросил Джо, недоуменно переводя взгляд с картинки на Фриско-Кид.

— Ваша... ваша сестра... Бесси?

Слова эти он произнес заикаясь и с какой-то робкой почтительностью и благоговением.

Джо на минуту совершенно опешил. Он не понимал, какая связь между этой картинкой и его сестрой? Да и вообще девочки — это такой пустячный предмет, о котором не стоит и говорить.

«Он как будто краснеет», — подумал Джо, замечая, что лицо Фриско-Киды слегка зарумянилось. Ему стало смешно, и он с трудом удержался от улыбки.

— Нет, нет, не надо! Только не смейтесь! — вскричал Фриско-Кид, вырывая листок из рук Джо и укладывая его обратно в шкатулку дрожащими пальцами. — Я думал... я... полагал, что вы поймете, и... и...

Губы его подергивались, глаза стали влажными, он поспешно отвернулся.

Джо сел с ним рядом и обнял его. Движение это было чисто инстинктивное, безотчетное. Неделий раньше положение, в котором он очутился, показалось бы ему невероятно глупым и сентиментальным, но теперь оно казалось ему в высшей степени простым и естественным. Он не понимал почему, но знал наверное, что этот непритворный порыв имел огромное значение для его товарища.

— Расскажите все, и я вас пойму, — настаивал он.

— Нет, нет, вы этого не поймете. Вы не в состоянии это понять.

— Пойму, уверяю вас. Говорите!

Фриско-Кид покачал головой.

— Не сумею. Я чувствую, но словами выразить не умею.

Джо погладил его по плечу, и Фриско-Кид продолжал:

— Ну так вот. Вы видите — я так мало знаю о жизни на суше, о людях и все такое. У меня не было ни братьев, ни сестер, ни товарищей. Я мучился от одиночества, не отдавая еще себе в этом отчета. Мне чего-то вот тут не хватало. — Он указал на грудь. — Приходилось ли вам испытывать голод, острый голод? Такое испытывал я. Только голод какой-то особенный: я и сам не знал, как это понять. Но раз как-то — это было очень давно — мне попался вот этот листок с двумя девочками и мальчиком, которые о чем-то между собой разговаривают. И я подумал: как хорошо было бы вот эдак сидеть с ними вместе, и я стал думать о них, о чем они говорят, что делают; вдруг у меня блеснуло что-то в уме, и я понял, в чем дело. Я понял свое горькое одиночество.

Но больше всего я любовался этой девочкой, которая смотрит оттуда прямо в глаза. Я не переставал о ней думать все время, и она стояла передо мной как живая. Я уверил себя, что она существует — я сознавал, что это одно только воображение, но часто верил, что она действительно живет. Когда я думал о людях, о труде и тяжелой жизни, картинка так и оставалась картинкой, но когда я думал о ней — то нет... Сам не знаю... Я не могу это объяснить.

Джо припомнил, как он сам неоднократно фантазировал, рисуя в воображении различные приключения на суше и на море, и кивнул в знак того, что вполне понимает. Под конец он стал угадывать душевное состояние рассказчика.

— Все это, конечно, глупости, но подружиться с такой вот девочкой казалось мне высшим счастьем на свете. Все это было давно, я тогда был еще мальчишкой; это было в ту пору, когда Красный Нельсон дал мне прозвище Фриско-Кид. С тех пор это прозвище и осталось за мной. Но я никогда не расставался со своей картинкой и постоянно вынимал ее и рассматривал. И когда случалось, что я вел себя скверно, то мне бывало совестно перед ней, перед этой девочкой. Потом, когда я подрос, то, глядя на нее, стал задавать себе следующие вопросы: «А что, Кид, — думал я про себя, — что если бы ты когда-нибудь встретил такое доброе существо, что бы она подумала о тебе? Могла бы она хоть капельку полюбить тебя? Есть за что или нет?» И тогда я хотел подняться, стать лучше, взять себя в руки, чтобы она или такие же, как она, не стыдились знакомства со мной.

Из-за этого я и выучился читать. Из-за этого я и бежал. Грамоте меня научил маленький грек, Ники Перрата. И только научившись читать, я узнал и понял, что ремесло пирата действительно скверное ремесло. Я попал на эту дорогу с тех пор, как помню себя; все люди, меня окружавшие, занимались этим. Но когда я понял, что это скверное дело, то сбежал от них и старался подыскать другую работу. Об этом и о том, что заставило меня вернуться к пиратам, я вам расскажу когда-нибудь после.

Конечно, она потому так живо представлялась в моем воображении, когда я был помоложе (да и теперь кое-когда), что я постоянно носился с мыслью о ней. Но вот теперь, во время нашего разговора, она предстала передо мной как бы в другом свете. Я понял, что она была для меня просто путеводной звездой, манившей к лучшей, более чистой жизни, — к той жизни, которая меня так привлекает. Если бы у меня сложилась такая жизнь, то я, наверно, узнал бы и таких девочек, и других людей, вроде вас. Теперь меня стала занимать мысль о вашей сестре и о вас, а почему — не знаю сам. А вы, наверно, немало знаете таких девочек, правда?

Джо кивнул головой.

— Так расскажите же мне о них что-нибудь, хоть пустяк какой-нибудь, все равно, — добавил он, заметив колебание во взгляде своего товарища.

— О, это будет не трудно, — храбро отвечал Джо. Он как будто понял, чего не хватало этому юноше, и думал, что ему удастся доступно рассказать все Киду.

— Начать с того, что они похожи — гм! Ну да, я хочу сказать, что они похожи на... на девочек... вот именно... как бы это сказать?.. — Он запнулся и почувствовал, что ему не выпутаться.

Фриско-Кид выжидал терпеливо, как внимательный ученик.

Джо добросовестно напряг все свои умственные способности и мобилизовал весь запас своих сведений.

Перед ним промелькнул целый ряд девочек, с которыми он учился в школе, — сестер школьных товарищей и сестриних подруг, худеньких и пухленьких, высоких и низеньких, голубоглазых и черноглазых, брюнеток и блондинок, с завитушками и без завитушек, — словом, целая процессия девочек всевозможного вида. Но что о них можно сказать? Решительно ничего. Если бы еще он сам был девчонкой, а то ведь нет.

— Все девчонки одинаковы, — заключил он растерянно. — Они все на один манер и ничем не отличаются от тех, которых вы сами знаете.

— Но я не знаю ни одной.

Джо свистнул...

— И никогда не знали?

— Одну я знал — Карлотту Джиспарди. Но она не умела говорить по-английски, а я по-датски. И она умерла. Ну да ладно! Оставим об этом. Видно, вам не до них, и вы знаете о них, пожалуй, меньше, чем я.

— А я смыслю больше вашего в морских приключениях, — отпарировал Джо.

Оба мальчика весело расхохотались. Но разговор этот заставил Джо призадуматься. У него в голове шевельнулась мысль, что он неблагодарный, что он не ценил, как должно, тех благ, которые выпали на его долю. Хотя значение домашнего очага и родителей уже выросло с некоторых пор в его глазах, то теперь он спохватился еще и насчет сестры и друзей. Он не ценил их, как должно, но отныне... да, отныне будет иначе!

Тут раздался резкий голос Француза-Пита, и мальчики выбежали на палубу.

ГЛАВА XVII

ФРИСКО-КИД РАССКАЗЫВАЕТ СВОЮ ПОВЕСТЬ

— **П**однимайте парус, берите якорь! — крикнул Пит. — Идем за «Оленем» и без огней!
— Сюда! Отвязывай сезни — живо! — командовал Фриско-Кид. — Теперь навались на дирик-фал¹, спусти с нагеля² вон тот канат! Отойди в сторону, крепи вот

¹ Дирик-фал — снасть, которой поднимается гафель.

² Нагель — деревянный крепительный болт.

там! Подтянем после. Беги назад и стань у паруса! Берись за румпель!

Под внезапным давлением надувшегося паруса «Ослепительный» дрогнул, закачался на якоре, как ретивый конь, и сорвался с места, как только якорные лапы отцепились от дна.

— Отпустите шкот! Сюда, ко мне! Помоги втащить цепь! Готовься поднять кливер! — Фриско-Кид преобразился: от мечтательного мальчика с драгоценной картинкой не осталось и следа — на палубе распорядился строгий и властный моряк. Он перебежал на корму и в тот момент, когда кливер, поднятый Джо, затрепался в воздухе, повернул на другой галс.

В эту минуту во мраке под ветром пронесся мимо них «Северный Олень», напоминавший собою огромную летучую мышь.

— Что за мямли эти мальчишки! Вы тут целую ночь собираетесь провозиться, я вижу, а? — ворчал Француз-Пит.

С борта «Северного Оленя» донесся грубый голос Красного Нельсона:

— Не мели вздора, французик, ведь Кида вышколил я! Этот малый не промах!

У «Северного Оленя» был более быстрый ход, чем у «Ослепительного», но он нарочно не ставил всех парусов, и мальчишки не теряли его из виду. Ветер дул с запада и постепенно усиливался. Звездное небо застилала быстро мчавшиеся густые облака, что указывало на быстрые воздушные течения в верхних слоях атмосферы. Фриско-Кид присматривался к небу.

— Кутру здорово освежает, — заметил он. — Как я и предсказывал.

Прошло несколько часов. Подойдя к Сан-Матео, оба судна остановились и отдали якоря на расстоянии не более одного кабельтова от берега. В море вдавалась небольшая пристань. Неподалеку от набережной колыхалась маленькая яхта, стоявшая около буйка.

На судах согласно обычаю все было приготовлено к быстрому отплытию. В одну минуту по данному знаку можно было поднять якоря и поставить паруса. Оба ялика бесшумно отчалили от борта «Северного Оленя». Красный Нельсон уступил одного человека из своей команды Француз-Питу. На каждом ялике сидело по два человека.

Нельзя сказать, чтобы физиономии этих людей внушали доверие, — так по крайней мере сдавалось Джо, которого невольно пронизывала дрожь при виде этих свирепых, мрачно-суровых лиц. Капитан «Ослепительного» опоясался ременным поясом о двух кобурах с револьверами и уложил в лодку ружье и крепкие тали с двойным блоком. Затем он поднес каждому соучастнику по стакану вина, и все они выпили в темной каюте за успех экспедиции. Красный Нельсон тоже был вооружен с ног до головы, а у его людей на бедрах висели матросские ножи. Они осторожно разместились в яликах, стараясь не производить ни малейшего шума. Француз-Пит уселся последним; он приказал мальчикам соблюдать полную тишину в его отсутствие и не затевать никаких фокусов.

— Вот был бы прекрасный случай для нас, Джо, если бы только они оставили нам ялик, — прошептал Фриско-Кид, когда лодки скрылись в тумане.

— А почему бы не на «Ослепительном»? — последовала неожиданная реплика. — Поднять парус — и след простыл, пока они там спохватятся!

Фриско-Кид колебался. Дух товарищества давал себя знать. Грешно подводить товарища в опасную минуту.

— Не совсем хорошо, мне кажется, устраивать им такую ловушку, — сказал он. — Разумеется, — поспешил он добавить, — я отлично понимаю, что они затеяли скверную штуку, но вспомните первую ночь, когда вы бежали по воде к ялику, а сзади пощелкивали? Мы вам не устроили ведь ловушки, не так ли?

Джо поневоле пришлось согласиться, но у него блеснула новая мысль.

— Ведь они пираты, и воры, и преступники. Они попирают законы, а мы с вами не хотим быть преступниками. Кроме того, ведь и ловушки, собственно, нет никакой. У них остается «Северный Олень», — кто им мешает удрать на нем, а в темноте они нас не разыщут.

— Идет! — Фриско-Кид согласился, но все-таки крайне неохотно, — как-никак, дело пахло предательством.

Они ползком пробрались на нос и начали поднимать парус. Ради экономии времени в крайнем случае можно было не вытаскивать якорь, а обрезать канат. Но чуть только скрипнули фалы на шкиве, как из окружающей темноты до них донеслось предостережение:

— Тсс! — а вслед за тем полусшепотом: — Перестать!

Присмотревшись в том направлении, откуда был голос, они различили бледное испуганное лицо, следившее за ними с борта соседнего шлюпа.

— Э! Да это юнга с «Оленя». Тащите дальше!

Но как только опять скрипнули блоки, раздалось второе предостережение, причем в новом тоне:

— Сказано: бросьте фалы, а то всыплю вам горячего!

Угроза эта сопровождалась щелканьем взводимого курка. На этот раз Фриско-Кид не стал спорить и, ворча, удалился в кокпит.

— Не горюйте, еще не мало представится случаев, — шепнул он в утешение Джо. — А Француз-Пит хитер! Ведь он предвидел, разбойник, что вы захотите это сделать, и приставил нарочно сторожа.

С берега не доносилось ни звука. Неизвестно, что там проделывали пираты и как шли их дела. Ни одна собака не лаяла, нигде не виднелось ни одного огонька. Но воздух казался насыщенным тревогой, и ночная тишина точно таила в себе всевозможные ужасы. Нервы мальчиков были натянуты. Они сидели в каюте, тесно прижавшись друг к другу, и ждали.

— Вы хотели рассказать мне о вашем бегстве, — заговорил Джо, — и о причине его неудачи.

Фриско-Кид принялся потихоньку рассказывать, наклонившись к уху соседа.

— Видите ли, дело в том, что, когда я вздумал уйти, у меня не было никого, решительно никого, кто мог бы протянуть мне руку помощи. Я знал, что мне остается только одно: выбраться на берег и подыскать такую работу, которая дала бы мне возможность учиться. Я решил, что в деревне легче найти такую работу, чем в городе. Ну, я и удрал от Красно-го Нельсона. Я был тогда на «Северном Олене». Однажды ночью, когда мы стояли на Аламедских устричных отмелях, я выбрался на берег и дал стрекача. Нельсон не погнался за мной. Я бежал куда глаза глядят, только бы подальше от берега. Все местные жители были фермеры-португальцы. Никто из них не дал мне работы. Впрочем, и время года я выбрал совершенно не подходящее — зиму. Из этого вы можете судить, какое представление я имел о жизни на суше. С двумя или тремя долларами в кармане отправился я дальше в глубь страны, пробавляясь коркой хлеба да кусочком сыра. Работы нигде не мог найти. Ночевать приходилось на морозе, без одеяла, и я всегда радовался наступлению утра. Но больше всего меня угнетало враждебное отношение всех, кого я встречал. Фермеры смотрели на меня очень косо, не скрывая своего недоверия и недоброжелательства. Случалось, травили собаками. Казалось, для меня нет места на земле. Скоро деньги мои вышли все до копейки. Пришлось голодать. Но тут как раз меня арестовали.

— Арестовали? За что же?

— Да так себе, ни за что. За то, что живу. Как-то ночью я зарылся в стог сена, чтобы как-то уберечься от холода. Появился деревенский констебль и арестовал меня за бродяжничество. Сначала меня приняли за беглого арестанта и повсюду распространили мои приметы. Сколько я ни твердил им, что у меня нет никаких родственников, они мне долго не верили. А потом, когда прошло много времени и никто не предъявлял ко мне никаких обвинений, судья отправил меня в «убежище» для подростков в Сан-Франциско.

Фриско-Кид замолчал и некоторое время внимательно присматривался и прислушивался, нет ли какого-нибудь движения на берегу. Но там царили мрак и тишина, слышался только шум ветра.

— Я думал, что сдохну в этом «убежище». Оно ничем не отличалось от тюрьмы. Нас держали под замком, как арестантов. Это бы еще с полгоря, если бы я только мог сблизиться с ребятами. Но это были уличные мальчишки, испорченные, подлые, раболепные, лживые, лишенные всякого представления о порядочности. Мне там понравилось только одно — это книги. О, я читал запоем и прочел их целую кучу. Но это не искупало всего остального. Мне недоставало свободы, солнца, запаха соленой воды. И что я сделал? За что они меня посадили в тюрьму вместе с этим сбродом? Я стремился не к злу, а к добру, я хотел себя воспитать, стать лучше, сделаться человеком более достойным — и вот к чему все это привело. Понимаете ли, в ту пору я был еще слишком неопытен и слишком наивен!

Иногда мне мерещились сверкающие на солнце волны, белые паруса, «Северный Олень», рассекающий воду, — и меня охватывала такая тоска, что я не находил себе места и был сам не свой. А тут ребята приставали ко мне со всякими мерзостями, и, взбешенный, я задавал им иногда жестокую трепку. За это меня наказывали и сажали в карцер. Наконец я не выдержал и ухитрился оттуда сбежать. Не найдя себе места на суше, я поступил к Французу-Питу и вернулся к прежней жизни. Вот и вся недолга. Но я еще раз попробую, когда буду постарше и сумею найти для себя подходящее дело. Я это сделаю непременно.

— Вы уйдете со мной, — сказал Джо самым решительным тоном, не допускающим никаких возражений, кладя ему руку на плечо. — Вот что вы сделаете, друг мой! А насчет дальнейшего...

Бац! — грянул с берега выстрел. Бац! Бац! Оживленная перестрелка не умолкала. Послышался чей-то раздирающий вопль, кто-то стал звать на помощь. Оба мальчика момен-

тально вскочили, подняли парус и приготовили все к немедленному отплытию. Юнга на «Северном Олене» сделал то же самое. Человек на яхте, разбуженный выстрелами, выставил было из люка испуганное лицо, но, увидев два незнакомых шлюпа, тотчас же скрылся. Напряженное ожидание кончилось, настало время действовать.

ГЛАВА XVIII

ДЖО ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Якорную цепь укоротили до последней возможности: она висела отвесно. «Ослепительный» стоял в полной готовности. Оставалось поднять кливер и дать ход. Фриско-Кид и Джо внимательно смотрели на берег. Крики умолкли, но замелькали огни. До их ушей донесся с берега скрип блока и талей, и они услышали грубый голос Красного Нельсона, кричавшего во все горло: — Спускай!.. Бросай!.. Отчаливай!..

— Француз-Пит забыл смазать блок, — заметил Фриско-Кид.

— Чего они там копаются! — крикнул юнга, сидевший на крыше каюты «Северного Оленя», вытирая пот с лица, после того как ему одному пришлось поднимать большой парус.

— Они-то, как видно, готовы, — откликнулся Фриско-Кид. — А вы готовы?

— Да, все готово.

— Эй, вы! — крикнул человек на яхте, не высовывая, однако, на этот раз головы. — Лучше бы вам убраться отсюда.

— А вам бы лучше помалкивать да смиреннько посиживать у себя в конуре, — последовал ответ. — Мы сами сумеем позаботиться о себе, а вы заботьтесь о своей особе.

— Если бы я мог только выбраться отсюда, уж и показал бы я вам!

— А вы попробуйте, выберите! — отвечал ему юнга с «Оленя», и человек на яхте замолчал.

— А вот и они! — воскликнул вдруг Фриско-Кид.

Два ялика вынырнули из темноты и подошли к борту.

По голосу Француза-Пита легко было догадаться, что между пиратами происходят какие-то пререкания.

— Нет, нет! — кричал он. — Грузите на «Ослепительного». У «Северного Оленя» ход быстрее. — А! Он удерет из-под носа, и лови ветра в поле. Нечего там! Грузи на «Ослепительного»!

— Ну да ладно, пусть будет по-твоему. Рассчитаемся после. Поторапливайся! Живо наверх, молодцы! И тащите! У меня рука сломана.

Матросы Нельсона вскарабкались наверх, веревки были спущены в лодку, и все, кроме Джо, ухватились за них и стали тащить. Возня людей где-то у берега, всплески весел, скрип блоков, хлопанье парусов — все это, вместе взятое, красноречиво свидетельствовало о том, что на берегу спешно налаживают погоню.

— Ну, — командовал Красный Нельсон. — Разом! Смотри, осторожней! Не упускать, а то лодка не выдержит. Идет! Пошло! Еще раз! Стой! Закинь конец, отдохните!

Хотя втащили только до половины, все уже изнемогли от чрезмерного напряжения и обрадовались передышке. Джо взглянул через борт, желая узнать, что за тяжесть они поднимают, и различил неясные очертания небольшого несгораемого шкафа.

— За дело! Все вместе! — опять раздался голос Нельсона. — Одним махом, ребята! Хо-хо! Еще раз! Ну еще! Так! Готово!

Запыхавшись и еле переводя дух, они втащили шкаф на палубу, перекинули его через поручни и спустили в кокпит; сняв с петель дверцы каюты, проволокли его по полу и поставили рядом с ящиком подвижного кия. Красный Нель-

сон взобрался тоже за ними и распоряжался установкой. Левая рука его беспомощно болталась, а с кончиков пальцев капала кровь. Но он, по-видимому, не обращал на это никакого внимания и, казалось, нисколько не беспокоился о той буре, которую поднял на берегу и которая, судя по долетавшим звукам, угрожала разразиться над ними ежеминутно.

— Держите курс на Золотые Ворота, — сказал он Француз-Питу, собираясь уходить. — Я постараюсь держаться поблизости; но если я в темноте потеряю вас из виду, то встретимся утром за Фарралонами.

Он прыгнул в ялик вслед за своими матросами и весело крикнул, помахивая здоровой рукой:

— А потом в Мексику, ребята, в Мексику, на подножный корм!

Как только «Ослепительный» сорвался с якоря и, качнувшись, понесся вперед, за кормой тотчас же показался темный парус, почти уже наседавший на ялик, шедший у «Ослепительного» на буксире. Кокпит яхты незнакомца был переполнен людьми, разразившимися ругательствами при виде пиратов.

У Джо мелькнула мысль кинуться к носу и перерезать фалы, чтобы «Ослепительный» попал в плен. Ведь он, Джо, без вины виноват и нисколько не боится суда, как и докладывал об этом Питу. Однако мысль о Фриско-Киде остановила его. Джо хотел уйти от пиратов вместе с Кидом, но вовсе не с тем, чтобы запрятать его в тюрьму. Таким образом, опасность, грозившая Фриско-Киду, заставила Джо горячо пожелать, чтобы «Ослепительному» удалось убежать от погони.

Гнавшееся за ними судно, пытаясь обойти «Ослепительного», описало дугу и при этом наткнулось впотьмах на яхту, стоявшую на якоре у буйка. Человек, сидевший под люком, полагая, что очередь дошла до него, заорал благим матом, выскочил на палубу и бросился за борт. Суматоха, вызванная столкновением, и спасение утопавшего затормозили погоню. Тем временем Француз-Пит и мальчики успели скрыться в ночной темноте.

«Северный Олень» давно уже исчез из виду. «Ослепительный» вышел в открытое море и, накренившись под сильным ветром, мчался по легкой зыби. Не прошло и часа, как с правой стороны показались огни Хантерс-Пойнта. Фриско-Кид сошел вниз варить кофе, а Джо остался на палубе. Он смотрел на всплывавшее зарево огней Сан-Франциско и думал о том, куда они теперь направляются. Мексика! Как? Неужели они пустятся в океан на этой скорлупе! Быть не может! Представление о путешествии по океану у него связывалось лишь с пароходами и кораблями. Он начинал сожалеть о том, что не перерезал фалов. Ему сильно хотелось задать несколько вопросов Питу, но этот почтенный муж не дал ему раскрыть рта и немедленно отослал его в каюту пить кофе и спать. Джо и Фриско-Кид улеглись, а Француз-Пит остался один наверху. Раза два капитану послышался подозрительный шум, а один раз он заметил с подветренной стороны судно, быстро переменившее галс при виде «Ослепительного». Но темнота благоприветствовала Французу, и подозрительный парус скоро исчез и не появлялся более.

Чуть только рассвело, капитан разбудил мальчиков, и они выползли на палубу с заспанными лицами. Утро выдалось холодное, серое, ветер предвещал близкую бурю.

Джо немало удивился, увидев перед собой белые палатки карантина на острове Энджелъ. Сан-Франциско выделялся туманным пятном на южном горизонте. Ночь медленно таяла. Француз-Пит держал курс на Рэкоп-Стрэт и внимательно всматривался в нырявшую на расстоянии полумили позади них шлюп-яхту.

— Думают поймать «Ослепительного», кажется, да? Ну, посмотрим!

Чтобы удостовериться в этом, он взял курс прямо на Золотые Ворота. Яхта двинулась следом. Джо стал наблюдать за ее движением. Она шла почти параллельным курсом и заметно нагоняла их.

— Но ведь так они нас живо догонят! — вскричал он.

Француз-Пит засмеялся.

— Как бы не так! Они отстают, мы уходим. Они удирают от ветра, а мы выходим на ветер. О! Погодите — увидите!

— Они идут быстрее нашего, — вставил Фриско-Кид. — Но они держат ближе к ветру. В конце концов мы их обгоним, даже если они осмелятся взять наперерез. Но я не думаю, чтобы они на это решились. Смотрите, смотрите!

Впереди виднелись огромные, грохочущие, пенистые валы океана. Среди бушующих волн входила в гавань то подкидываемая на гребень гороподобной волны, то низвергаемая в бездну, каботажная паровая шхуна, нагруженная лесом.

Захватывающее зрелище величавой борьбы человека со стихией пленило Джо. Забыв об опасности, он замер на месте; глаза его широко раскрылись, ноздри раздувались от восхищения. Француз-Пит облачился в непромокаемый плащ и клеенчатую фуражку. Джо тоже получил такой костюм. Потом они вместе с Кидом пошли по приказанию капитана привинчивать к стене железными скобками нестораемый шкаф. Джо во время работы увидел на металлической доске название фирмы: «Бронсон и Тэт». Как?! Неужели этот шкаф принадлежит его отцу?! Неужели это собственность мистера Бронсона и его компаньона? Фриско-Кид, прикреплявший к полу последнюю скобку, оторвался от своего дела и взглянул на надпись.

— Вот так фунт! — протянул он шепотом. — Это фамилия вашего отца?

Джо молча кивнул в ответ. Теперь все было ясно как на ладони. Они попали на Сан-Андреас, где разрабатываются обширные каменоломни его отца. По всей вероятности, в шкафу лежат суммы, ассигнованные на выдачу жалованья тысяче рабочих и служащих.

— Молчите! — шепнул он. — Ни слова!

Фриско-Кид мотнул головой в знак согласия.

— Француз-Пит читать не умеет, а Красный Нельсон не знает вашей фамилии. Но беда в том, что ведь как бы то

ни было, а сундук-то они взломают при первой возможности и деньги поделят между собой. Что вы тут можете сделать?

— Придет время — увидим!

Джо решил отстаивать собственность своего отца всеми силами. Она точно пропала бы, если бы его не было здесь. Но так как он здесь, то, значит, имеются некоторые шансы спасти ее. Пусть эти шансы сомнительны, но все же теперь они есть. Джо почувствовал на плечах своих бремя новой ответственности.

Несколько дней тому назад у него не было никаких других забот, кроме заботы о себе самом. Но затем, как ни странно, приняв близко к сердцу участь Фриско-Кида, он вынужден был взять на себя ответственность за его будущность; потом, что еще более удивительно, он осознал обязанности, налагаемые на него его положением: обязанности по отношению к сестре и друзьям. И наконец совершенно неожиданно так сложились обстоятельства, что ему необходимо теперь оказать услугу отцу. И он мужественно откликнулся всем сердцем на этот призыв. Что бы ни сулило будущее, в себе он уверен. И эта его уверенность, в силу каких-то таинственных законов, еще больше увеличивала его решимость. Он впервые смутно отдал себе отчет в той жизненной истине, что уверенность рождает уверенность, а сила — силу.

ГЛАВА XIX

МАЛЬЧИКИ ЗАДУМАЛИ БЕЖАТЬ

Теперь начинается! — закричал Француз-Пит. Оба мальчика вбежали в кокпит. «Ослепительный» переступил порог океана. Перед ним вздымался огромный пенистый вал футов в сорок высотой, на

мгновение закрывший от него ветер и грозивший расплющить утлое суденышко, как яичную скорлупу. У Джо захватило дух. Француз-Пит повернул к ветру и направил шлюп на эту волну. «Ослепительный» взлетел по уклону волны, повис на головокружительной высоте и низвергнулся в пучину. Он то скрывался в облаке пены, то выскакивал из него с легкостью поплавка.

Джо забыл и о себе, и обо всем на свете. А! Вот это жизнь! Вот это работа! Это не похоже на то дряблое существование, которое он так долго влачил. Матросы встречного парохода, столпившиеся на мокрой палубе, заваленной лесом, приветственно махали клеенчатыми картузами, и даже капитан шхуны, стоявший на мостике, и тот восхищался дерзким суденышком.

— Посмотрите-ка, посмотрите! — Француз-Пит указал на корму.

Погоня, как видно, струсилa. Шлюп-яхта заметалась из стороны в сторону, не решаясь переступить через грозный порог. «Ослепительный» вышел из пределов досягаемости.

Лоцманский бот промчался мимо него, как испуганная птица, спасаясь от надвигавшейся бури и так стремительно обгоняя шхуну, что казалось последняя стояла на месте.

Получасом позднее «Ослепительный» выбрался из буруна и плавно скользил по просторной тихоокеанской волне. Скорость ветра увеличилась, и пришлось взять рифы. Но потом они опять распустили парус вовсю и понеслись правым галсом на Фарралоны, до которых было миль около тридцати. После завтрака они увидели впереди большой парус «Северного Оленя»: он лежал в дрейфе, описывая дугу с юга на запад и обратно, не отходя в то же время от берега¹. Руль был привязан неподвижно, и на палубе не видно было ни души.

Француз-Пит возмущался такой беспечностью.

¹ У судна в дрейфе паруса поставлены так, что оно описывает вперед и назад дуги, лишь очень незначительно отходя под ветер.

— Черт его знает, что он делает, этот Красный Нельсон! Забубенная голова: ему все нипочем! Ничего не боится. Уж напорется он когда-нибудь!

Им пришлось три раза обойти «Северного Оленя» и кричать хором во все горло по ветру. Наконец на палубе появились люди. Вслед за тем паруса были выправлены, и обе скорлупки затерялись в безграничном просторе Тихого океана.

Фриско-Кид объяснил Джо, что необходимо уйти как можно дальше от берегов, пока еще на них не обрушился бешеный шторм. Иначе их отнесет к берегам Калифорнии. Когда пройдет буря и наступит затишье, можно будет запастись водой и провиантом. Хорошо, что он, Джо, не страдает морской болезнью. Последнее обстоятельство поднимало престиж юного строптивого моряка и в глазах капитана — Пит тоже похвалил его за это.

— Знаете что? — шепнул Фриско-Кид своему товарищу, когда они готовили обед. — Давайте-ка нынче ночью скрутим Пита?

— Как так?

— Ну да, скрутим — и только; а потом выставим сигнальные огни и направимся к берегу; зайдем в первый порт и избавимся от Красного Нельсона.

— Отличная штука, но только, если бы я мог это сделать один, — задумался Джо. — А с вашей помощью... Это была бы измена с вашей стороны Француз-Питу.

— Вот что мы сделаем: я берусь вам помочь, если вы примете на себя небольшое обязательство, — сказал Фриско-Кид. — Француз-Пит взял меня к себе, когда я бежал из приюта и умирал с голоду, не зная, куда деваться. Было бы гнусно с моей стороны, если бы я отплатил ему за это тюрьмой. Ваш отец не захотел бы, чтобы вы нарушили свое слово, не правда ли?

— Нет, разумеется, нет. — Джо отлично было известно, как свято соблюдал его отец данное слово.

— Так вы должны пообещать, и отец ваш должен постараться, чтобы Пит не попал в тюрьму.

— Прекрасно. Ну, а вы-то куда же? Неужели опять с ним на «Ослепительном»?

— О, обо мне беспокоиться нечего. Кому я нужен? Я уже не мальчик и в своем деле набил руку настолько, что могу поступить на службу матросом. Я заберусь куда-нибудь на край света и начну новую жизнь.

— В таком случае перестанем об этом говорить, вот и все.

— О чем — об этом?

— О вашем предложении насчет Пита и прочее.

— Нет, нет... Это решено и подписано.

— Слышите, что я вам говорю?.. Я ни в коем случае не пойду на это. Если вы со своей стороны не дадите мне слова, то я предпочту идти в Мексику.

— Какое слово?

— Вот какое: с той минуты, как мы ступим на землю, вы повинуетесь моему руководству. Ведь вы сами говорили мне, что не имеете надлежащего представления о жизни на суше. А уж я сговорюсь с отцом — я знаю, что он мне уступит, — и вы познакомитесь с образованными людьми, будете учиться, станете на ноги и изберете себе другую карьеру. Не лучше ли это будет для вас, чем оставаться пиратом или идти в матросы?

Хотя Фриско-Кид и отмалчивался, но выражение лица выдавало его отношение к этой заманчивой перспективе.

— И кроме того, не забывайте, что мы вам обязаны, — продолжал настаивать Джо. — Вы будете моим соучастником и тем самым поможете отцу вернуть деньги. Таким образом, он становится вашим должником.

— Но я не способен на такой расчет. Я презираю людей, которые помогают в беде, рассчитывая на вознаграждение.

— Замолчите, пожалуйста! Вы не знаете, во что обойдется моему отцу сыскной розыск! Ну, обещайте же, и конечно дело! А когда я все устрою и окажется, что это вам не по душе, то вы всегда можете уйти обратно в море. Вашу руку! Хорошо?

Они ударили по рукам и занялись обсуждением рискованного плана.

Но шторм, налетевший с северо-запада, разрушил все замыслы мальчиков и приготовил «Ослепительному» иную участь. После обеда пришлось взять вторые рифы, хотя буря далеко еще не разыгралась полностью. Океан бушевал; волны громоздились, как горы, казавшиеся непомерно огромными и страшными с крохотной палубы шлюпа.

Оба шлюпа могли видеть друг друга только в те минуты, когда им случалось одновременно очутиться на гребне волны. Порой волны врывались в кокпит и заливали каюту. Джо поручено было выкачивать воду насосом.

В четвертом часу Французу-Питу удалось подать знак «Северному Оленю», что «Ослепительный» ложится в дрейф и бросает водяной якорь. Последний представлял собой просторный брезентовый мешок, отверстие которого поддерживалось раскрытым посредством связанных в виде треугольника металлических прутьев. К ним были привязаны буксирные веревки. Таким образом, воде противопоставлялась наибольшая противодействующая поверхность, и благодаря этому шлюп держался все время носом против ветра и волны — самое безопасное положение для судна во время шторма. Красный Нельсон взмахнул рукой, давая знать, что понял сигнал и согласен.

Пит взялся сам бросить якорь, приказав Фриско-Киду повернуть вовремя руль и поставить судно против ветра.

Капитан, пошатываясь на скользкой палубе, выжидал подходящего момента.

Но как раз в ту минуту, когда «Ослепительный» очутился на гребне громадной волны, на него налетел бешеный порыв ветра. Паруса рвануло. Раздался треск. Стальные фордуны лопнули. Талрепы, ванты, мачта, парус, блоки, водяной якорь и сам Пит — все это вместе грохнулось за борт. Каким-то чудом капитан уцелел. Он успел ухватиться за ватер-штаг и дотянулся до бушприта. Мальчики подбежали и втащили его на палубу. Красный Нельсон, заметив крушение, переставил руль и бросился к ним на выручку.

ГЛАВА XX

КРИТИЧЕСКИЕ МИНУТЫ

Француз-Пит остался цел и невредим. Но мешок водяного якоря пострадал при падении. Его проткнуло насквозь гафелем обрушившейся мачты, и он отказывался служить. Обломки снастей, бившиеся о борт судна, отклоняли шлюп от прямого направления навстречу волнам, и положение становилось опасным.

— Прощай, старина, друг мой «Ослепительный»! Теперь уж мы больше не будем протирать с тобой ветру глаза. Не будем обгонять щегольские господские яхты и сбивать с джентльменов спесь.

Так причитал капитан слезным голосом, стоя в кокпите и окидывая печальное зрелище помутившимся взором. Даже Джо, который сильно его недолюбливал, почувствовал к нему жалость в эту минуту. Жестокий порыв ветра сорвал гребень волны и обрушил его на беспомощное судно-калеку.

— Неужели нельзя спасти его? — пробормотал Джо.

Фриско-Кид отрицательно покачал головой.

— А несгораемый шкаф?

— И думать нечего! Никакое судно не отважится подойти близко к нашему борту за все золото Соединенных Штатов. Придется еще поломать голову над тем, как бы нам уцелеть и выбраться из беды.

Набежала другая волна и разбила вдребезги о корму уже давно перед тем захлебнувшийся ялик. Вдруг над ними из вершины водяного холма вырос парус «Северного Оленя».

Джо отшатнулся в ужасе и чуть не упал. Казалось, судно рухнет им на голову. Но в следующее мгновение оно провалилось в бездну, и они увидели его далеко внизу под собой. Подобные минуты не забываются. Картина была поразительная. «Олень» трепетал, весь окутанный белоснежной

пенной, зарываясь в воду по самые поручни. Брызги стояли облаком в воздухе и придавали картине фантастический вид. Один из матросов старался отвязать ялик. Юнга, перекинувшись за поручень кокпита, протягивал ему руку. Третий матрос стоял у руля и быстро перебирал спицы, заставляя судно уклоняться под ветер. Рядом с ним стоял Красный Нельсон с рукой на перевязи; у него сорвало шапку с головы, и рыжие кудри мокрыми прядями разметались по лицу. Вся его осанка дышала неукротимой отвагой и силой. Глаза сияли восторженным блеском. Джо внезапно проникся благоговейным уважением к этому человеку и оценил огромные дары, которыми он наделен от природы. Как жаль, что они расточаются им на ветер. Пират и разбойник! В это мгновение новый проблеск озарил сознание Джо: он постиг тайну успеха и причину неудач. Жизнь вдруг распахнула перед ним свою заветную книгу, и он мог читать ее страницы. Из таких характеров, как у Красного Нельсона, создаются герои; такие люди обладают тем, чего недостает ему, — умением выбирать, расчетливостью, трезвым самообладанием, словом, всеми теми качествами, о которых ему отец столько раз «читал проповеди».

Все эти мысли молнией промелькнули у него в голове. Между тем «Северный Олень», подброшенный кверху огромным валом, прошмыгнул у них мимо самого носа с подветренной стороны.

— О, отчаянная голова! — восклицал восхищенный и тронутый Пит. — Он норовит перекинуть парус на другой галс. Он свихнется и нас всех потопит. Вот, вот — заворачивает! О, сумасбродный безумец!

Но время не терпит, и Красный Нельсон решился рискнуть. Улучив минуту, он перекинул парус и пошел с попутным ветром к «Ослепительному».

— Вот он, близко! Готовься, прыгай! — крикнул товарищу Фриско-Кид.

«Северный Олень» пронесся мимо кормы, накрываясь так низко, что окна его каюты зарылись в воду. Казалось, стол-

кновение неминуемо. Но капризом волны его откинуло в сторону. Видя, что маневр не удастся, Красный Нельсон моментально придумал другой.

Крутой поворот руля мигом повернул налетавшего «Олень» и подставил нависший его грота-гик к самому борту «Ослепительного». Ближе всех очутился Француз-Пит. Надо было ловить момент, Француз прыгнул, как кошка, и уцепился за канат обеими руками. «Северный Олень» подхватил его и понесся вперед, окуная добычу в каждую волну, но Пит крепко держался за канат и подбирался к борту все ближе и ближе, пока наконец не очутился в кокпите. Красный Нельсон в эту минуту уже заворачивал, собираясь повторить тот же самый маневр.

— Ваша очередь, — закричал Фриско-Кид, обращаясь к Джо.

— Нет, прыгайте вы, — отнекивался Джо.

— Но я много опытнее и лучше справлюсь, чем вы, — настаивал Кид.

— Плавать я тоже мастер, — возражал ему Джо.

Чем бы кончился спор — неизвестно, но быстрая смена событий сделала всякое соглашение излишним. «Северный Олень» уже несся назад, накренившись под таким углом, что казалось вот-вот опрокинется. Картина была бесподобная. В ту же минуту шторм разразился с неистовой силой. Ветер взревел и пригладил косматые гребни. Океан закипел. «Северный Олень» пропал из виду. Его заслонила чудовищная волна. Волна прокатилась, но шлюп не показывался — его уже не было.

Испуганным взорам опешивших мальчишек предстала пустыня бушующих волн. Они озирались, не веря глазам. Но «Северного Оленя» нигде не было видно. Они остались одни, покинутые на произвол разъяренной стихии.

— Упокой, Господи, их грешные души! — торжественно произнес Фриско-Кид.

Джо был так потрясен катастрофой, что не мог издать ни единого звука.

— Судно опрокинулось и ключом пошло прямо ко дну: на нем было очень много балласта, — пробормотал Фриско-Кид. Затем, возвращаясь к собственному несчастному положению, он добавил: — А теперь давайте подумаем о себе. Этот взрыв был последней вспышкой шторма. Но когда буря начинает стихать, волны становятся еще выше. Давайте руку, а другой цепляйтесь покрепче. Нам необходимо пробраться вперед.

Вооружившись ножами и держась друг за друга, они осторожно подвигались к тому месту, где перепутанные обломки и обрывки снастей отчаянно колотились о борт. Фриско-Кид руководил опасной работой. Джо исполнял его приказания как набивший себе руку помощник. Ежеминутно обоих мальчиков захлестывало водой и перекидывало из стороны в сторону. Они постарались привязать главную массу снесенных частей к переднему битенгу, а затем, барахтаясь и захлебываясь в воде, принялись резать направо и налево шкоты, фалы, штаги и тали. Кокпит быстро наполнялся водой. Приходилось торопиться, чтобы идти откачивать воду. Наконец им удалось очистить все; оставалось только справиться с такелажом подветренной стороны. Фриско-Кид отсек фалы. Остальное доделала буря. «Ослепительный» сразу переменял положение. Обломки рангоута и обрывки снастей, прикрепленные к носовому битенгу, вытянулись и поставили корпус судна прямо носом к ветру и волнам.

Немного передохнув, обрадованные первой удачей, мальчики перебрались в кокпит, где воды уже было по колено и подстилка, покрывавшая пол каюты, всплыла. Достав ведра из запасного ящика, они стали усердно выкачивать воду, а затем наладили насос. Работа была страшно неблагоприятная, вода снова и снова заливала шлюп, и не видно было конца этому утомительному занятию. Но они продолжали упорно трудиться, и когда наступила ночь, «Ослепительный» уже спокойно покачивался на импровизированном своем водяном якоре и мог похвалиться тем, что и помпы

его еще действовали. Как верно предсказал Фриско-Кид, буря начала выдыхаться, хотя ветер, переменяв направление, все еще оставался довольно сильным.

— Если он только не сдастся, — сказал Фриско-Кид, говоря про западный ветер, — то завтра нас прибудет к берегам Калифорнии. Остается сидеть сложа руки и ждать.

Разговор не клеился. Они чувствовали себя подавленными гибелью товарищей и страшно изнуренными; сидели молча, прижавшись друг к другу, содрогаясь от холода и чувства заброшенности. Промокшие до костей, они оставались в чем были, так как не было сухого белья и платья. Все решительно — пища, одеяла, белье — было насквозь пропитано соленой водой. Ночь тянулась бесконечно долго. Порой они забывались в дремоте, но, засыпая, поминутно вздрагивали и будили друг друга.

Наконец рассвело; они огляделись. Ветер и волны угомонились, и «Ослепительный» несомненно вышел из борьбы победителем. Берег оказался ближе, нежели можно было предполагать, и сквозь дымку серого утра виднелись смутные очертания прибрежных скал. С восходом солнца они разглядели желтую песчаную отмель, окаймленную белой пеной, а позади нее — трудно было поверить этому счастью — обозначались громоздившиеся дома и дымившие трубы какого-то города.

— Санта-Крус! — закричал Фриско-Кид. — Мы избегнем буруна.

— Значит, наш сейф спасен? — спросил Джо Бронсон.

— Разумеется! Правда, для больших судов этот рейд неудобен, но мы с помощью этого ветерка попадем прямо в устье реки Сан-Лоренцо. Там нечто вроде маленького озера и есть пристань. Вода, как зеркало, и мелко, в рост человека. Однажды мне здесь пришлось побывать с Красным Нельсоном. За дело! К завтраку будем там.

Вытащив из ящика запасной канат, он связал его мертвым узлом со свободным концом каната импровизированного водяного якоря и занес на корму, где и прикрепил его к кор-

мовому битенгу. После этого он отвязал канат от переднего битенга и переместил таким образом привязь якоря. Вследствие этого шлюп повернулся сначала боком, а потом кормой к волнам и стал носом к берегу.

Из двух запасных весел и двух мокрых одеял мальчики соорудили себе новую мачту и парус. Установив все как следует, Джо отвязал тянувшиеся на буксире остатки рангоута, и Фриско-Кид взялся за руль.

ГЛАВА XXI

ДЖО И ЕГО ОТЕЦ

— Ну что, капитан? — спросил Фриско-Кид, управившись со швартовыми и закрепив шлюп на маленькой пристани. — Что вы теперь прикажете делать?

Джо посмотрел на него вытаращенными глазами:

— Как это... Я?... В чем дело?

— Вы же теперь капитан! Разве мы не добрались до суши? Отныне я подчиняюсь вашей команде. Что прикажете делать?

Джо понял наконец и скомандовал:

— Свистите всех наверх к завтраку!.. Впрочем, нет, подождите немного.

Сойдя вниз, он отыскал узелок, в котором находились деньги, захваченные им с собой на шлюп. Потом запер на ключ дверь каюты и отправился с приятелем в город искать ресторан. За завтраком Джо набросал в уме предстоящий план действий и сообщил его Фриско-Киду.

Справившись в кассе о том, когда отходит в Сан-Франциско утренний поезд, он взглянул на часы.

— Как раз время, — сказал он Фриско-Киду. — Держите дверь каюты на замке и не пускайте никого на борт. Вот вам

деньги. Обедайте в ресторане. Высушите одеяло и ночуйте в кокпите. Я приеду завтра. Пожалуйста, не пускайте никого в каюту. До свидания!

Пожав наскоро руку приятеля, он поспешил на вокзал. Контролер, проверявший билеты, посмотрел на него с удивлением. Да и понятно: ему редко приходилось видеть таких пассажиров в морских сапогах и клеенчатых фуражках. Но Джо не смутился. Он ничего не заметил и углубился в чтение газеты. Глаза его сразу упали на интересный заголовок:

СЛЕДЫ ПОТЕРЯНЫ

Буксирный пароход «Морская Царевна», зафрахтованный Бронсоном и Тэтом, вернулся после бесплодных поисков у побережья Хедса. Он не напал на след дерзких пиратов, похитивших во вторник ночью не сгораемый шкаф, принадлежащий указанной фирме, и не получил никаких сколько-нибудь ценных указаний. Смотритель Фарралонского маяка заявил, что в среду утром заметил два шлюпа, выходявших в открытое море во время начинавшейся бури. Моряки полагают, что пираты погибли вместе со своей преступной добычей. Носятся слухи, что в ящике, кроме десяти тысяч долларов золотом, находились также весьма важные документы.

Пробежав эту заметку, Джо вздохнул с облегчением. Ясно, что в ту страшную ночь никакого убийства не произошло, иначе репортер непременно упомянул бы об этом факте. Точно так же очевидно, что никому еще не известно о его собственном местопребывании, иначе сенсационная новость облетела бы все газеты.

На городском вокзале в Сан-Франциско публика озиралась на мальчика в странном костюме, нанимавшего кеб.

Но Джо не стеснялся нисколько, он очень спешил: надо было застать отца в конторе, пока тот еще не отправился домой завтракать.

Курьер нахмурился, когда Джо влетел в прихожую, стукнул дверью и потребовал, чтобы о нем доложили мистеру Бронсону. Вызванный им старший клерк тоже не сразу узнал его.

— Неужели вы меня не узнаете, мистер Виллис?

Мистер Виллис вторично оглядел бесцеремонного незнакомца.

— Как? Это вы, Джо Бронсон?! Ради всего на свете, откуда это вас принесло? Войдите, ваш отец у себя в кабинете.

Мистер Бронсон перестал диктовать стенографу и оглянулся.

— Алло! Где же это ты пропадал? — обратился он к сыну.

— Я был в плавании, — отвечал застенчиво Джо, не зная в сущности, чего ему ожидать, и нервно теребя свою матросскую фуражку.

— Небольшая прогулка? Да? Хорошо ли провел время?

— Да так себе. — Джо подметил веселые искорки в глазах отца и понял, что ему трусить нечего. — Недурно... говоря относительно.

— Относительно?

— Ну да, я выражаюсь не точно. Вернее сказать: могло бы кончиться плохо, а между тем вышло как нельзя лучше.

— Интересно. Присядь-ка! — Мистер Бронсон обратился к стенографу: — Можете идти, мистер Браун, и... сегодня вы мне больше не понадобятся.

Джо был тронут простотой и непринужденностью оказанного ему приема и чуть не заплакал. Отец держал себя так, как будто ничего не случилось. Можно было подумать, что Джо вернулся в город после деревенских каникул или после деловой поездки.

— Ну, теперь продолжай, Джо, рассказывай! Ты начал так загадочно, что заинтриговал меня в высшей степени.

Джо уселся и рассказал все, что было, — все решительно, начиная с вечера понедельника и до последнего часа сегодняшнего утра. Он передал все подробности, даже все свои разговоры с Фриско-Кидом, и сообщил те планы, которые строил на его счет. Лицо у Джо разгорелось, он рассказывал с жаром, и мистер Бронсон увлекся и задавал сыну новые вопросы, когда тот замолкал.

— Таким образом, — сказал Джо в заключение, — вы теперь видите, что все вышло очень хорошо.

— Все это так, — задумчиво произнес мистер Бронсон. — Может быть — да, а может быть — и нет.

— Почему?

Джо испытывал острое разочарование. Сомнительное одобрение отца задело его за живое. Ему казалось, что спасение несгораемого шкафа заслуживало более уверенной оценки с его стороны.

Ясно было, что мистер Бронсон отлично понимал настроение сына, так как он добавил следующее:

— Что касается сейфа, — поздравляю тебя, мой друг! Честь и слава! Мистер Тэт и твой покорнейший слуга истратили уже пятьсот долларов на его розыски. Мы настолько были заинтересованы, что назначили пять тысяч долларов вознаграждения тому, кто найдет его, и не далее как нынче утром обсуждали вопрос об увеличении этой суммы. Однако... — Мистер Бронсон поднялся с места и ласково потрепал мальчика по плечу, — ...на свете есть вещи подороже и поважнее золота и всех бумажек, его заменяющих. Что ты скажешь относительно *тебя самого*, вот в чем вопрос. Уступил бы ты будущие возможности твоей жизни за миллион долларов?

Джо покачал головой.

— Вот в том-то и дело! Ни за какие деньги в мире нельзя купить жизни человеческой; и никакими деньгами нельзя искупить дурно прожитой жизни: деньги не способны украсить, наполнить и выпрямить жизнь того, кто себя искалечил, кто испортил свою жизнь. Что ты скажешь относительно

себя самого? Как отразятся эти забавные приключения на твоей собственной жизни, Джо? Пойдешь ли ты снова пробовать свои силы завтра или послезавтра? Понимаешь ты или нет? Неужели, Джо, ты можешь допустить хотя бы на минуту, что я могу поставить на эту доску жизнь сына и какой-нибудь жалкий сейф? И могу ли я сказать, пока не покажет время, что эта прогулка привела к самым лучшим результатам и послужила тебе на пользу? Подобный эксперимент может одинаково привести и к хуе и к добру. Один доллар вполне заменит другой — они похожи как две капли воды, и их много на свете, но другого Джо нет, и никто не мог бы заменить мне вот этого! Ты не согласен, Джо? Ты все еще не понимаешь меня?

Голос мистера Бронсона чуть дрогнул, а Джо зарыдал так, как будто его сердце разрывалось на части. Он до сих пор не понимал своего отца и не понимал той боли, которую он ему причинил, не говоря уже о матери и сестре. Но за последние четверо суток в нем произошел перелом. Он яснее взглянул на жизнь и на человеческие отношения. Он стал говорить отцу о тех наглядных уроках, которые получил за это время. Он рассказал ему о своих выводах из бесед с Фриско-Кидом, из столкновении с Французом-Питом; о том неизгладимом впечатлении, какое произвела на него картина гибели «Северного Оленя» и Красного Нельсона, поглощенных океаном.

И мистер Бронсон внимательно выслушал и кое-что понял в свою очередь.

— Но как же насчет Фриско-Киды, отец? — спросил Джо, закончив свое повествование.

— Гм, судя по твоим словам, он мальчик весьма одаренный. — Мистер Бронсон прищурился, утаивая блеснувшую в глазах его искру. — Я полагаю, что он сам сумеет стать на ноги и устроиться.

— Сэр?!

Джо не верил своим ушам.

— Дело вот в чем. В настоящее время он должен получить от нас половину обещанной суммы, другая половина принадлежит тебе. Вы ведь оба позаботились о том, чтобы сейф не очутился на дне Тихого океана, и если бы вы подождали немного, то мы с мистером Тэтом повысили бы сумму вознаграждения.

— О! — Джо теперь понял. — Насчет меня не может быть сложностей. Я просто отказываюсь от своей доли, и только. Но что до другого... это не совсем то, чего бы хотел Фриско-Кид. Ему нужны друзья... и... и... хоть вы этого и не сказали, но друзья дороже денег, и их не купишь за деньги. Ему нужны друзья и образование, а не две с половиной тысячи долларов.

— Не лучше ли будет предоставить выбор ему самому?

— О нет! Об этом мы уже договорились с ним.

— Договорились?

— Да, договорились. Он был моим капитаном на море, а я буду его капитаном на суше. Теперь он у меня под командой.

— Итак, ты выступаешь в качестве его поверенного при настоящих переговорах? Хорошо. Я вношу предложение. Две с половиной тысячи долларов остаются у меня на хранении и будут выданы по первому требованию. О твоей доле мы потолкуем после. Затем он пройдет некоторую стажировку, как испытательный срок, скажем — годовую, поступив на службу в нашу контору. Ты можешь взять на себя руководство его учебными занятиями, ибо я уверен, что теперь ты будешь учиться прилежнее. Или же он будет посещать вечернюю школу. Затем, если после стажировки он покажет себя с лучшей стороны, я возьму на себя заботу о его образовании, так же как о твоём. Все это зависит от него самого. А теперь, господин поверенный, что вы скажете относительно моих предложений, касающихся интересов вашего клиента?

— Я скажу, что охотно принимаю их.

Отец и сын обменялись крепким рукопожатием.

— А что ты намерен теперь делать, Джо?

— Прежде всего пошлю телеграмму Фриско-Киду, а потом побегу домой.

— В таком случае подожди немного: я позвоню в Сан-Андреас и сообщу мистеру Тэту приятную новость, а потом отправимся домой вместе.

— Мистер Виллис! — сказал мистер Бронсон, уходя из конторы. — Андреасовский сейф отыскался, и мы отпразднуем сегодня находку. Будьте любезны сообщить нашим клеркам, что занятий сегодня больше не будет. Ах, да, — обернулся он, входя в лифт, — не забудьте, пожалуйста, отпустить и конторского мальчика.

КОММЕНТАРИИ

БЕЛЫЙ КЛЫК

«Белый клык» — одна из лучших повестей писателя о братьях наших меньших. Герой повести полуволчонок Белый Клык — наглядная иллюстрация к эволюции живого мира. Разумеется, у Джека Лондона были предшественники в этой теме. Однако он поставил свои наблюдения в контекст индустриального прогресса XX века и попытался проследить, как смена привычных вековых укладов жизни отражается на судьбах и сознании не только людей, но и окружающих их живых существ — диких и домашних; увидеть неразрывную связь животных и человека с окружающим миром. Джек Лондон пишет об изменении *характера* своего персонажа — полуволчонка в зависимости от среды. Белый Клык живет по неким своим законам, приближающимся к нравственному поведению, но иному, чем у человека.

Белый Клык — уроженец тех северных широт, где температура опускается до -50°C , где бывают голодные годы — и дичь исчезает, где волки уничтожают оленей, собак, сбиваясь в хищные стаи. Нередко их жертвами становятся люди. Не пренебрегают они и друг другом.

Белый Клык, родителями которого были полуволчица и матерый волк, становится вожаком собачьей стаи — он самый сильный, самый выносливый в упряжке. Это очень понятливый пес, не лишенный некоей избирательности и даже диалектики в своих мыслях. Он вырабатывает для себя немислимые законы, включающие беспрекословное повиновение хозяину и яростную ненависть ко всем его противникам, в том числе и двуногим, снисходительное

отношение к самкам и необходимость каждый раз отстаивать свою честь в схватках с самцами.

Белый Клык прекрасно расправлялся с изнеженными местными и прибывшими к пароходу истощенными индейскими собаками. Никто не рисковал выставлять свою собаку для единоборства с Белым Клыком.

Писатель создает впечатляющую и целостную картину живого мира. Подкупающе суров слог этого повествования. Кажется, что его ритм задан воем метели и голодных волков, полетом собачьей упряжки, а также постоянной борьбой за жизнь в суровых условиях. Но даже в унылых красках Севера порой появляются просветы; тут свои прелести — весна и здесь весна, а солнышко особенно дорого. Контрастные же и роскошные пейзажи второй «цивилизованной» части, как и необычный для полярного волка образ жизни, также способствуют созданию этой единой жизни человечества, животных и растений. Здесь грохот трамваев, шум океана, присутствие громадных животных — ездовых лошадей, а также не виданных ранее волком домашних и диких птиц — все свидетельствует о первозданности, свежести и наивности восприятия другого мира главным персонажем. Но городские каменные джунгли своими законами не столь уж существенно отличаются от северной тайги или тундры. Здесь также живут и промышляют подонки.

Добро в конце концов побеждает зло, но, конечно, легкой ценой. И эту многоступенчатую диалектику жизни, некое общее устройство земного мира читатель прослеживает всеми средствами и на всех этапах художественного повествования Джека Лондона.

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

«Любовь к жизни» — еще один цикл рассказов писателя об Аляске, опубликованный в различных журналах в пору его зрелости: 1905—1906 годы.

В этом цикле прослеживается мастерство зрелого автора, которого больше интересуют экстремальные психологические состояния человека, попавшего на Аляску или выросшего там, но столкнувшегося с непонятными ему обычаями, нормами поведения, человеческими типами, культурой, законами и т. п.

Наиболее известное произведение — первый рассказ сборника, давший название всему циклу и ставший как бы его главной проблемой, своего рода путеводной звездой и жизни персонажей, и самого повествования. Аляска — сама по себе природно-климатическая крайность. Полярный круг порождает такие же суровые представления у ее коренных обитателей и пришельцев.

Два человека, выбившись из сил, бредут с поклажей и тяжелыми ружьями по холодной воде северной речки. Вода сковывает их ноги холодом. Один из них, поскользнувшись на валуне, кричит другому: «Билл, я вывихнул ногу!»

Какова реакция Билла? Читатель ожидает, что он обернется, придет на помощь товарищу. Но не тут-то было — законы Клондайка иные. Билл продолжает ковлять «по молочной воде», бросив товарища на верную гибель. Это уже запредельное психологическое напряжение и нежелание притерпываться моральных законов или норм.

Читателю кажется, что больной и обессилевший человек и есть жертва Белого Безмолвия. Но по иронии судьбы этому его слабаку как раз и суждено будет выжить, а жертвой голодных полярных волков будет как раз теряющий человеческие свойства Билл.

В тяжелых условиях человек уподобляется животному. Пища нужна ему больше, чем все остальное. Даже боль поврежденной ноги его так не донимает, как пустой желудок. Его можно как-то задобрить мерзлыми безвкусными ягодами. Но они лишь разжигают аппетит. Поэтому обреченный на гибель путник питается чем попало — птенцами полярной куропатки, едва вылупившимися, раздирая и глотая их сырыми, если не живыми, пойманными случайно

в луже трепыхающимися пескарями, доедает оленьи кости, оставленные обглодавшими их волками. Встретившийся ему на пути медведь отступил перед зверской решительностью, которую хозяин тайги прочел в глазах незнакомого двуногого существа. Оно готово было наброситься на таежного зверя с перочинным ножом.

Но самой впечатляющей была, конечно, встреча с голодным и больным волком, отбившимся от стаи. Волк не может напасть на человека, ибо у него уже нет сил, но ждет, терпеливо преследуя свою добычу, когда человек утратит способность к сопротивлению. Так продолжается несколько дней. И побеждает человек. Это физическая и моральная победа одновременно.

Дальше развивается психическое и физическое недомогание — многочисленные видения. В его мечтах и травмированном лишении сознания какие-то далекие видения, южная теплая страна — Калифорния. Мерещится еще какой-то корабль, бегущий почему-то по белому заливу, окруженный ледяными торосами. Последнее оказалось явью — это китобойное судно бросило свой якорь в одной из диких океанских бухт. Несколько дней добирается человек до желанного побережья. Корабль не уходит. Но силы окончательно оставляют путника. Он теперь уже упрямо ползет на четвереньках, делая едва ли двадцать шагов за день. Но китобой заметили это странное существо, а исследователи Севера, находившиеся на судне, спустили шлюпку, чтобы разглядеть его хотя бы поближе как незнакомое животное. Но этим редким чудом оказался герой рассказа, которым уже двигала не столько воля к жизни, сколько упрямый и заложный самой природой инстинкт выживания человеческого существа в любых условиях. Даже в самых экстремальных. Все кончилось для нашего старателя благополучно, он отошел от болезни в отдельной каюте и в конце концов достиг на судне «Бедфорд» желанной Южной Калифорнии, где мать, домик среди цветов и апельсиновых деревьев. Единственная слабость, которую заметили за ним на судне,

это невероятные запасы сухарей: их выздоравливающий человек натаскал в свою каюту. Так бывает со многими, пережившими голод. Но герой рассказа был все же в здравом уме, опасаясь лишь голодовки. Таков счастливый конец этой истории.

Следующий рассказ «Бурый Волк» — как бы своеобразное продолжение или вариант судьбы «Белого Клыка». Владелец небольшой калифорнийской виллы — поэт Уолт Ирвин подобрал как-то полудикого пса, с необычным окрасом — он какой-то бурый. С большим трудом его удалось приручить, но пес то и дело срывался в бега и удирал в северном направлении. Беглеца несколько раз возвращали. Пес по кличке Волк стал любимцем семьи.

И вот по иронии судьбы, а скорее по случаю, который в художественном творчестве весьма важен, к собственной сестре — соседке Ирвинов — пожаловал прежний хозяин Волка, воспитавший когда-то щенка и привезший в Южную Америку из Аляски. Тут же его любимца и украли. Волк поначалу никак не мог разыскать своего хозяина.

И когда тот нашелся сам, без опаски приласкал это чудовище, Волк неожиданно залаял от восторга, он оказался действительно собакой по кличке Бурый.

Между старым и новыми хозяевами возник спор, кому отдать Бурого. У каждой стороны были свои права и свои преимущества. И Бурый — работяга, бывший вожак стаи, как человек, стал метаться в возбужденном состоянии, а затем и выть, бросаясь от одного хозяина к другому, уходящему в направлении к дому сестры. Это явно стрессовое состояние, как мы бы теперь сказали. С одной стороны, сытая, спокойная жизнь, а с другой, — холодная тундра, разбитые в кровь ноги, тяжелая работа в упряжке, голодное брюхо... И Бурый Волк, по-своему поблагодарив хозяев за заботу, все же выбрал свою родину и свою прежнюю жизнь, полную лишений. Он принял решение. Супруги сразу ощутили этот перелом. Это тоже своеобразная любовь к жизни, к той жизни, для которой каждое существо будто бы создано природой.

Пейзажные зарисовки в обоих рассказах — это прежде всего обстановка действия. За ними стоит и психология, и образ жизни, и сознание как человека, так и всякого живого существа, особенно из таких вот развитых, как собаки. Пусть большие желтые бабочки проносятся беззвучно в солнечном свете, пусть отмечают они своеобразие обстановки американского Юга, Волку теперь уже не до них, не интересуют его уже и прежние недавние хозяева.

Эскимосы тоже начинают приспосабливаться к изменившейся жизни («История Киша»). Действуя по старым правилам, житель Заполярья тринадцатилетний Киш, сын погибшего храброго отца и нищей вдовы, применил хитрость — он стал убивать белых медведей, обливая тюленьим жиром и замораживая китовый ус, который доставляет животному немало хлопот, расправляясь в его желудке. Соплеменники готовы уже обвинить везунчика в колдовстве, они выслеживают его на охоте, завидуют. Любовь к жизни в социальном окружении и в конкретном преломлении к человеческой личности — непростая штука. Но местные аборигены кое-что перенимают от белого человека, проявляют смекалку и сообразительность. Тут же их подстерегают всякие немислимые в других культурах запреты, табу.

Интересен здесь и рассказ Чарлея Ситки, человека тертого, о том, как он сам едва не погиб, перевоза двух чудаков — мужчину и женщину за хорошие деньги по равнинам и рекам Аляски, которые непонятно ему, индейцу, чего хотели («Путь ложных солнц»). Кто может понять этих белых? Во имя какой-то собственной авантюры они рискуют и своей «любовью к жизни», и вовсе не считаются с правом на жизнь других.

Название рассказа выразительно: у индейцев счет времени определяется не днями, а периодами между рождением и умиранием великого светила.

Очевидно, опять-таки две разные культуры, даже притираясь одна к другой, никак не могут пока прийти к общему знаменателю. Такое происходит в отношениях англосаксов и с бывшими африканцами, и с индейцами, что явно расши-

ряет рамки жизненного охвата самого события или факта, создавая неповторимую не только пейзажную, но и нравственно-психологическую ауру повествования, раздвигая рамки вечного конфликта.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА «ОСЛЕПИТЕЛЬНОМ»

Деталими жизни писателя насыщена повесть «Путешествие на “Ослепительном”», интересная еще и тем, что конфликт ее — некое противоречие между официальной школой с ее зубрилками и паиньками и широкой взрослой жизнью, в которой оказывается едва становящийся на ноги юноша — пятнадцатилетний капитан нового времени. Это немало важная проблема такого повествования.

Автор как бы пытается дать ответ на вопрос о формировании американского национального характера и его стилизованного носителя — человека рискованного, предприимчивого, умеющего постоять за себя, чему далеко не всегда может научить самая приличная общеобразовательная школа. Один круг ценностей противопоставляется другому. Между жизнью и культурой, работой и образованием часто осязаемый пробел, пропасть. Это и есть путеводная нить повести.

Мальчик из обеспеченной буржуазной семьи Джона Бронсона — ее герой. «Благополучно» провалив все экзамены, но хорошо показавший себя в драке, Джо решает покинуть хотя бы на время школу и податься в науку к отчаянным хищникам-рыбакам. Такой опыт немало стоил новичку усилий и нервов. Поначалу он проявляет малодушие: пытается даже бежать с «Ослепительного», отдавшись под защиту охране Карантинного острова. Но это не так-то просто.

Хотя «Ослепительным» и руководит бесцеремонный и пожилой Француз-Пит, в его команде лишь два человека — Фриско-Кид (так называл порой себя писатель, дословно — «Малыш из Сан-Франциско») и новичок Джо Бронсон, принятый для мытья посуды и уборки палубы. С таким уни-

зительным положением слуги беглецу приходится смириться. Но что поделать: пути к отступлению ему отрезаны.

Джо сближается с Фриско, малолетним морячком, способным краснеть при виде фотографии девушки, хотя это отчаянный воришка, но очень несчастный. Джо задается целью помочь товарищу найти достойное место в жизни. И тут на помощь, как это ни парадоксально, приходит шторм. Среди добытых контрабандой кусков железа смельчакам удалось прихватить тяжелый сейф фирмы отца Джо с очень ценными документами. За их находку объявлено в газетах немалое вознаграждение.

Мальчишкам повезло — они чудом не погибли во время разыгравшегося не на шутку настоящего океанского шторма, хотя другие два пиратских судна их противников и их собственник нашли свое последнее пристанище на дне океана. Тут уж было не до сейфа. Но находка каким-то чудом тоже уцелела. И Джо, возвратившись домой, несказанно обрадовал отца своим появлением и находкой важного сейфа.

Джо просит родителя-бизнесмена помочь своему другу Фриско подучиться грамоте, ведь отец может устроить его хотя бы мелким конторщиком, найти ему место «на суше».

Это выводит повествование как бы на новый нравственно-духовный уровень, отмечает существенный перелом и в характере героя, и в повествовании. Отец обещает подумать и принять меры — сделать все необходимое для социального становления настоящего на сей раз морского друга собственного сына.

Фриско-Кид терпеть не может сиротские приюты и тюрьмы. Он свободный человек — в собственном понимании. А оснований для «срока» и у него, и даже у пятнадцатилетнего «капитана» Джо теперь предостаточно.

Мораль повести ясна и понятна. Это произведение для юношества. В нем есть и проблема воспитания школой и жизнью, которые ничуть не противоречат одна другой, и главное — ценнейшие биографические сведения из жизни автора.

СОДЕРЖАНИЕ

Белый Клык (<i>повесть</i>)	5
-------------------------------------	---

Любовь к жизни

Любовь к жизни.....	213
---------------------	-----

Бурый Волк	234
------------------	-----

История Киша	250
--------------------	-----

Путь ложных солнц.....	258
------------------------	-----

Трус Негор.....	279
-----------------	-----

Путешествие на «Ослепительном» (<i>повесть</i>).....	291
--	-----

Комментарии.....	405
------------------	-----

Літературно-художнє видання

ЛОНДОН Джек
Біле Ікло. Любов до життя. Подорож на «Сліпучому»

(російською мовою)

Головний редактор *С. С. Скляр*
Відповідальний за випуск *К. В. Шаповалова*
Редактор *Р. Є. Хворостяна*
Художній редактор *Н. В. Переверзева*
Технічний редактор *А. Г. Верьовкін*
Коректор *І. А. Калачова*

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»
Св. № ДК65 від 26.05.2000
61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а
E-mail: cop@bookclub.ua

Литературно-художественное издание

ЛОНДОН Джек

Белый Клык. Любовь к жизни. Путешествие на «Ослепительном»

Главный редактор *С. С. Скляр*

Ответственный за выпуск *Е. В. Шаповалова*

Редактор *Р. Е. Хворостяная*

Художественный редактор *Н. В. Переверзева*

Технический редактор *А. Г. Веревкин*

Корректор *И. А. Калачева*

Издательство Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
www.trade.bookclub.ua

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

МОСКВА

Бертельсманн Медиа Москау АО

129110, г. Москва, пр. Мира, 68, стр. 1А
тел. +7 (495) 688-52-29, 974-21-59,
974-24-56, 974-21-57
e-mail: commerce@bmm.ru
www.bmm.ru

ХАРЬКОВ

ДП с иностранными инвестициями

«Книжный Клуб

“Клуб Семейного Досуга”»

61140, г. Харьков-140, пр. Гагарина, 20-А
тел/факс +38 (057) 703-44-57
e-mail: trade@bookclub.ua
www.trade.bookclub.ua, www.euro-best.info

КИЕВ

ЧП «Букс Медиа Тойс»

04073, г. Киев, пр. Московский, 10Б, оф. 33
тел. +38 (044) 351-14-39,
+38 (067) 572-63-34,
+38 (067) 572-63-35
e-mail: booksmt@rambler.ru

ЛЬВОВ

ООО «Книжкові джерела»

79035, г. Львов, ул. Бузковая, 2
тел. +38 (032) 245-00-25
e-mail: knigi@lviv.farlep.net

ДОНЕЦК

ООО «ИКЦ “Кредо”»

83096, г. Донецк, ул. Куйбышева, 131
тел. +38 (062) 345-63-08, +38 (062) 348-37-92,
+38 (062) 348-37-86
e-mail: fenix@kredo.net.ua
www.kredo.net.ua

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

УКРАИНА

служба работы с клиентами:

тел. +38 (057) 783-88-88
e-mail: support@bookclub.ua
Интернет-магазин: www.bookclub.ua
«Книжный клуб», а/я 84, Харьков, 61001

РОССИЯ

служба работы с клиентами:

тел. +7 (4722) 78-25-25
e-mail: order@flc-bookclub.ru
Интернет-магазин: www.ksdbook.ru
«Книжный клуб», а/я 4, Белгород, 308037

Лондон Дж. Собр. соч. [Текст] / научн. ред. и коммент. канд. филол. наук доцента А. М. Гуторова ; худож. А. Печенежский. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2011.

Т. 5 : Повести и рассказы. — 416 с. : ил. — Содерж.: Белый Клык : повесть ; Любовь к жизни : рассказы ; Путешествие на «Ослепительном» : повесть.

ISBN 978-966-14-1769-3 (PDF)

В очередной том собрания сочинений Джека Лондона вошли повести и рассказы. «Белый Клык» — одно из лучших в мировой литературе произведений о братьях наших меньших. Повесть «Путешествие на «Ослепительном»» имеет автобиографическую основу и дает представление об истоках формирования американского национального характера, так же как и цикл рассказов «Любовь к жизни».

У черговий том зібрання творів Джека Лондона увійшли повісті та оповідання. «Біле Ікло» — один із найкращих творів світової літератури про братів наших менших. Повість «Подорож на “Сліпучому”» має автобіографічну основу й дає уявлення про витоки формування американського національного характеру, так само як і цикл оповідань «Любов до життя».

ББК 84.7США